Сердце рвется на простор,
Сердце ищет дела.

Из юношеских стихов
Н. Г. Гарина-Михайловского

Солнечными, ясными днями подошла пасха. Праздников он издавна не любил. Если по ходу изысканий трасса натыкалась на село, в котором престольные молебствия чередовались с повальным пьянством, работы замедлялись, а то и совсем приостанавливались. В партии всегда обнаруживалось двое-трое рабочих, сбивающих с панталыку трезвых исполнительных мужиков. И вот бросались лопаты, рейки, топоры, мерительные ленты, и хоть тебе какие уговоры либо приплата — не жди полевых помощничков, покуда не пропьются до последнего, не проспятся и не стребуется из окрестных деревень виновато просить первым делом на опохмелку. Он выставлял, конечно, ведерко для всей шатучей братии, зная. по опыту, что эту спасительную порцию мужики отработают втрое и, если себя тоже не жалеть, можно нагнать упущенные версты.

И дома, если не удавалось покамеральничать — почертить или посчитать, любой праздник оборачивался праздностью, бездельным томлением, особенно когда собирались гости и заводили тягучие разговоры о том о сем, а он не в состоянии был оживить общество, потому что в голове рельсовым костылем сидел недосчитанный вариант. Единственное, что скрашивало для него любой праздник,— дети. Он был способен часами забавлять их, забавляясь сам,— сказками, которые тут же придумывал в бесчисленных вариантах, разучиванием немудрящих стихов, разбором детских обид и ссор и такими дурашливыми и шумными играми, что Надежда Валериевна, появляясь иногда в дверях, прижимала ладони к ушам, спасая их от восторженного, нестерпимо-пронзительного визга.

Утром в первый день пасхи он послал маленькую Надю обежать гундоровские дворы и покликать ребятню, да так, чтоб ни одного погорельца не забыла. А накануне

помог женщинам подготовить «исходный материал» для кулича и пасхи. Сбивал яйца, обжимал творог, промыл в пяти водах изюм, в пыль растолок дюбку большой сахарной головы и даже разноцветные кремы сам составил. Кулич испекся огромным и пышным, как подушка, а пасха получилась красивой, в виде сказочной башни. Вечером полюбовался изделиями, но святить не повез, потому что дороги совсем пали и в темноте лошадь могла так увязнуть в каком-нибудь илистом ручье, что до утра не откопать.

Дети собрались на звон дружно, будто ждали приглашения, однако вошли робко, поталкивая друг дружку и крестясь. Чинно угостились куличом, скромно шмыгая носами, попили чаю со сладкой пасхой и совсем преобразились в детской, где сразу стало до невозможности тесно и ужасно весело с отцом — он изображал попа и его работника Балду, потом медведя, добывающего из колоды мед,— пчелы больно жалили его в морду и сзади, мишка отмахивался от них, ревел и скулил, не забывая слизывать сладкий тягучий мед, и дети смеялись до икоты, до упаду...

Назавтра, пораньше с утра, он сел за рукопись. Работал дотемна, после ужина зажег лампу и писал, пока рука держала перо. Дважды приходила Надежда Валериевна.

— Ты сегодня думаешь ложиться?

— Сейчас, сейчас, дорогая, не отвлекай меня, пожалуйста,— забормотал он, не оборачиваясь.— Мне тут надо два места прописать хорошо и вспомнил еще одно, не отвлекай, не отвлекай...

Среди ночи она снова появилась в дверях светелки и зашептала:

— Ну, хватит полуношничать. Праздник же, Ника. Грех!

— Праздник — не значит праздность,— весело поднял--ся он.— Ах, как я сегодня поработал! Давно столько не работал. Тёму Карташева закончил! Только разве на последних изысканиях у Сотьиного завода гак довелось поработать! Завтра пораньше встану — и за работу.

Он с удовольствием произносил слова «работа», чуть нажимая на «р», шагал к ней, раскинув руки, а она, сонно улыбаясь, пыталась закрыть ладошками голые плечи — халатик упал. И он понес ее, легкую, как невесту, по коридору.

Они уснули, не подозревая, что з а в т р а подарит им гостя, нежданного, необычного, а в его жизни произойдет

чрезвычайное событие — он назовется тем, кем всегда останется в памяти русских людей.

На рассвете, когда все в доме еще спали, он сел за работу, повесив с наружной стороны двери плакатик: «Не пищать тут и не входить! Папа». Около полудня, однако, она постучалась к нему.

— Я же повесил инструкцию! — закричал он.

— Кто-то приехал, Ника,— извинительно сказала она.

— А, черт возьми! — пробормотал он, направляясь в переднюю, по пути заглядывая в окна.— Кто бы это мог быть? Странно!

На дворе стояла легкая пароконная коляска, вся в жидкой грязи. От лошадей валил пар. Кучер рассупонивал хомут и ослаблял подпруги. А к крыльцу неторопливо, с достоинством, шагал, оглядываясь по сторонам, какой-то незнакомый человек в добротной шубе и бобровой шапке. Вошел, снял шапку, слегка поклонился:

— Мир дому сему! Здравствуйте! Прошу простить, что я незваным гостем.

— Гостям мы всегда рады,— неуверенно произнесла Надежда Валериевна, взглянув на мужа.

— Так вот вы какие! — Глаза приезжего смотрели на хозяев приязненно й живо, так, будто он их давно знает. Причем левый глаз его был как-то неестественно прищурен и совсем прикрывался, когда временами какая-то странная гримаса искажала всю левую сторону лица гостя. Чистый покатый лоб над этими живыми карими глазами, густые темно-каштановые волосы в тугих полукольцах, небольшая, как у хозяина дома, слегка вьющаяся бородка. Лет пятидесяти, не меньше. Нет, даже среди самых дальних соседей-помещиков о таком человеке не было слыхать. В земстве тоже все люди были известны. Скорее всего из Самары.

— Раздевайтесь, пожалуйста.— Помогая незнакомцу снять шубу и провожая его в гостиную, хозяин думал о том, что это преуспевающий купец, проезжий губернский статистик либо агент столичного страхового общества, прослышавший о пожаре и новой застройке, а скорей всего это незнакомый самарский стряпчий, который ввиду нечаянной оказии попутно заехал в связи с учетом какого-нибудь старого забытого векселя, оформлением недавней закладной, уточнением межевых документов Путиловых

или Чарыковых,— да мало ли у судейских может найтись дел к помещику, который почти пять лет был в отъезде? Возможно, наконец, что это представитель властей соседней губернии — Казанской скорее всего — насчет изысканий. Прослышали, очевидно, о моей работе на уфа-златоустовской стройке. А в Казани давно идут дебаты о постройке железной дороги до Малмыжа. И ежели в праздники и этакую распутицу человек послан так далеко — значит, там дело срочное, решенное. Это было бы как нельзя кстати, потому что деньги практически кончились, и, как просохнет, придется ехать в Самару, брать под векселя любую сумму. Только почему этот неожиданный визит пришелся на праздник?

— Разрешите представиться.— Приезжий протянул руку.— Станюкович.

— Михайловский.

— А я вас, кажется, так знаю, что обнял бы, если б мы были больше знакомы.

— Да, мы встречаемся крайне редко.

— Ха-ха-ха! — раскатисто захохотал гость, однако, почувствовав некоторую неловкость, оборвал смех, извинительно закряхтел и подошел к окну.— Значит, вон там у вас стояли сараи?

«Следователь,— окончательно решил хозяин.— По старому делу поджога. Нет, все поросло быльем, и возвращаться к прошлому намерений у меня нет. Так и скажу ему».

— Простите... Пока жена там соберет на стол, давайте о деле. Садитесь, садитесь, пожалуйста! Вы, собственно, по какому случаю?

— Николай Георгиевич! Я с громадным удовольствием прочел ваши очерки «Несколько лет в деревне» и заверяю вас, что ничего подобного по честности и смысловому откровению в литературе последнего времени не было.

— Так вы?..

— Я писатель Станюкович.

— Константин Михайлович Станюкович? — совсем потерялся хозяин.— Автор изумительных морских рассказов? Извините меня, этого я никак не предполагал. Такого не бывает.

— Бывает,— засмеялся гость.— Все бывает, Николай Георгиевич. Итак, я вас от души поздравляю с прекрасным вступлением на нашу тернистую стезю.

— А где же вы могли прочесть мои записки?

— Успенский прочел, и Златовратский, и...

— И Успенский?

— Да. И весьма восторженно принял.

— Но как рукопись к ним попала, Константин Михайлович?

— Этого я не знаю. Рукописи я не видел, читал на ремингтоне. И все спрашивают, где это будет напечатано.

— Надя! Надюша! — закричал хозяин.— Простите, Константин Михайлович, я к ней на секунду. Надя! Ты знаешь, кто к нам приехал? Ты не поверишь! Это знаменитый Станюкович, у нас есть его книга «Морские рассказы». Ты еще, помнишь, говорила — «чудо что за люди, русские матросы!» Идем, идем!

Она смущенно вошла в гостиную, попросила прощения. Станюкович поцеловал у нее руку и шутливо сказал, что он уже доложил супругу о своем знакомстве с нею по его замечательному очерку. А за обедом она выпила полрюмки вина и немного невпопад сказала, что никогда в жизни не видела писателя вблизи, на что Станюкович решительно возразил — грех так говорить, потому что с нею рядом писатель, начавший хоть и поздно, однако серьезно, сильно и очень по-своему.

— Только Достоевского я видела,— произнесла она свое, ощущая в голове счастливое кружение.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста, Надежда Валериевна, как это было?

— Мы сидели на втором ряду в зале, а он был на сцене вместе с Потапенко и Григоровичем, но запомнила я его одного. Он читал пушкинского «Пророка». Бледный, рука тянулась в зал и дрожала, слабый его голос даже звенел, а глаза будто всех сразу видели. Мне, помню, несколько жутко сделалось...

— Да, уходят старики,— помолчав, сказал Станюкович.— Достоевский, Гончаров, Некрасов, Салтыков... Салтыкова, рассказывают, так мало людей хоронило. Говорят, погода была слишком дурна, но я-то знаю, что интеллигенция не пришла страха ради иудейска... Да! А тяжкое новое время не рождает ничего значительного. Позвольте признаться, Николай Георгиевич, я к вам и пожаловал, потому что надеюсь на свежую силу в русской литературе...

Его уложили отдыхать после обеда, и он, устало сетуя на себя за то, что доставляет хорошим людям столько лишних обременений, сразу уснул.

А хозяин возбужденно заходил по дому, потом побежал проверить, задали ли овса лошадям гостя и как устроен кучер, вернулся, снова начал шагать коридором и свободными комнатами. Неужели Успенский одобрил, и Златовратский! Поразительно! А что, если он и вправду писатель? А где печатать — дело второе, даже десятое. И как быть с «Детством Тёмы Карташева»? Быть может, почитать рукопись Станюковичу? Пусть опробует на слух, потому что в своих дневниках он сам с трудом разбирается, пусть послушает с голоса и скажет сразу — годится или нет, литература это или провинциальная писанина. Кое-что, конечно, было в рукописи, он это чувствовал, но в целом-то есть произведение или же нету его пока?. Надо бы почитать, хотя и страшно и непривычно выступать в столь незнакомой роли. А если забракует? Нет, надо еще пройтись пером по рукописи — сентиментальности в ней слишком много и совсем не прописанные есть страницы, рыхлые. Ладно, сегодня об этом не стоит даже думать. Пусть необычный гость отдохнет, погуляет, поживет два-три дня, если соизволит, праздник все же.

Часа через полтора Станюкович появился в гостиной оживленный и веселый.

— Ах, как поспал! Давно так не спал! Деревня! Тишина гробовая! А знаете, Николай Георгиевич, я и вправду устал за дорогу. Три дня к вам ехал. Ну и дорожка. Даже ось поломали, менять пришлось. Ваши самарские дороги не уступают сибирским,— нет, не уступают!

— Вы бывали в Сибири, Константин Михайлович? — удивился хозяин.

— Живал... В молодости однажды проехал всю ее насквозь, а позже мною так распорядились, что я три года там пробыл в местах, как говорится, не столь отдаленных...

— А я был уверен, что вы на морской службе. Так у вас все живо и достоверно изображено...

— О-о-о, дорогой Николай Георгиевич! Службу я оставил давным-давно, хотя флотская карьера самой судьбой мне предназначалась — отец был вице-адмиралом, комендантом порта и военным губернатором Севастополя... И море я любил до беспамятства. Но все бросил ради этого проклятого ремесла.

— Вы имеете в виду?..

— Да, литературу. Она же и для меня прекраснейшее из всех человеческих занятий... А это и есть ваша Князевка? — Щуря глаза, Станюкович смотрел в окно, за кото-

рым по взгорку тянулись в два порядка крестьянские избы.— Она же Юматовка?

— Да. А на самом деле Гундоровка.

— Знаю, в Самаре сказали... И вы описывали натуральную жизнь. Ну, всю историю хозяйства, соседей, крестьян, кулаков, пожары... близко к натуре?

— Старался придерживаться истины.

— По духу очерков это чувствуется.— Станюкович принялся рассматривать усадьбу, только что вышедшую из-под снега,— старые телеги без колес, навозные кучи, полегший забор, вытаявшую печную золу и домашний мусор, задичавший, нестриженый сад.— И в каком состоянии ваши дела сейчас?

— В плачевном. После пожаров я тут не был почти пять лет, все пришло в упадок.

— Но крестьяне-то строятся! — обратил внимание Станюкович на свежие срубы и новые крыши.— Значит, у них-то есть достатки.

— Нет. Они же погорели почти все.

— Как! Недавно?

— Под рождество...

— На какие же средства строятся?

— Я им лесу дал и денег.

- Вы? Которого они разорили? Ну, знаете, Николай Георгиевич...

- А в чем, собственно, дело?

- Да так. Я полагал, что достаточно узнал вас по очеркам. Оказалось, нет... И я благодарю судьбу, что закинула меня сюда.

Спасибо, Константин Михайлович! — промолвил хозяин, тоже глядя в окно.— У меня к вам есть деловое предложение. Отдохните у нас сколько позволяет вам время! Мне хочется с вами поговорить обо всем, я ведь таких людей, как вы, еще не встречал.

- Вот и объяснились,— растроганно сказал Станюкович.— Благодарю вас.

- А сейчас подышим воздухом, попьем чаю. Проходит такой вариант?

- Вполне.

Они шли деревней, не торопясь и без цели. Бабы смотрели из окон, мужики выходили к плетням и почтительно здоровались, стайки детей на улице завороженно замирали, когда мимо проходили два барина бородатых —

свой, Николай свет Егорыч, которого они третьего дня повалили на пол, и он им за это дал на разграбление корзину леденцов, и неизвестный приезжий, богато разодетый, в шапке, как у царя.

— На вас тут даже собаки не лают,— шутливо сказал Станюкович.

—- Они умные существа. И знают меня... В деревне все друг друга знают... И только здесь можно узнать свой народ. Со всем, что в нем есть.

— Да, это так... Я ведь тоже, дорогой Николай Георгиевич, однажды сделал попытку уйти в народ.

— Интересно! С какой целью?

— Я хотел изучить народ и посильно помочь ему своей грамотой. Это было еще до нашествия на деревню нигилистов... А вы заметили, Николай Георгиевич, что почти любое благородное дело у нас наталкивается на подозрение и непонимание?

— По моим наблюдениям, это становится законом жизни.

— Спасибо за понимание... Так вот, адмиральский сын, бывший паж, гардемарин и морской офицер с блестящим будущим подает в отставку. Великии князь Константин Николаевич настоятельно советует ему остаться моряком, но лейтенант непреклонен. Морской министр, давний знакомый вице-адмирала Станюковича, даже меняется с лица, когда прочитывает прошение его сына, отставного моряка, о назначении учителем в любую из сельских школ России. А какой шум вызвало все это у местных властей, когда новый учитель прибыл в глухую деревню Чаадаево, что под Муромом. Окрестные помещики сочли его за такого же сумасшедшего, как Чаадаев, друг Пушкина, а священник настолько испугался, что начал строчить смешные доносы... Временами кажется, что действительно можно сойти с ума, и когда-нибудь я напишу обо всем этом. Я ведь очень много и, к сожалению, торопливо пишу — романы, драмы, фельетоны, рассказы.

— Мне совестно, Константин Михайлович, но должен сознаться, что я ничего, кроме собрания морских рассказов, не читал вашего. Были годы, когда за литературой совсем не следил, все время уходило на другое, мне казалось, более важное.

— Да я не обижаюсь,— засмеялся Станюкович.— Многого вы не потеряли, не узнав одного из приличных способов добывания куска хлеба.

За ужином собрались все домочадцы, и Станюкович увлекательно, словно забыв о хозяине и обращаясь к детям, принялся рассказывать о своем кругосветном путешествии на корвете «Калевала», о странных тропических рыбах и ароматных плодах, о пляшущих дикарях, свирепых акулах и ревущих штормах, о трудной службе на транспорте «Японец», о строгих капитанах и терпеливых моряках, о плавании на борту «Абрека» в Сан-Франциско, об американских индейцах и ковбоях, о месячной стоянке клипера «Гайдамак» в Сайгоне, когда французы уничтожали кротких индокитайцев, о долгом сухопутном пути с экстренными бумагами из Гонконга через весь Китай в Россию, о рикшах и мандаринах, о страшных китайских казнях и гибели в гобийских песках чайных караванов. Маленькая Надя слушала затаив дыхание, Гаря не сводил с гостя завороженных глаз, а хозяин твердо решил почитать завтра Станюковичу повесть о детстве Тёмы Карташева.

Не получилось, однако. Утренний разговор, который хотелось сделать подготовительным к чтению рукописи, как-то незаметно затянулся и повернул в нежданное русло.

— У вас была исключительно интересная и богатая жизнь,— осторожно начал хозяин.— А у меня что?

— Да, у меня была богатая жизнь,— горько усмехнулся Станюкович.— Даже слишком. Переехав из села в Петербург без копейки денег, я долго жил при полном бытовом неустройстве среди дрязг и сплетен, начал пописывать в газетки и журнальчики, но после женитьбы и рождения первой дочери понял, что на литературный заработок не прокормишься. Адмиральский сынок закладывал одеяла, ходил далеко, чтоб занять рубль, и наконец стал, как и вы, дорогой Николай Георгиевич, кем бы вы думали? Железнодорожником!

— Железнодорожником?

— Ни больше ни меньше. Служил в управлении Курско-Харьковско-Азовской дороги. И так богато жил, что с похорон отца не на что было вернуться. Потом Таганрог — помощником ревизора службы движения. Досыта насмотрелся на всяких дельцов и мошенников.

— Ну, эта-то сторона жизни мне хорошо известна, Константин Михайлович.

— А я тогда написал об этом комедию. Позже вышел и первый роман. Я назвал его «Без исхода», потому что сам не видел исхода. Целых три года прослужил в петер-

бургском обществе взаимного поземельного кредита, потом в Ростове, ведал пароходством на Дону и Азове, снова жил в Петербурге, затем в Швейцарии и опять в России. Редактировал журнал «Дело» и писал, писал, пока глаза смотрели, потому что было у меня уже четыре дочери и сын. Ах, черств хлеб русского литератора!..

— Рассказывайте, Константин Михайлович. Пожалуйста!

— Да, слишком интересная была у меня жизнь! Неизлечимо заболела дочь, и я пытался вылечить ее за границей, а когда вернулся оттуда, меня на год поместили в Петропавловскую крепость.

— Помилуйте, за что?

— За то, что в свое время содействовал сокрытию Леона Мирского, покушавшегося на генерал-адъютанта Дрентельна, а за границей общался со Степняком-Кравчинским, с Засулич, стрелявшей в градоначальника Трепова, с Ольгой Любатович... Сидя в крепости, я лишился дочери, журнала, общественного положения, каких бы то ни было средств существования. А потом — ссылка в Томск на три года... Весьма интересная и богатая жизнь!

— Извините, я ничего этого не знал.

— Нет, это вы меня извините — все литераторы любят поговорить о себе. Но я это делаю для того, чтоб перечислить вам тернии — хотя бы часть! — которые могут встретиться на пути русского литератора, и это закономерно! — честный литератор, как выразитель интересов большинства, не выгоден ни одному правительству, потому что все правители на земле сейчас держатся на обмане своих народов. Я так и сказал американскому писателю Джорджу Кеннану, посетившему меня в Томске. Интереснейший, кстати, человек! Досконально изучил ссыльную Сибирь, хорошую книгу о ней написал. И чувствительный, как наш брат русский интеллигент. Моя старшая дочь, помню, с князем Кропоткиным запоют дуэтом романс, а он замрет и украдкой прослезится...

Потом они оседлали лошадей и поехали на Шихан. Станюкович правил неумело и неуверенно, ослабляя узду, а застоявшаяся лошадь чувствовала неопытного наездника, шла плохо — заносила зад, взбрыкивала и презрительно храпела.

— Нет, в шлюпке мне было уютней,— сказал на вер-

шине горы Станюкович, спешиваясь.— Ах, вид-то какой! Только я почему-то плохо чувствую сухопутный пейзаж. А в вас, Николай Георгиевич, какой он отзвук вызывает?

— Еду другой раз, смотрю, думаю: что за страна Россия? Ее просторы какие-то зовущие, словно тоскуют по человеку и обещают ему открыть неведомую тайну.

— Вы очень точно выразили и мое давнее чувство,— задумчиво сказал Станюкович.

— Поэтому я и считаю, что надо на этой земле делать дело, а все остальное — вторичное... Сибирь, в которой я еще не бывал, производит такое же впечатление?

— Там всего погуще — земель, лесов, гор, вод текучих и стоячих... И дел там на несколько столетий. Когда я был на строительстве Обь-Енисейского канала...

— Вам довелось быть на этой стройке, Константин Михайлович?

— Целое лето проработал в конторе стройки. Места обширные, низкие, болотистые. Комарье, тайга во все концы бесконечная. А — хорошо! Тысячи людей наехало. Кого только я там не встретил! Наивные гимназисты, разорившиеся крестьяне, остяки, тунгусы и татары, мелкие чиновники, пребывающие в отпуске, бывшие солдаты и матросы, вчерашние каторжники. Выжиги и романтики, святые и грешники. Отводили воду, копали глину, рубили шлюзы. Жизнь!

— А я слишком сомневаюсь, что этот канал имеет будущее.

— Почему? Для Сибири это своего рода Панама. От Байкала до Урала — непрерывный водный путь,—- великое дело.

— Железная дорога там нужна. Это будет настоящим делом.

— Ну, вам как специалисту путей сообщения, конечно, виднее, а я отошел от всего этого.

— Только литература?

— Да. В «Вестнике Европы» сейчас заканчивает печататься повесть «Первые шаги», в «Русских ведомостях» начинается «Грозный адмирал», в котором некоторые черты своего батюшки оставляю потомкам в назидание. Ох, и крут был, покойник! Когда я, Николай Георгиевич, уже заканчивал кадетский морской корпус и объявил отцу о своем твердом намерении перейти в университет, он тут же договорился с министерством о назначении меня в кругосветное плавание, и я поплыл, недоучившийся кадет...

— Мой отец тоже, знаете, был не кроткого нрава. Сек. За дело, конечно... И я ведь тоже написал об этом.

— Как написали? — встрепенулся Станюкович.— Надо посмотреть!

— Не отделано,— засомневался хозяин.— Но почитать можно. Завтра с утра и начнем.

— Зачем завтра? — возразил Станюкович.— Сегодня вечером, а то мне уже надобно ехать.

— Погостите...

Весь вечер и половину ночи он читал гостю «Детство Тёмы». Станюкович то слушал, то прерывал чтение восклицаниями: «Ах, как хорошо!», «Чудесная сцена!», «Но слушайте, дорогой, в вас есть какая-то исключительная искренность, какой я раньше ни у кого не встречал!»

Иногда он вскакивал, ходил, внимательно слушая, по комнате, горячо дышал за плечом автора и, подслеповато щурясь, следил за размашистыми строчками.

Не дочитали до конца, слишком устали оба. Уже в третьем часу ночи пили холодный чай, и Станюкович все вспоминал и вспоминал Тёму Карташева.

— А я, между прочим, если глаза не подведут, о своем детстве тоже, пожалуй, напишу. Оно неповторимо, как и каждое детство, как и всякая жизнь. Только у меня были совершенно исключительные обстоятельства.

— Что за обстоятельства, Константин Михайлович?— Возбужденный и счастливый хозяин готов был читать и говорить до утра, но надо было пожалеть усатого писателя — у того слезились глаза, и он начал прижимать ладони к вискам.

— Я ведь участвовал в защите Севастополя, Николай Георгиевич,— гордо сказал Станюкович.

— Сколько же вам лет тогда было?

— Одиннадцать, когда началось... За оборону Севастополя имею бронзовую медаль на Андреевской ленте и серебряную на Георгиевской...

Утром он дослушал повесть и сказал с некоторой торжественностью:

— Дорогой мой Николай Георгиевич! У меня сегодня большой праздник. Я не стану предсказывать вам успех — он обеспечен. Вы писатель божьей милостью, и вас узнает вся читающая Россия. Повесть я забираю *с* собой.

— Неперебеленную?

— Разберем. Как будем подписывать?

— Не знаю, не думал. Фамилией не совсем удобно. Меня знают как инженера.

— Да. И потом, есть уже один Михайловский среди нашей братии. Критик. Так что думайте.

В этот момент приоткрылась дверь, и просунулась голова Гари:

— Папочка! Мама зовет обедать.

— Спасибо, Гаря! Идем, идем.

— Как вы сказали? — спросил Станюкович.— «Гаря»? Интересное имя.

— А пусть это имя будет моим псевдонимом — Гарин. Звучит?

— Отменно! — одобрил гость и протянул перо.— Подписывайте.

Прощаясь, они расцеловались. Станюкович сказал:

— Чем вы думаете заняться здесь, Николай Георгиевич?

— Хозяйство поправлять начну, писать попробую.

— Не пробуйте, а пишите. Каждый день! Эх, если бы у нас были свободные деньги, мы бы с вами поставили журнал. Это было бы сейчас большим делом! Но вы пишите! Для вас это сейчас главнее всех дел.

Станюкович уехал, а через несколько дней пришла из Петербурга т е л е г р а м м а, подвигнувшая Гарина-Михайловского совсем к другому д е л у, необыкновенной громкости, важности и значения.

* * *

К сорока годам сердце, набирает полную силу, и, если ты еще живешь святой горячностью его, оно так же, как в юности, жаждет дел и зовет в просторы, хотя первые усталости уже обозначились на твоих висках предательской сединой и чаще думается о прошлом, чем о будущем. О, когда б можно было сделаться к себе менее снисходительным, к другим более справедливым, да не кровенить сердце воспоминаниями!

До боли сжимая голову ладонями, он не единожды за эту зиму метался по б л а г о п р и о б р е т е н н о м у дому своему, не раз молил шепотом владыку небесного, мысленно обращался к царю земному и, безысходно мучаясь, заглядывал в черные окна, за которыми на все концы разверзались бездны российских пространств, подвластные царю другому, самому жестокому и беспощад-

ному тирану человеческого рода...* О чем думают там, в столице?

Он никак не предполагал, что скоро снова окажется в Петербурге, холодном казенном городе, пересадочном пункте в длинной череде своих дел. Не по возрасту устало выдержит министерские представления, против обычного несколько церемонные и торжественные, с ф о р м у л я р о м , только что освеженным записями о всемилостивейше пожалованной св. Анне и произведении Указом Правительствующего Сената по департаменту геральдики в надворные советники. Очередной этот чин был мелок и для его жизни столь малосуществен, что никчемностью своей скорее огорчил, чем обрадовал. От громкого поручения, однако, сердце, ждущее дела, знакомо встрепенулось и замерло перед миражем неоглядного простора.

Спешную т е л е г р а м м у из Петербурга вместе с прочими бумагами почтальон доставил прямо в усадьбу, минуя волость, где обычная крестьянская почта залеживалась неделями, дожидаясь оказии. Почтальон, щуплый сутулый мужичонка, долго крестился в пустой угол. Он был мокрый весь, дрожал от озноба и дул то в одну, то в другую горсть. Из дырявых опорок его на порог сочилась грязная вода. Сказал, что по низинам з а ж о р а , пришлось оставить коня у трактирщика в соседней деревне и со слегой добираться пешком, чуть не утоп в Сантаиловке. От чарки отказался:

— Не пьем... Дозвольте только портянки перемотать — ноги совсем зашлись... Благодарствуем...

В этом доме за доставку почты всегда выносили рубль, а сегодня хозяин дает почему-то радужные — таких своих денег у почтаря сроду не бывало. Об этом барине посякому судили-рядили в окрестных селах, в волости и уезде, но чтоб такое... Говорили, что он давным-давно понес тут из-за поджогов страх какие убытки, а этой зимой сгорело полдеревни — он отпустил мужикам лесу, плотников нанял, и тут снова деньги такие дает...

— Не можем принять, видит бог, не можем,— испуганно забормотал почтальон.— До господина Чемодурова дойдет... У меня пятеро... Чем прокормлю?

— Послушайте! — нетерпеливо и будто бы даже во гневе перебил его хозяин.— Какое дело до этих денег Чемодурову?

* Речь идет о голоде 1891 года. *(Прим. Е. В. Чивилихиной.)*

— Благодарствуем, не можем взять. Бог не простит.

— Бог? — удивился барин.— При чем тут бог?

— А бог при всем,— смиренно сказал почтальон.

— А-а-а! — вскричал барин и отворил дверь в комнаты.— Сюда! Гляди-ка сюда скорей. Тут э к з е м п л я р !

Неслышно появилась барыня в обиходном платье и простом бабьем шушуне поверх него, ласковыми карими глазами оглядела почтальона, узнала и обратила вопросительный взгляд на мужа, на деньги в его руке.

— Нет, ты только подумай... Он потерял зимой двенадцать почтовых рублей — помнишь, в отчете уездной управы читали? Это о вас писали?

— Знамо,— сказал почтальон.— И потерял-то известно где. Ехал в метель, полез в сумку за хлебом, тут они и выпали. Потом уж воротился, весь день по снегу полозил, замело, знать, забило. Спасибо, поверили...

— Ну да,— подтвердил хозяин.— В отчете написано, что за десять лет первый раз случилось, и человек вы непьющий. Чемодуров, председатель управы, порешил оставить без последствий, с постепенной выплатой потери.

— Воистину так,— кивнул почтальон.— Дай ему бог доброго здоровья...

— Ну вот, Надя, слышишь? Вручаю я ему эти двенадцать рублей, а он не берет. На бога зачем-то ссылается. Скажи, что это за народ, который бога ко всякому земному делу, будто...

— Оставь,— с мягким упреком произнесла барыня.

— Ладно, раб божий,— сказал барин.— Быстро на кухню, там щей вам горячих нальют...

Он отложил столичные и губернские газеты, письмо бывшего сослуживца с далекого Урала, какую-то бумажку от уездных бугурусланских статистиков. Что может означать эта петербургская депеша? С конца минувшего года он числился сверхштатным по своему ведомству, не сносился с ним, службы не искал, несмотря на слишком даже стесненные денежные обстоятельства.

«Надлежит...» Удивили чрезвычайность тона, подпись самого товарища министра и туманный намек на особую важность предстоящего. «Что-нибудь серьезное?» — взглядом спросила жена. «Очевидно»,— глазами же ответил он.

Супруги разговаривали без слов, он легче читал ее мысли, чувствовал, что она испытывала несказанное наслаждение от того, что ее понимают. «...Сейчас начну собирать».— «Собирать-то собирать, но в чем дело — ума

не приложу».— «Может, на это д е л о им потребовался именно ты?» Он посмотрел ей в глаза и, увидав в них такую гордость за него и верность ему, что смутился, взялся торопливо разбирать остальную почту. Она же стала думать о том, какой набивать чемодан, сколько белья готовить и как быть с деньгами, если эти отдать почтальону. И что, главное, за дело предстоит, зачем такая спешность?

Письмо товарища с Урала тоже ничего не прояснило, лишь усилило смущение мужа,— правда, совсем иного свойства смущение. Приятель, которого она тоже хорошо знала, униженно просил любую сумму под в е к с е л ь . Ну зачем так-то? Он ведь прекрасно знал, что адресат никогда и никому не отказывает, если у него есть средства, веря честному слову. Видно, к этой щепетильности понудила товарища какая-либо крайность. Так и есть — в постскриптуме товарищ приписал, что собирается в Петербург с протестом против несправедливого начета.

Опять эти начеты! Когда же придет иная пора?! Их общий неоплатный, каторжный, на грани безумия труд принес казне выгоды, которые стократ перекрывают любой мыслимый начет. Наверняка это старый их враг — зверь умный и сильный сподобился, взмахнул своей когтистой лапой вдогон.

Укладывая баул, она тревожно взглядывала в потемневшие зрачки мужа и чувствовала, что сердце его загорелось, как там, на Урале, взялось полыхать. Неужто предстоит снова схватиться? Не миновать, однако... Потому что он вдруг весь ушел в себя — будто готовится продолжать давний спор и уже ищет аргументы, чтоб обезоружить и обезвредить противника, того самого, п е р в о г о . И только спустя годы он скажет ей, что обстригать встречному зверью когти было бесполезно, они тут же отрастают вновь, а само появление этих врагов — лишь следствие других, более общих и до конца не проясненных причин...

Другу следовало помочь неотложно. Надеясь, что добудет денег — точно уж под вексель — в Сергиевске или Самаре, он научил жену, как обойтись с почтальоном. Она явилась на кухню и сказала, что эта сумма выдается ему в счет будущих услуг — хозяин спешно сбирается в дальнюю дорогу, и должен он слать сюда очень много писем и пакетов с важными казенными бумагами. В оплату же срочной доставки телеграммы по распутице он жалует свои, конечно изрядно растоптанные, однако еще крепкие и не-

промокаемые сапоги. Почтальон бухнулся ей в ноги, она взялась поднимать его, не подняла, убежала в комнаты со слезами на глазах.

А хозяин, умея враз подниматься на всякое дело, послал человека на конюшню, чтоб закладывал лошадей.

* * *

Она осталась в деревне с детьми, ночами вспоминая синий огонь в его глазах, натруженные нервные сильные руки; от их прикосновения она всегда мгновенно слабела и уже не помнила себя. До сладостного кружения головы растворяясь в недавнем, она не думала о том, счастлива ли, как не раз за свою жизнь спрашивает себя каждая женщина. Твердо зная, что он несет в себе частицу бога, она постоянно улавливала э т о в словах и поступках супруга, в его совсем особом отношении к ней, детям, к деревенскому люду, делу своему и к тому, наконец, что в его душе годами подспудно созревало и, кажется, нашло этой зимой выход. Ее переполняло необыкновенно сильное чувство благодарности за то, что тогда, почти пятнадцать лет назад, он первым из людей понял ее полную беззащитность перед всем на свете и в ответ на ее доверие до дна раскрыл свое сердце.

Жизнь ее начиналась безмятежно, радостно, только она не успела осознать этого, в зыбкой дали растаяли те лучезарные дни. Она была совсем крохотной, когда ее отца, тайного советника, занимавшего крупный государственный пост, постигло великое, неизбывное горе — умерла мать пятерых его детей. Богатый, если не роскошный дом в центре Минска заполнили горничные, няньки, гувернантки, экономки, врачи, а может, просто без хозяйки слуги стали заметней. Бесчисленные обязанности держали отца вне дома — он был высшим начальником в этом городе и обширной, населенной белорусами губернии, в его руки сходилась вся здешняя административная, военная и судебная власть. Выдержав приличествующие сроки, губернатор з а к л ю ч и л второй брак, с душевной опустелостью чувствуя, что молодая его избранница не способна заменить девочкам усопшую.

Росли они в холе и неге; кружева, куклы, ленты, конфеты — всего этого было предостаточно в детской и спальнях, только она с тайной завистью поглядывала из высоких окон на дурно одетых ровесниц, которые со смехом

бегали по грязным лужам, а их мамы вульгарными голосами раздраженно кричали поодаль. И еще она часто болела, неделями металась в жару, и было очень больно глотать, как лекарство, горький мед. Старшая сестренка просиживала дни возле нее, вспоминала маму, а младшую к ней не пускали, и ее рыдания за дверями вызывали у них безутешные слезы. Отец, наверное, любил их, однако видели они его только за обедом, мачеха не позволяла ему побыть наедине с детьми.

Потом двух младших дочерей отец отправил в заграничный пансион. С мачехой они тоже мало общались, все время с гувернанткой или втроем. Она совсем не помнила, за какие капризы ее наказывали, остался только ужас перед этим наказанием — девочку запирали одну в комнате, она очень металась поначалу, потом пообвыкла, закрывала глаза и часами сидела, омертвев от страха.

Четыре года прожила она в Штутгарте, обучаясь немецким наукам, домоводству и музыке. Каждый год отец с мачехой наезжали туда на несколько дней, в ее однообразной затворнической жизни это было великим событием, хотя за все годы она ни на минуту не осталась с отцом наедине, безропотно думая, что так и следует быть, и отец, умный, вечно озабоченный какими-то неотвязными мыслями, полный молчаливого достоинства, знает, как ему поступать. И она с нетерпением считала дни до ежегодного этого праздника, чтоб хотя бы всласть послушать, поговорить по-русски.

Когда она, закончив учебу, вернулась из Германии, отец по-прежнему ревностно служил, в родительском доме было пусто, тихо, почти мертво. Старшая сестра Адель внезапно вышла замуж за пожилого генерала, который от разговоров переселился в Одессу. Детские комнаты были перестроены и отведены под будуар губернаторши, обставленный изысканной венской мебелью. Через какого-то молодого белобрысого лакея в золоченой, с басонами и шнурками, ливрее хозяйка дома распорядилась поместить падчерицу в комнату, где обычно останавливались гости. А через два дня за обедом отец начал осторожный разговор. Он смотрел мимо, мял в руках накрахмаленную салфетку, потом, чтоб смягчить свои слова, спрашивал о чем-то, и она смятенно отвечала по-немецки. Отец пожелал, чтобы дочь переехала жить к своей сестре в Одессу, и она тут же, пристально рассматривая десертную ложечку, попрощалась с ним.

Не думала, не гадала, что в этом городе у моря ждет ее перемена судьбы.

В квартире сестры всегда было тихо и чинно, как в пансионе, и даже трехлетняя Оля, подчиняясь строгому распорядку, знала, когда ей можно капельку пошуметь. Все садились к столу в определенное, раз и навсегда установленное время, прогуливались и отходили ко сну тоже по часам. Этот полуказенный домашний режим шел от мужа Адели. И она не понимала, как могла красивая и вполне самостоятельная двадцатилетняя девушка обручиться с человеком, которому далеко за пятьдесят. Нет, ее-то избранник будет другим — высоким, стройным юношей с мужественным лицом и пламенными глазами. Только где его встретить?

По утрам, отправляясь на службу, Владимир Евстафьевич выглядел даже импозантно — туго затянутый в мундир, он молодцевато прямил спину перед зеркалом, распушивал щеточкой усы, перед первым шагом к двери, непременно снисходительно улыбаясь, подставлял Адели розовую, тщательно промассированную щеку. А вечерами, усталый, он надевал пестрый татарский халат, войлочные туфли, вешал на пояс гремучую связку ключей от бюро, шкафов и кладовок, что находились в прохладном полуподвале дома, разом превращался в старика, ворчливого и педантичного. Кажется, Адель не очень-то его боялась и умела разговаривать с ним так же властно и спокойно, как он разговаривал с нею. Сестру жены он, однако, принял хорошо — по-родственному тепло, обращался уважительно, просто, и Адель радостно смеющимися глазами обласкивала мужа за такую доброту и приязнь.

Об этом странном браке Надя не осмелилась в Минске заговорить с отцом, а из случайного и какого-то невнятного разговора с мачехой ничего не поняла. Они обедали в тот день вдвоем, без отца, который уехал осматривать последствия недорода, приключившегося из-за дождей. Мачеха была с утра не в духе. Перед обедом за что-то долго и резко выговаривала экономке, иногда срываясь на крик.

— Бонжур,— прошептала падчерица, появляясь в столовой.

Мачеха сдержанно кивнула, хотя ноздри ее все еще трепетали от гнева.

— Какой там «бонжур»! С ума сойдешь.

— Вам вредно волноваться...

В кротких словах падчерицы она услышала, должно быть, то, чего в них не было, и холодно заметила:

— Когда вы, дорогая моя, поведете дом, я посмотрю, как вы не будете волноваться,— и, тщетно пытаясь скрыть рвущуюся наружу ненависть, добавила: — Это только ваша сестрица Аделаида никогда не волнуется. Но у нее совсем особые обстоятельства.

— Какие же?

— Она себя не пожалеет, чтоб досадить мне,— совсем уж непонятно и нелогично произнесла мачеха.— Только бог ей за это не даст счастья.

Адель, однако, выглядела уравновешенной и довольной жизнью. Она снисходительно относилась к застарелым привычкам аккуратиста мужа, со строговатой нежностью — к дочке, подчеркнуто ласково — к приехавшей сестре, а ко всем остальным — с какой-то покровительственной уверенностью в своем праве относиться к ним так, как она захочет.

— У меня характерец! — говорила она сестре, улыбчиво глядя на нее.— Отец говорит, что я будто бы в деда уродилась, маминого отца, которого вся Самарская губерния знала, и даже Симбирия и Нижегородия. И если б я не уехала, она бы узнала меня, наша мамаша.

— А была ли в этом нужда?

— Она к папе относится совсем не так, как он того заслуживает.

— Ия заметила, что она его совсем не любит...

— А какую я в прошлом году войну выдержала здесь! Понимаешь, мы жили внизу, в такой же точно квартире. А над нами — генеральская вдова с семьей почти в десять человек...

— А что это всегда за шум внизу?

— Разве это шум? — засмеялась сестра.— Что тут было год назад, когда они жили наверху!.. Боже, какой ужасный шум, стук и крик стояли у нас над головой! А на лестнице дети так гремели, будто спускались с нее кувырком. А когда приехал ненадолго их старший брат, студент, мы подумали, что потолок рухнет. Сходила я познакомиться к ним и поговорить,— малютка просыпается, муж не отдыхает,— нельзя ли потише. Люди они вполне достойные и дружно согласились во всем со мною. Но дети есть дети! И вот через несколько дней позвонил к нам этот студент и сказал, что он уезжает и счел неприлич-

ным не попрощаться. Мы пожелали ему доброго пути, он извинился за шум и, уважительно улыбаясь, заявил, что сейчас на лестнице нашел гениальный вариант. «Что за вариант?» — недоверчиво спрашивает Владимир Евстафьевич, а сам ревниво и свирепо даже смотрит на меня и на этого молодого соседа. «Ввиду идентичных квартир, мы переселяемся в вашу, а вы в нашу». Он уехал, мы переселились, и сейчас хоть лестница не гремит. Однако слышишь?

Внизу кто-то зверски терзал инструмент, подбирая вульгарную портовую песенку.

— Это Саша, гимназист, пытается Ниночку разозлить,— заулыбалась Адель.— Она ему, наверное, сказала, что с его прилежанием к латыни дорога одна — в биндюжники, а он обрадовался. Ниночка сейчас ему старшего брата начнет в пример ставить, который воистину хорош несказанно!

— Вправду интересен?

— Да! — горячо сказала сестра.— Идеалист без чувства меры. А с Ниной тебе непременно надо подружиться.

— У меня никогда не было подруги,— печально сказала она.

Соседка оказалась милой смешливой говоруньей, приветливо-ворчливо распекающей своих многочисленных братишек и сестренок; мать семейства — умной сердечной женщиной, которая, непонятным образом никого не стесняя и не наказывая, вела такой большой дом и незаметно блюла в нем посильный порядок. Детей в семье незримо, но прочно связывали нити взаимной дружбы. Если они ссорились, то как-то вдруг и бесследно забывали обиды, если подшучивали друг над другом, то вполне тактично и беззлобно, и с удивительно непосредственной живостью принимали участие в каждой неприятности, ежели таковая постигала кого-нибудь из них на улице или в гимназии. Все это было так непохоже на гнетущую обстановку отцовского дома и на строгий распорядок, учрежденный мужем Адели, что представления юной гостьи о семейном укладе русских людей совершенно изменились, обогатив ее душу прельстительной и желанной новизной. Она теперь с нетерпением ждала вечеров и звуков условного вальса. Брала свою драповую т а л ь м у , подарок брата Николеньки, шкатулку розового дерева и шла к соседям. Там она садилась в уголок, вязала или вышивала, наслаждаясь всеобщей приязнью, царящей вокруг нее, разговорами на простые, доступные темы,

шутками подруги, участливыми и ненавязчивыми расспросами ее матери. Иногда она играла несложные, разученные еще в Штутгарте вещи и стеснительно пела, если ее об этом просили. А как прелестно звучали детские голоса, когда подруга садилась за инструмент подбирать мелодию и все семейство заводило какую-нибудь чарующую малороссийскую песню! На душе становилось радостно, проясненно, казалось, что нет и не может быть на свете ничего лучше, чем такое ее состояние, ничего уютнее, чем эта старомодная гостиная с поблекшим персидским ковром на полу, и никого более не хотелось рядом, кроме этих милых, добрых соседей...

Мать возлагала особые надежды на старшего сына, петербургского студента, а Нина, вспоминая о нем, восторженно восклицала:

— Он, безусловно, лучше нас всех! Он такой!..

— Какой же?

Подруга сбивчиво, не справляясь с нахлынувшими словами, бралась объяснить, что он совсем не похож на других молодых людей. Будто горит изнутри, лгать не умеет, даже по пустякам, у него золотое сердце ребенка, а ум зреющего мужа. Весь в идеалах, однако вовсе не идеальный, паинькой сроду не был, и отец его не раз порол.

— Дворянин дворянина? — с ужасом вопрошала она.

— Еще как! — хохотала подруга.— Солдатским ремнем.

— Солдатским? Но ваш покойный батюшка был генералом.

— На этом ремне он бритву правил...

Стояло мягкое лето, но выпадали дни, когда при полном безветрии было так жарко, что чуть ли не все городское население тянулось к влажному морскому берегу. Девушки тоже ходили на Ланжерон и подолгу сидели под зонтиками на перевернутых лодках. Разглядывали море, призрачные точечки далеких рыбацких шаланд, пронзительно визжащих купальщиц, пили розовый морс со льда, услужливо предлагаемый разносчиками, одетыми в белые халаты, и говорили, говорили обо всем на свете. Газеты последних дней приносили плохие вести с Балкан, где шла война с турками, а отец только что сообщил из Минска, что ее брат Николенька оставил министерскую службу, записался добровольцем и уже выехал из Петербурга в действующую армию, чтобы помочь святому делу освобождения единоверцев-славян. Война шла совсем недалеко,

и не такая легкая, как представлялась вначале российскими газетами.

* * *

С горечью бессилия, давно не испытываемой в столь сильной степени, министр государственных имуществ Валуев ждал развязки назревавших событий. Рейтерн вернулся из Ливадии в октябре 1876 года, когда вопрос о войне был предрешен отклонением Англией Берлинского меморандума, несогласием Порты пойти на уступки, отказом Сербии и Черногории от предложенного турками шестимесячного перемирия, отсутствием положительных сообщений из Лондона, Вены и Берлина, крайним возбуждением газет и читающей их публики, оторванностью государя от трезвой петербургской среды и влиянием на него ливадийских шептунов.

С нетерпением ожидая министра финансов, Валуев подбирал новые и новые признаки грядущей грозы и предчувствовал, что Рейтерн не привезет ничего утешительного. Так оно и произошло. Рейтерн начал слишком издалека, сказав о дороге, о первом дне и погоде в Крыму, о том, что придворные дамы сияли и повторяли, как заклинание, одни и те же воинственные фразы, из чего он заключил, что пароль была дана свыше.

— Что записка?— спросил Валуев о сути, видя, что Рейтерн растерян, жалок и почему-то не решается приступить к делу. Из долгих, путаных и тревожных объяснений он понял, что в Ливадии министр финансов поставил вопрос непредусмотрительно и даже опасно. В совещании участвовали наследник цесаревич, князь Горчаков, Милютин, Игнатьев и граф Адлерберг, но начал государь, и сразу же напали на Рейтерна, который в своем заявлении будто бы изобразил дело так, словно — якобы тяжкие — последствия возможной войны усугубятся из-за великих преобразовательных реформ настоящего царствования. Рейтерн никак не ожидал такого поворота, пытался объясниться, однако государь вернул записку, сказав, что вызвал его из Петербурга не для того, чтоб узнать мнение министра финансов, следует ли начинать войну, а как и где найти средства, потребные на военные издержки...

Валуев никогда бы не позволил поставить себя в такое унизительное положение, ему было стыдно за Рейтерна, и он непременно ослабил бы с ним отношения до по-

степенного и полного их исчезновения, если бы не грозящая России неотвратимая уже беда, средь которой совершенно одному остаться было бы тяжело и страшно.

— Не сказал я решающего,— услышал он сникший голос Рей терна.

— Ничего не может быть сказано более решающего,— холодно возразил Валуев, стоя у окна спиной к собеседнику.

— Нечто есть, Петр Александрович...

— Прошу,— проговорил Валуев, задумчиво перебирая рукой тяжелую бахрому оконной занавеси.

— На первое ноября назначена мобилизация.

Впервые Рейтерн увидел, как Валуев вышел из себя. Он зачем-то рванул красную штору, сорвал ее с петель и стоял так, смотря в окно, пока гость, поняв, что Валуеву хочется побыть одному, не откланялся неловко, как-то слишком поспешно.

Мобилизация, однако, еще не означала открытия военных действий, и Валуев в последние месяцы, ни на что уже не надеясь, все же считал своим долгом перед Россией если не воспрепятствовать неотвратимому, то хотя бы соблюсти верность тому новому, что он обнаружил вдруг в себе. Всю жизнь он распускал паруса навстречу легчайшим придворным ветеркам, если источником их была воля монарха, и немало гордился тем, что временами мог направлять эту волю, числя себя на корабле истории не в последнем чине. А сейчас, будучи оттесненным от больших событий, почувствовал в себе решимость воспротивиться любой воле, направляющей Россию на край пропасти.

Если б не кремлевская речь государя, произнесенная осенью по пути из Ливадии! Государь сказал в ней, что если мы не добьемся гарантий, которых вправе требовать от Порты, то намерены действовать самостоятельно, и в таком случае вся Россия отзовется на его призыв, когда он сочтет это нужным. В европейских столицах это произвело впечатление разорвавшейся бомбы, связало государя вопросом чести, а через день стала реальностью эта до нелепости преждевременная мобилизация. Как бы со стороны Валуев следил за мучительными зимними маршами по невозможным бессарабским дорогам, отказами Рейтерна в выдаче главнокомандующему золота, упованиями государя на порядочность своего коронованного дядюшки, вокруг которого Бисмарк плел железные тенета, за ленивой болтовней лорда Биконсфилда в английском парламенте, за неяснос-

тями константинопольских известий. И в декабре государь снова заколебался, заверив делегацию купечества, что он надеется на мирный исход.

Видя, что он лишен привычной возможности влиять на события, Валуев решил прибегнуть к способу, изобретенному им еще в бытность его министром внутренних дел. Для борьбы с крамольной печатью он создал тогда газету «Северная почта», в которую под различными псевдонимами написал немало статей. Сейчас он все свободные вечера просиживал над статьями для отечественной и заграничной прессы, в которых отстаивал незыблемые устои России. Радуясь возможности высказаться публично, он, однако, тщательно скрывал свое авторство и насильственно сменял иногда способ рассуждений, чтоб в них не узнали его, валуевского, почерка. Эта добровольная и нелегкая работа отнимала много сил, но Валуев чувствовал большое моральное удовлетворение от нее, уповая на то, что бог и беспристрастное будущее зачтут ему сии бескорыстные труды.

В феврале 1877 года Валуеву прислали от государя записку Милютина с просьбой высказать о ней свое мнение. В записке излагались результаты мобилизации, и Валуев с тайным удовольствием отметил эффективность меры, принятой по его предложению несколько лет назад. Далее говорилось, что Россия без союзников, и война есть бедствие, но все-таки придется пойти навстречу ему, ежели Турция не покорится.

Посидев над запиской полночи, Валуев пришел к твердому решению, что завтра выскажется откровенно и недвусмысленно. Валуев попросил дозволения мыслить вслух и начал с того, что, если бы собрать в каком-нибудь иностранном посольстве всех недругов России и спросить, желают ли они этой войны,— ответ был бы утвердительным. Затем он последовательно изложил все аргументы против объявления ультиматума вплоть до последнего, заключительного — правильно ли жертвовать, быть может, пятьюдесятью тысячами русских жизней из-за подданных султана? Валуев видел, что государь слушает внимательно и терпеливо. Никак не оценив его слов, государь сообщил последние заграничные новости, но почему-то не дал Валуеву возможности высказаться по их сути, чтоб разобрать крапленые карты европейских политических воротил.

Граф Андраши, счастливо избежавший виселицы в 1848 году, мечтает урвать себе руками России Боснию и Гер-

цеговину, чтобы выйти к морю. Это было продолжением традиционной политики. Князь Бисмарк, окрещенный молвой весьма точно удушливым генералом еще во время первого своего визита в Петербург, недаром отрицал в те времена необходимость введения в России всесословной военной повинности, считая ее противогерманской реформой. Позже он настоятельно рекомендовал распорядиться Турцией при германо-австрийском нейтралитете, словно самый ярый славянофил, разражался перед нашим послом пышными тирадами о чести России и о вреде мирного исхода для монархических начал, желая одного лишь — убедить восточного соседа в непролазной балканской грязи. Что же касается лорда Биконсфилда, который, по словам государя, заявляет, будто готов построить для России не только мост из золота, но и мост из алмазов и рубинов, чтоб она могла выйти из затруднений, то этот романист, как всегда, лжет и на самом деле строит нам мост на гнилых сваях...

И еще Валуев во время этой долгожданной встречи не получил возможности сказать о том, что его тревожило все сильней и чему теперешнее окружение государя не придавало должного значения. Он надеялся, что сможет сказать об этом завтра на заседании узкого политического «конвента», куда государь пригласил его. Из Зимнего Валуев поехал к Рейтерну, который заверил его в своей завтрашней поддержке, сказав на прощание:

— Содержание бездействующего войска на военной ноге нам обойдется за эту зиму в сто миллионов рублей. Сто миллионов! Золотую казну пришлось распечатать, чтоб не понудить великого князя Николая Николаевича прибегнуть к реквизиции в дружественной нам Румынии. Но завтра должно многое решиться, Петр Александрович! Не изволите ли вы навестить князя Горчакова?

Валуев навестил князя, который был странно растерян и нерешителен. И хотя в итоге он согласился с доводами Валуева, рассчитывать на него как на главную завтрашнюю силу было невозможно.

А под вечер приехал Тимашев. Он весь закипел, когда Валуев поделился с ним своими мыслями о неизбывной внутренней опасности, грозящей России в случае войны, которая эту особую опасность непременно приблизит и обострит. Министр внутренних дел тоже был зван во дворец и готовил свои соображения. Валуев несколько воспрянул духом — складывался довольно согласный триумвират ми-

нистров. Если бы князь Горчаков оказался способен повести его за собою!

Однако, к огорчению Валуева, назавтра ничего существенного не произошло. Его только удивил низкий уровень, на котором стали вестись столь высокие собрания. Три записки было прочитано — Рейтерна, Игнатьева и Горчакова, что сразу раздробило внимание всех. Рейтерн повторился о расстройстве финансовых и экономических дел, князь, уколов походя генерала Игнатьева за его, Горчакова, инструктирование, вдруг слишком необоснованно и нелогично предложил распустить армию. Наследник цесаревич многозначительно хмыкал и разглядывал министров глазами укротителя. Министр двора граф Адлерберг, по своему обыкновению, упорно молчал, ни звука не издал почему-то и военный министр Милютин, а прочим государь не дал слова. Заговорил сам, но из его долгого рассуждения, которое никак нельзя было счесть заключением, вытекало только то, что мысль о безотлагательной демобилизации отвергнута. Валуев даже не пытался скрыть свою досаду и произнес:

— Сегодня, кажется, нельзя пожаловаться на мое многоречие.

На него враз оглянулись, и Валуев подумал, что сделается теперь нежелательным для такого рода ареопага, однако он ошибся — через три дня государь прислал за ним фельдъегеря для участия в новом совещании, уже без Рейтерна и Тимашева, а после него подозрительно дружелюбно пригласил на завтрашнюю охоту в Лисино. Потом последовали новые и почти безрезультатные сидения в кабинете государя, обеды в его семье, любезные слова императрицы, и Валуев недоумевал, чем он все это заслужил. Однажды императрица неожиданно заговорила о его тайной газетной деятельности, и только тогда он понял подлинную причину изъявленной ему приязни. Дошло и зачлось!

На совещаниях же у государя по-прежнему ничего не происходило, и Валуев начал уставать от них даже больше, чем от изнурительной пестроты дел, бумаг, людей и слов в министерстве или писания верноподданнических статей в ночном одиночестве.

Может, все они были бессознательными жертвами неотвратимого, которое сильнее и выше людей со всеми их страстями и умствованиями? В бесцветном виде предстала перед ним и его собственная прежняя деятельность. Он горел и надеялся еще совсем, кажется, недавно. Вновь

получив министерский пост, он сразу же возглавил высочайшую учредительную комиссию для исследования положения сельского хозяйства, которую вся Россия именовала «валуевской». Работы были проведены необыкновенно ценные, но остались исследованиями без последствий. У Валуева недостало тогда ни сил, ни энергии достичь изменений и улучшения, потому что непреодолимые препоны таились в глубине сопутствующих обстоятельств, и он уже тогда начал замечать, как постепенно угасает в нем прежний реформаторский жар. И все чаще он ловил себя на том, что ему больше хочется молчать, чем говорить. Запомнилось только долгое сидение 11 марта, после которого у Валуева окончательно наступил давно назревавший душевный перелом. Совещание было примечательно тем, что пошло было по его первоначальному февральскому замыслу. Трое министров встали дружно вместе с князем Горчаковым, и к ним вдруг присоединились извечный молчун граф Адлерберг и даже председатель Государственного совета великий князь Константин Николаевич. Однако государь и наследник цесаревич пошли за Милютиным, убежденно и умно выступившим против демобилизации — она могла стать дополнительной и пустой тратой средств перед новыми политическими сложностями, которые явно готовил в Лондоне лорд Биконсфилд. Валуев не нашел что возразить и не хотел искать возражений — он понял, что телегу, пущенную под гору, может остановить только овраг. Валуев ни слова не записал об этом совещании в свой дневник. Раскрыл его лишь через несколько дней, когда смог спокойно и решительно, с присущим ему панорамическим взглядом, сформулировать окончательный вывод: *«Московские славяне одержат верх и во имя славян не московских пустят Россию в обратный ход, — от Гостомысла к Петру — в гору.— От Петра до славян базарного образца — по горе. От этих славян — под гору.— Дай бог, чтобы я ошибся». И если б только эти московские болтуны, вообразившие себя хранителями чести России! Мыслями Валуева властно овладевали призраки, чьи реальные прототипы он увидел на трагикомическом процессе совсем иных «москвичей».*

Это было в день совещания, памятного своей чрезвычайной важностью и будничной безрезультатностью. Князь Горчаков с непонятным горением в глазу сказал ему после совещания, что два полных утра высидел в суде. Едва ли сей поступок приличествовал государственному канцлеру в та-

кое время. Валуев поехал и часу не выдержал. Ему шептали сбоку, и он пристально разглядывал сидящих рядом сестриц Любатович, Алексеева, державшегося со спокойствием фанатика и не по возрасту уверенно, Фигнер, коей очень шел бы передник горничной, круглоликую Бардину, характерный профиль человека с невообразимой фамилией Джабадари, прочих подсудимых, общим числом около полусотни. Больше всего Валуева встревожили ясное понимание происходящего преступниками и бессознательность публики, слушающей дело со снисходительным любопытством.

Адвокатура словно не могла сыскать слов, достойных момента, и вела себя так неприлично, что Валуев, не дождавшись перерыва, раздраженно поднялся и уехал в министерство. Но работа не заладилась в тот день, движимая какой-то механистичной мертвой правильностью, равнодушие к ней перешло через полубессонную, с каплями, ночь, продлилось еще два дня, а на третий он впервые за долгие годы службы решился записать в дневнике: *«Дела министерства веду,— порядочно,— но с отвращением».*

Заезжал к нему Тимашев с заключительными речами Бардиной и Алексеева. Последний весьма определенно и в полном соответствии с точкой зрения самого Валуева на предмет заявил, что работники могут ждать помощи только от молодой интеллигенции, и закончил свое неистовое слово злым пророчеством — ярмо деспотизма, порожденное ныне штыками, разлетится-де в прах, когда подымется мускулистая рука рабочего люда. Валуев никак не ожидал от бывшего полуграмотного мастерового столь энергических и точных выражений, а приговорных десяти лет каторги показалось ему явно недостаточно для такого молодого да раннего социалиста; Чернышевский с Шелгуновым, вкусив за такой срок сибирских воздухов, однако уже вернулись бы в Петербург... К листкам с речами было подколото шпилькою стихотворение, каллиграфически переписанное, и он бросил на него взгляд. «Смолкли честные, доблестно павшие...»

— Кто? — спросил Валуев.

— «Честные» — это они, «москвичи»,— хохотнул Тимашев,— а «ядовитые гады», выходит, мы с вами.

— Меня интересует автор,— поморщился Валуев.

— Доносят, что у Некрасова были студенты и он попросил их передать это в тюрьму Алексееву.

Валуев, возглавляя в бытность свою ведомство Тимашева, встречался с Некрасовым, довольно неприятным господином, у которого тогда, кажется, водились немалые деньги. Скучно проговорил:

— В его-то годы и с его здоровьем быть возбудителем...

Назавтра он с тоскою, не произнеся и слова, выдержал долгое заседание совета министров. Государь предложил обсудить и назначить меры для противодействия революционной пропаганде. Далее, начиная с князя Горчакова, потекли усыпляющие слова о комиссии, наподобие той, что несколько лет назад с пристрастием, но, в сущности, безуспешно вел Валуев. Зрелыми показались только рассуждения военного министра о необходимости высочайших указаний относительно объема задачи. Милютин спрашивал, идет ли речь о прежних мерах полицейского характера или же угодно глубже разобрать дело, чтоб раскрыть причины живучести пропаганды. Многие, включая государя, слушали сочувственно, но Тимашев усмотрел в словах Милютина опасности для государственного строя и весьма некстати ввернул слово «конституция». И все смешалось в олимпийском хоре. Граф Толстой, граф Пален, Грейг... Валуев перестал слушать, думая о своем, и едва уловил даже мысль государя, со строгостью сказавшего, что право возбуждать столь важные государственные вопросы принадлежит ему одному, а не какой-либо комиссии, обязанности коей — ограничиваться обсуждением мер для сегодняшнего пресекновения пропаганды. Милютин снова поднялся, по-солдатски просто и смело изложил, что зло имеет глубокие корни и узким подходом задачи не разрешить. При этом он почему-то бросал взгляды на Валуева, который, слушая, частью пребывал в раздумьях о процессе недавнем и непременных будущих, о том дне, когда политические карты в Европе лягут так, что Россия развернет карты военно-топографические. Уходя с заседания, Валуев посмотрел на Милютина и первым поклонился. Тот подошел к Валуеву, спросил, как он смотрит на затею с комиссией.

— Вы хотите сказать, Дмитрий Алексеевич, что у меня имеется опыт? — состорожничал Валуев.

— Наружным пластырем не лечат органическую болезнь,— сказал Милютин, вздернув, будто перед строем, подбородок.

— К тому же пластырем, бывшим в употреблении,—

усмехнулся Валуев.— Князь Горчаков, кажется, начал о том же, но...

— Да, только он не умеет говорить по-русски,— отрубил Милютин.

— Однако о том ли болит голова у вас, Дмитрий Алексеевич?

— Что же мне делать, ежели при вашем-то опыте вы, Петр Александрович, молчите?

— Совершенно согласен с выговором... Главное-то как?

— Стоим в Бессарабии. Временами думаю — если б не стародавняя наша с вами записка о воинской повинности...

— Как вы полагаете — когда? — уточнил Валуев.

— Когда? — Милютин развел руками и даже откинул голову, всем видом показывая, что не умеет ответить на столь невозможный вопрос.— Темна вода во облацех...

Ровно через три недели государь с большой свитой выехал из Петербурга в Бессарабию, и Валуев понял, что это война.

Для Валуева год 1877-й стал годом непрерывной душевной казни.

События разворачивались далеко, но подготовка к ним велась на его глазах, и в главных действующих лицах Валуев не видел осознания важности и трудности предстоящего. Он ни с кем не делился своими настроениями, лишь временами раскрывал дневник, стараясь быть в нем самим собою.

«15 апреля.— Рубиконы перейдены в Европе и Азии. Об устройстве правильной и скорой передачи известий сюда не озаботились... Что впереди нас? Не чую добраго...»

Назавтра к вечеру он получил от министра двора графа Адлерберга телеграмму о пожаловании Андреевской ленты и записал в дневнике, что он должен быть глубоко благодарен государю за его отличие. Потом была quasi — торжественная встреча императора — министры, генералы, дамы, депутации от города, и Валуеву сделалось досадно и стыдно, что все это было un peu caique, ип реи агnge, un peu fouette[1].

«22 мая.— Вчера вечером государь уехал в армию в

[1] Немного рассчитано, немного подстроено, немного форсировано *(франц.)*.

сопровождении цесаревича. Свита огромная. Под императорскую главную квартиру потребовалось 17 поездов.

16 и ю н я.— Не сплю ночи. Дунай и Азия постоянно в мыслях. Благодаря Богу, Дунай перейден...

22 и ю н я.— ...Дамы в Царскосельском дворце болтают о Константинополе. Между тем английский флот направляется к Дарданеллам, а кн. Бисмарк и гр. Андраши потирают себе руки, глядя на то, как мы себе пускаем кровь pour l'amour des Bulgares[1].

2 4 и ю н я . Великому князю Алексею дана золотая сабля. В представлении главнокомандующего значится: «За проведение лодок под огнем».— Еще бы без огня!

Известно, нет событий без следа!
Что сделано, допущено, что было,
Ни личностям доселе никогда,
Ни нациям с рук даром не сходило...

Боюсь,— не сойдет и все, чему я свидетель.

2 6 и ю н я.— Я утратил всякую способность к работе. Мысль занята другим...

2 7 и ю н я.— Ходят слухи о снятии осады Карса. Ко мне приезжал граф Гейден узнать, не известно ли мне что-нибудь про это? Ко мне! Начальник главного штаба! Он не получает сведений! Военный министр, как говорят, жалуется на то, что он без дела и читает «Анну Каренину»! Sic. Так говорит Гейден. Между тем турки бомбардируют Евпаторию!

2 9 и юл я.— Сегодня пришла депеша от Суворина из Вены, в «Новое время». Там значится, будто мы вновь разбиты под Плевной й у Ловчи, и что Суворин хочет вернуться, потому что там оставаться стыдно!.. До чего мы дожили: Суворину стыдно!

10 а в г у с т а.— Со вчерашнего дня турки атакуют перевал на Шипке...

1 с е н т я б р я.— Страшная резня продолжается. Потери в два дня за 10 тысяч. В частной телеграмме великого князя значится, что «поведение войск поразительно, великолепно. Из всей стрелковой бригады набран один батальон. Остальные легли»... Легли! Из-за кого?

4 с е н т я б р я.— Сегодня великий князь сообщил цифры потерь. Убитых и раненых у нас до 300 офицеров и 12 500 нижних чинов; у румын до 60 офицеров и до 3000

[1] Из любви к болгарам *(франц.)*.

нижних чинов... Плевна уже стоит нам 25 тысяч человек».

Валуев, презрев бесконечные дожди и холод, почти каждый день ездил на дачу, к желтым деревьям, последним цветам, к дневнику и книгам, но не читалось почти и неохотно писалось. Лишь урывки реляций да краткие впечатления от наблюдений за великосветскими салонами, где полностью отсутствовало сознание того, что есть, и того, что угрожало всему. В министерство было противно заходить — захлестывал поток бумаг, над которыми следовало бы, но так не хотелось думать, прямые и завуалированные прошения о чинах и орденах, описи осушительных и лесных работ, бесконечные арендные документы. Он пытался распределить все это по товарищам министра, прося подавать ему концентрированные вопросы, однако все снова каким-то образом сходилось на его столе, и он начал многое подписывать, не читая, чего ранее не позволял себе никогда.

Систематичность, привнесенная в дело еще стариком Сперанским, выручала Валуева в те времена, когда проделанная работа лишь увеличивала ее и, казалось, не было человеческих возможностей выдержать. Так работалось на истоках его карьеры у Сперанского, потом в Курляндском губернаторстве, а совсем уж сумасшедшие дни подготовки и проведения реформы отзывались до сего дня застарелой усталостью. Этим летом он совсем сдал — из него, точно из опрокинутого сосуда, враз вытекли силы. Чтоб соблюсти видимость руководительства, он внимательно просматривал лишь каждую пятую бумагу — привычки прежней системы иногда завладевали им на час-два, он увлекался каким-нибудь вопросом, гонял чиновников за справками, однако быстро охладевал при первом же затруднении. Вот минский губернатор Чарыков, старый приятель графа Адлерберга, находящегося сейчас при государе под Плевной, ставил непростой землемерный и арендный вопрос, связанный с осушением болот Полесья. Война войною, а надо посылать в Минск чиновника особых поручений, инженеров, поддержать это нужное дело, имеющее важное значение для будущего хозяйства Белой Руси, края бедного, будто всем обойденного милостью господней...

С тревогой, быстро, впрочем, вытесненной иными каждодневными тревогами, Валуев замечал, как из-под его рук одна за другой выходят непрочитанные бумаги, касающиеся свободных самарских, уфимских и оренбургских земель. Эти богатые земли были так дешевы, что он сам

мог бы приобрести землю, только определив свой путь в государственной службе, он еще в молодости твердо решил, что никогда не будет владеть землей. И он несколько даже удивлялся, зачем князю Ливену и другим титулованным лицам те далекие степные десятины, по которым кочуют дикие племена. Он еще мог понять тех, кто, считая себя дальновидными, обращал рубли в надежную и вечную недвижимость. Но светлейший князь Ливен, подчеркивая свои заслуги перед отечеством и беззастенчиво используя дворцовые связи, добился пожалования земель, принадлежащих по закону несчастным инородцам! Снисходя к просьбам лиц, которые прежде ни о чем его не просили, Валуев втайне надеялся, что сможет, если в том будет нужда, облегчить через них какое-нибудь свое дело, не личное, конечно, а государственное, хотя не видел пока впереди таких дел и собирался изменить своему правилу обходиться без унизительного протекционизма.

Известие о смерти князя Мещерского, павшего в бою под Плевной, породило гнусные салонные толки о благоприятном впечатлении, вызванном этим прискорбным событием, и он коротко, как это делал все лето и осень, записал в дневник, что его все больше пугает общая моральная загрубелость. Через несколько дней, во время обеда в Царском у ее величества, Валуев из уст самой императрицы с ужасом услышал, что если бы не день тезоименитства государя 30 августа, то не было бы последнего штурма Плевны — той бойни, что началась невообразимым сочетанием молебна и ста одного боевого выстрела, а закончилась потерей почти двадцати тысяч человек. Он несколько дней не мог прийти в себя, жил как в лихорадке, ничего не записывал, считая, что и так не забудет, особенно того вполне достоверного слуха с плевенских позиций, будто вечером, когда первый приступ позорно не удался, государь обнаружил себя в невозможном виде,— потерянно сказав, что приходится отказаться от Плевны и признать всю кампанию неудавшейся! Якобы пораженный Милютин решительно возразил, уповая на подкрепления, но великий князь Николай Николаевич с горячностью подтвердил, что пока подкрепления нет, удержаться невозможно, и если Милютин думает иначе, то пусть принимает войска, а его, главнокомандующего, надобно отстранить от обязанностей. Одному богу известно, как там удалось военному министру, обессиленному приступами маля-

рии, справиться со столь нервически настроенными августейшими братьями...

Когда притупилась первая острая боль, Валуев смог вернуться к делам и сделал в дневнике большую, самую откровенную и важную в том году запись, возвращающую его к старым внутригосударственным тревогам.

«16 сентября.— ...Вижу ежедневно людей, которые толкуют о предстоящих опасностях, но сами как будто в них не верят. Аренды, участки земли в Оренбургском крае, чины, ордена и придворные звания играют в их устах прежнюю роль. Надолго ли, может быть,— выплачивание аренды, ценимость участков и значение званий?

Еще сегодня идя по Большой Морской, я испытывал чувство, которое теперь почти постоянно возбуждает во мне встреча с знакомыми и незнакомыми. Я смотрю на них и ставлю себе вопрос: что будет с вами, когда наступит то, чего я ожидаю? Перебираю в памяти, что происходило на моих глазах и как последовательно, старательно и упорно трудились подкопать государственное здание все те, кому должна была быть особенно желательна его прочность... Слово infatuation[1] сто раз в день приходит на мысль и просится на язык».

* * *

Михайловский уезжал из Петербурга в праздничную пору северной природы — стояли белые ночи. Их благостная тишь бесследно растворяла шумы большого города, неверный полусвет размывал его дневные краски, а душевное напряжение последних недель незаметно сменялось умиротворением, счастливым ощущением полноты и красоты жизни.

В поезде уже не вспоминались изнурительные экзамены, придирчивые профессора, чертежи, таблицы, толстые справочники; в глазах стояли эти колдовские белые ночи, словно таящие в себе какую-то неразрешимую загадку, зеленые острова, куда он съездил на прощание с институтскими друзьями, молодая поросль, как бы внезапно пробудившаяся, враз окинутая пахучим первородным листом, тихие белесые воды вокруг. И он с болью отрывал от себя все это, хотя втайне уже нетерпеливо жаждал поскорей увидеть милый край, который он, несмотря на то что родился

[1] Безумие *(франц.)*.

в том городе, откуда только что уехал, считал своей родиной,— просторные поля, белые хатки и церковки, колоннады стройных тополей вдоль шляхов, скрипучие журавли над криницами,— благодатную Малороссию, где уже горит ярое лето и так хороши ночи, темные, подсвеченные ясным месяцем, теплые, освеженные туманом от камышовой речки, тихие, оттененные мягко и нежно далекой песней...

Спустя многие годы, исколесив Россию вдоль и поперек, обогнув посуху и по воде шар земной, он поймет простую и великую истину: природа всюду прекрасна и жизнь ее красивее, чище, мудрее, законнее жизни людей. И, вспоминая в тяжкую для себя минуту из далекого далека эту поездку, напишет, что радость природы — это радость всех, но радость одного человека — всегда горе для других.

С каждым оборотом вагонного колеса он приближался к войне. Только почему-то не думалось о ней, представлялась она в туманной полурассветной дали. В бессоннице и сутолоке экзаменов услышал краем уха сообщение о том, что Россия объявила войну Турции, но у него было такое ощущение, будто означало это продолжение военных действий — газеты давно уже писали о славянских комитетах, создаваемых по всей России, о благородных русских добровольцах, которые насмерть сражались вместе с черногорцами и сербами против жестоких турок, о генерале Черняеве, командующем главными сербскими силами, и еще прошлой осенью, вернувшись из Одессы, он внес по студенческому подписному листу свои последние десять рублей на помощь братьям-славянам.

А в вагоне услышал разговоры, что румыны-де беспрепятственно пропускают русские войска через свои земли к Дунаю, но никаких сражений почему-то пока не открывается. Разговоры эти повторялись на все лады, и чем дальше он удалялся от Петербурга, тем больше думалось о том, что ждет его в ближайшем тылу русских армий.

Заштатный бессарабский городишко Бендеры, куда прибыл петербургский студент, знавал когда-то иные дни. Много веков назад первое здешнее поселение узрели вездесущие в те времена генуэзцы, построив на приметной возвышенности свою крепость, дабы умножить выгоды от союза булата и злата. На бендерском торжище искристые ме-

ха встречались с диковинными хрустальными кубками, тонкие и прохладные льняные полотна — с переливчатыми скользкими шелками, сладкие лесные меды в дубовых бочонках — с пахучими заморскими пряностями, хлеб и пенька — с вином и золотыми плодами италийских садов. Потом эти места захватили турки, и Бендеры сделались одним из их главных опорных пунктов на севере Оттоманской империи, тянувшейся тогда отсюда до самых Геркулесовых столбов. А на дальнем северо-востоке уже набирал силу новый гигант истории, неудержимо рвущийся к морям. Потоки русской и турецкой крови пролились по днестровским кручам, Бендеры трижды переходили из рук в руки, пока турки, устав, знать, от безнадежной борьбы, не сдали крепость без всякого сопротивления.

Нынешние Бендеры больше походили на село — тихие улочки, мазанки, садочки. Жителей почти не было видно, городок погрузился в сонную одурь, замер, и, казалось, вывести его из этого состояния могло лишь что-нибудь вроде пожара или землетрясения.

Крохотную гостиницу под тесовой крышей окружал сад с последним опадающим цветом. В коридорах стоял тошнотворный дух сапожной ваксы и табачного чада. Номера были забиты постояльцами, неумолчный гомон слышался из-за тонких переборок. По коридорам днем и ночью толпились штатские, военные и в меньшем числе те, кого студент сразу же отделил ото всех по их форменной — не гражданской и не армейской — одежде, причислил себя к ним, не зная еще, причислят ли они его к себе. Он поболтался по гостинице, малодушно не решаясь подступиться к ним, потому что они, безусловно, были заняты чрезмерно. Почти безвылазно сидели в номерах, крича друг на друга и щелкая счетами, не обедали, посылая только за чаем, а к ужину выходили в гостиничную харчевню с усталыми покрасневшими глазами, ничего не пили спиртного и, как назойливых мух, отгоняли штатских, пытавшихся их угостить шампанским. Владелец гостиницы ввиду невиданного расширения клиентуры нанял новых коридорных и половых, заменил мебель, скатерти и занавески, вынес в сад пристройку, в которой дотемна шумел нездешний люд.

Уже на другой день студент понял: здесь, в Бендерах, назревает необычное, и — умей он хоть что-нибудь делать по своей специальности — мог бы прикоснуться к живой истории России, помочь ее творить, а одновременно накопить столь необходимый ему багаж практических знаний.

А так кто его возьмет в этакую-то горячку, если он не сможет споспешествовать срочному и важному делу и будет только помехой-неумехой? К тому же он успел узнать, что все места давно тут заняты и рассчитывать совершенно не на что.

Два неизвестных имени слышались постоянно в коридорных и трактирных разглагольствованиях — Поляков и Данилов.

— Поляков-то рассчитывал на десять миллионов, а главнокомандующий сказал — пять, и никаких!

— Подписали?

— Да, вчера.

— Ну, Поляков найдет способ обойти не только Николая, но и самого императора Александра!

— А Данилов дал свое заключение?

— Да кто его спрашивал?

— Какой срок установлен?

— К двадцать седьмому октября.

— Считай, три месяца! От пустого-то нуля!

— Причем за каждый день просрочки Поляков платит неустойку в пять тысяч серебряных рублей.

— Ого!

— А что вы думали? Войско не может без подвозу.

— Если Данилов со своими орлами возьмется... Подайте, будьте любезны, карту...

У столика сгрудились люди, и студент вместе со всеми следил за пальцем хмельного стратега-интенданта.

— Итак, русские армии пока доблестно топчутся на этом берегу Дуная — мало сил, орудий, снарядов, и через Бессарабию нет надежной обеспеченности подкреплениями. Отсюда есть полотно до Бухареста, связанного сплошной железной дорогой и с Крайовой, Рущуком, Варной, за которыми — прошу обратить внимание — рукою подать до Никополя, Плевны, Софии, Систова, Тыркова, Бургаса, Адрианополя и до самого, господа, Константинополя. Выпьем за это, господа... Гарсон, шампанского! Да, господа, мы объявили войну и ждем, очевидно, родимой распутицы, будто она поможет нам, а не Осман-паше. И, будучи страсть каким сообразительным турком, спешно призывая резервистов, Осман-паша уповает на помощь не аллаха своего, а строит оборону, заменяет оружие новейшим европейским... На волах землю пахать удобно, а пушки да ядра, господа, пора возить железными дорогами... Кто скажет, где сейчас наши батареи?

— Ну и как, разрешите полюбопытствовать, дорога-то наша ляжет?

— Извольте... От этих распрекрасных Бендер прямиком до Галаца. Немногим более двухсот верст, но это уже Румыния, господа!

В тот же вечер студент попытался обратиться со своим делом к спецам, дружно вышедшим из номеров на ужин.

— Нет, нет, я этого вопроса не решаю,— равнодушно сказал один.

— Не до вас,— грубовато уточнил другой.— Вам к Данилову надо, а он второй день старательно себя и нас в гроб загоняет.

— Покажите мне его, пожалуйста.

— Он не выходит.— Инженер был мрачен, сонлив и, прежде чем сказать слово, с усилием поднимал голову и раскрывал подслеповатые глаза.— Он на одном чае сидит.

— Что же мне делать?

— Ума не приложу,— безнадежно проговорил инженер.— Подойдите ко мне завтра... Хотя ничего определенного пообещать не могу.

Студент почувствовал себя лишним, жалким и никчемным. Все здесь что-то умели, знали свое дело, и у каждого была какая-то цель. Вот военные, представляющие армию. Они были заказчиками, распорядителями кредитов, свысока смотрели на прочее население гостиницы. Обращались запросто с инженерами, в любое время входили к самому Данилову. Им была нужна дорога. Представив подробные карты, штабисты прежде всего пеклись о сроках, в мелочи не вмешивались. Армейским интендантам, безвылазно сидящим за столиками трактира, надо было, во-первых, выпить и закусить, во-вторых, помечтать о легкой наживе здесь, на срочной и беспорядочной военной стройке. За вечерней, обеденной или утренней офицерской чаркой они подолгу перебирали чины сослуживцев, поднявшихся наверх или опустившихся вниз, в подробностях обсуждали достоинства женщин разных наций и возрастов, говорили о проливах и Болгарии, но аппетитней всего о том, как бы поскорее, поаккуратнее ухватить тут свои тыщи да к семьям, в далекие именьишки, разоренные долгами, закладами и вконец обленившимся пореформенным мужичком. Откровенно завидовали вертким поставщикам и подрядчикам, которые решительно и развязно брали в свои руки контакты между штабными, тыловиками, спецами и местной рабочей силой. Спустя много лет вспомнятся они, эти

бендерские дельцы,— молодые, энергичные, со жгучим взглядом людей, идущих не сомневаясь к своей цели. У них-то в руках уже наличествовали исходные деньги, которые должны были из-за особой спешности предстоящего дела непременно умножаться на выгодных поставках и подрядах, чтобы потом с еще большей прибылью обернуться в каком-нибудь новом предприятии. А туже всех, безусловно, набьет себе карман Поляков — кумир всех этих алчущих людей, главный подрядчик, хорошо знакомый самому главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу, удачливый, оборотистый и знаменитый миллионщик и прочая и прочая, делец из дельцов. Однажды он появился у гостиницы. Не спускаясь с коляски, попросил пригласить Данилова, однако тот не вышел почему-то, и в воздухе запахло скандалом. Перекатывая в золотых зубах толстую сигару и ни на кого не глядя, Поляков что-то с минуту выговаривал своим подручным, подобострастно толпившимся вокруг, и тут же укатил.

А интенданты, поставщики, подрядчики на глазах у всех опутывались одной гнилой веревочкой. Никто из них не сомневался, что здесь можно без особого труда нажить хорошие деньги — надо только действовать с умом и не упускать своего, какой бы случай ни представился. Как-то за столиком, нимало не стесняясь постороннего и неизвестного ему человека, пожилой пьяный офицер предложил подрядчику списать двести волов, будто бы павших от заразы при подвозе грунта, а кредитные деньги на фиктивную покупку новых поделить. Под эту грязную аферу он выложил форменные квитанции со своей подписью и побожился, что никакой залетной инспекционный комар тут носа не подточит — от Бендер до самого Дуная валяются вдоль дорог дохлые быки.

Неужели все тут изготовились воровать и хапать? В такое-то время и на прокладке такой дороги! Нет, как бы ни сложилась его инженерная служба, он никогда и ни при каких обстоятельствах не пойдет на обман и преступление. Если б он чудом оказался сейчас у дела, какой тут счастливый случай выпадал! За три месяца можно пройти все стадии дела — изыскания, проектирование, строительство, а потом можно было приехать сюда на эксплуатацию, чтобы в знакомых условиях создать образцовую железнодорожную дистанцию. Он бы показал, как надо трудиться!

Мрачноватый инженер, с которым он говорил вчера, сообщил наконец что-то внушающее зыбкую надежду:

— Данилов примет вас на минуту. Знаете его номер?

— Да!

Главный инженер стройки, человек внушительной комплекции, флегматичный с виду, но умеющий, видно, ценить свое и чужое время, сразу же раскусил посетителя.

— Вообще-то вы трудились когда-нибудь?

— На паровозе кочегаром практиковался.

— Это уже кое-что... Что за уголь жгли?

— Ньюкестль и кардиффские брикеты.

Подробнее бы рассказать, какой это был ад, но Данилову и так было все ясно. Он только уточнил:

— Вдвоем?

— Да, без помощника.

Беспощадными и быстрыми вопросами главный инженер выяснил, что студент чаще заказывал курсовые проекты за деньги, чем проектировал и чертил сам, что на изысканиях и постройке никогда не бывал и не способен рассчитать самого простого моста, что не умеет как следует пользоваться ни гониометром, ни теодолитом и знает обо всем этом приблизительно, по учебникам.

— Что же мне с вами делать?

— Кого шлют! Кого шлют! — желчно приговаривал другой инженер, худой и усатый, ползая по большой карте, развернутой на полу.— Слепых щенят... И хорошо еще, что иногда честные среди них попадаются — сознаются в своем полном незнании дела...

— Собственно, как вы у нас оказались? — полюбопытствовал Данилов.— Вашего брата я пока тут не встречал...

— А я сам добился, чтоб меня сюда послали. Туда, где потрудней и погорячей, просился.

— Ну, этого-то у нас хоть отбавляй,— скупо улыбнулся Данилов.— Ну хорошо, завтра в поле. Начинаем!

— Ия согласен на любую работу,— заторопился студент, заливаясь краской стыда и унижения.— Я оправдаю доверие, вы увидите...

Должно быть, из жалости его определили практикантом в изыскательскую партию с тридцатипятирублевым месячным жалованьем и казенным кормом, хотя даже рабочие нанимались рейки таскать за лучшее жалованье. Студент был безмерно счастлив, что его взяли. Ему лишь бы начала освоить, а уж там-то он покажет, на что способен!

Возбужденный, забежал к себе, черкнул несколько слов домой. Коротко сообщил, что завтра на рассвете отправляется в поле с изыскательской партией. Ему не хотелось, чтоб мать узнала о его полной неподготовленности к делу, и с трудом удержался, чтоб не написать обо всем, что узнал и увидел здесь за эти несколько дней. С некоторых пор он стал подавлять в себе нестерпимое желание делиться с кем-нибудь своими волнениями и переживаниями, все углубляющимся непониманием этой жизни, каким-то болезненным неприятием в ней злого и юношескими надеждами на доброе.

За ужином к его столику подсел какой-то прыткий человечек. Он был очень молод, худ, мал ростом и, должно быть, ввиду этих обстоятельств сидел как-то странно — прямил спину, выпячивал грудь, победоносно озирался и время от времени, пыжась, бил себя локтями в бока. Расторопный половой вмиг накрыл перед ним стол винами и закусками. Приглядываясь к студенту ищущими глазами, прыткий человечек спросил:

— Уважаемый визави желает угоститься тонким вином? Прошу пана.

— Благодарю вас,— отказался Михайловский.— Мне вставать в пять утра.

— Я знаю, вы пока неопытный инженер, но мне бы ваш диплом.

Михайловский промолчал, осторожно отставив налитую незнакомцем рюмку на высокой хрупкой ножке.

— Понимаю! — одобрил человечек.— Только дураки пьют, когда говорят о деле. А умному инженеру здесь можно сделать добрый гешефт.

Михайловскому захотелось уйти, но липучий взгляд почему-то удержал его на месте.

— И благородно все будет, как между умными людьми.— Чернявый тоже отставил рюмку, поцыкал зубом.— Приступим... Я взял подряд на первый участок, а наш главный хозяин имеет мно-о-го возможностей отблагодарить честную работу инженеров. Вы с начальником партии близки?

— Нет,— нетерпеливо шевельнулся студент.—Да в чем, собственно, дело?!

— Вы заинтересовались! — обрадовался собеседник.— И я окончательно уверился, что имею разговор с умным и благородным человеком.

Он принялся длинно, с недомолвками и полунамеками,

объяснять, что дикий кустарник помешает вести дорогу, его надо незамедлительно вырубить, и эта работа будет учтена и оплачена казной, потому что, прошу пана понять, кустов вроде бы много, хотя их нет совсем.

— Не понимаю, какие кусты?

— Те, что за Бендерами, по-над берегом.

— Тут виноградники да поля кругом! Откуда кустарник?

— Так его турки вырубили и сожгли еще сто лет назад! — захихикал незнакомец и продолжил туманно втолковывать, что перешепнулся с кем-то из интендантов и от начальника партии теперь зависит поиметь интерес на молдаванах, которые еще не наняты и никогда не будут наняты, но нельзя, чтоб деньги на оплату их, так сказать, работы пропадали зря.

— Как вы смеете! — вскипел студент. Он поднялся, наблюдая, как приторно-любезная улыбка начинающего дельца странным образом превращается в снисходительно-наглую ухмылку.

— Жизнь вас будет толочь в ступе, коллега.

— Ничего, я ее тоже... К о л - л е - г а...— едва сдерживаясь, возразил студент.

Какая, однако, мерзость! — думал он, выскакивая на улицу. И этакая мерзость на строительстве самой важной для России дороги! И почему с таким гнусным предложением обратились именно к нему! Причем сделано это было с полной уверенностью в успехе. Неужели в нем есть нечто такое, что позволяло грязному и мелкому дельцу увидеть в нем потенциального компаньона?

Он порывисто шел по теплой, мягкой пыли, пока не очнулся на крутом берегу Днестра. Под ним горели редкие огоньки в дачах богатых бендерских торговцев. Было тихо, как в деревне, только едва слышно струилась внизу невидимая река. А за нею, в сумеречной дали, девичьи голоса вили затейливую молдаванскую мелодию и страдала под смычком тонкая жилка.

Ах, как все же хорошо, что он теперь при деле! Завтра он покинет эту гнусную гостиницу и алчущий сброд, забудет здешние мелкие страсти и мерзкие намерения.

Одно остается от человека — дело его. Пройдут годы. Все в округе переменится, как переменилось не раз со времен генуэзцев. Война эта закончится, уйдут в небытие другие войны, воры-интенданты исчезнут, и сгинут эти хапуги-дельцы, он сам умрет. Только железная дорога навеч-

но проляжет здесь, соединит в помощь морю низовья Днестра и Дуная. И людям, что будут пользоваться ею через века, должно, станет некогда и неинтересно узнавать мелкие подробности прошлого — они все, наверное, сделаются честными тружениками, живущими без обмана и прочих мерзостей, самозабвенно, щедро оставляющими после себя плоды трудов своих, дело свое...

Гостиница просыпалась рано. Обычно он, большой любитель поспать, долго еще валялся, накрыв голову подушкой, чтоб не слышать громких голосов и топота сапог в коридоре. А сегодня встрепанно вскочил, проснувшись от первого дверного скрипа. В поле! Замечательно, чудесно, прекрасно! Скорей! А солнце-то! В средине лета оно встает прежде всех и, несмотря на столь ранний час, уже полыхает над прохладным Днестром, быстро катит в выси, раскаляя не остывшую со вчерашнего землю.

На небольшой площади перед гостиницей уже собрались заспанные, одетые как ни попадя инженеры и рабочие, на просторной молдаванской к а р у ц е, запряженной двумя волами, лежали крепкие колья свежей рубки, тонкие белые палочки с железными коваными наконечниками, полосатые рейки, какие-то потрепанные чехлы, должно быть с оптическими инструментами, топоры, лопаты, веревки, длинная легкая лестница. Возница-гагауз спал прямо на земле, под мордами волов, выставив густющую иссиня-черную бороду. Рабочие толпились в сторонке, курили трубки и кашляли.

— Почему не начинаем? — нетерпеливо спросил студент, приглядываясь к маленькому, подвижному инженеру с чернявым лицом, в котором улавливалось что-то странно знакомое.

— Сейчас Данилов планы вынесет, и начнем... А вы?.. Мы, кажется, с вами...

— Осинский! — удивился студент.— Вы — инженер?!

— Как видите.

Валериана Осинского он не встречал десять лет. И никак не мог предположить, что увидит его в такой роли и даже узнает. Вертлявого, неприятного своим лукавством и вызывающим поведением молдаванского мальчишку выгнали еще из шестого класса Ришельевской гимназии, и он куда-то бесследно исчез из Одессы. Неприятно вспомнились его появление в классе и отвратительный, не забытый до сего дня поступок новичка. Дети обступили его

тогда, разглядывая помятую форму, жесткий ершик черных как смоль волос, неспокойные ручонки в чернилах. А он, обведя гимназистов своими хитрыми глазенками, поймал на окне муху, сунул вдруг ее в рот, пожевал и с аппетитом проглотил. В четвертом классе мальчишка осиротел — отца его повесили за убийство жандарма, мать в тот же день отравилась. Надо сказать, Осинский не по-детски мужественно перенес это испытание. Гимназические учителя достали ему уроки, чтоб он мог зарабатывать на жизнь. А учился он легко, все схватывал на лету, и ему доставляло видимое удовольствие первым решить трудную задачку или ответить на вопрос, которого никто в классе не знал. Он хромал только по русской словесности, ничего модного не читал и явно скучал во время жарких споров о Писареве и Шелгунове, которыми бредили в те годы по всей России гимназисты, считавшимися самыми умными и передовыми. А исключили Осинского потому, что он решительно, исходя из какого-то своего малопонятного принципа, отказался учить латинский язык. И удивительно было, что этот человек все-таки переборол судьбу, состоял сейчас при деле, очевидно освоив его, иначе не попал бы на такую чрезвычайную стройку.

— Где же вы учились?

— За границей. У меня тогда нашелся богатый дядюшка, который помог мне обойтись без зубрежки всякой мертвечины. Помните?

— Как же... Вас зовут, если не забыл, Валериан...

— Да. Андреевич. А вы, очевидно, в нашем деле пока ни уха ни рыла? — догадался Осинский, мелко захихикав, и принялся ругать русских путейцев, студентов и молодых инженеров, которые сплошь оболтусы и лентяи, но их дипломы по какому-то идиотскому распорядку дают им право занять должности, недоступные специалисту с заграничным образованием. Вот он уже строил две дороги, был начальником дистанции, но это потолок для него, высшая ступень карьеры. И начальнику партии, этому усатому желчному инженеру, что ползал вчера с Даниловым по карте, тоже, по словам Осинского, не светит будущее — нет русского диплома.

— Он, гляньте-ка, вместе со своей партией поднялся в четыре утра, чего от ваших цац не дождешься...

— А Данилов?

— Этот русской выучки, но ему цены нет... Он, должно быть, один такой на всю Россию...

— Ну, кажется, карты несут. Начнем, благословясь!

Расчехлили теодолит — бронзовую трубу на трех тонких ножках — и начали почему-то с крыши гостиницы. Сняли с телеги лестницу, поколдовали у трубы, спустились. Потом трассу повели вдоль длинной улицы, хорошо выровненной при давней застройке. Так вот он — исток дороги, начальный ее пунктир! Все просто и буднично, как начало всякого истинно большого дела. С помощью инструмента и белых вешек отыскивалась идеальная прямая. Начальник партии гнулся у трубы теодолита, отмахивал в сторону то одной, то другой рукой, а десятник пятился от него, держа вешку между полусогнутых ног, потому что эту коротенькую белую палочку надо было вести у самой земли.

— Стой!

Подчиняясь движениям рук, десятник ступает то вправо, то влево и замирает, когда зрачок инструмента находит наконец точное положение вешки.

— Ставь!

Зажав кулаки с палочкой меж колен, десятник припадает на ее торец, и железный штырь погружается в землю.

— Пошел!

Намечают еще одну точку, за ней третью, дополнительно сверив ее положение по первым двум вешкам.

Вот она какая, первая точка, с которой начинается дорога! Студент благоговейно обходит вокруг нее, ощущая в себе что-то незнакомое, большое и возвышенное, он так и не понял тогда, что это было робким зарождением надежд на свершения, которые непременно свяжут его с делом, людьми, с живой жизнью и будущим, тайным осознанием начала новой, с в о е й дороги.

А что это Осинский делает под теодолитом? Ясно — свинцовый грузик на шпагате показывает центральную точку треножника.

— Кол! — кричит начальник партии.

Здоровенный рабочий берет с телеги ровный, остро затесанный дрючок, подает его инженеру. На свежей затесей появляется надпись, означающая направление на юго-восток в градусах. Начальник партии выверяет кол по вешкам и наживляет его, воткнув белое острие в сухую твердую землю.

— Давай!

Тот же рабочий с усилием всаживает кол в плотную дернину, вытаскивает, льет в ямку воду из ведерка и,

рыкнув на всю улицу, посылает толстый дрючок вниз, потом раскачивает его, мотаясь подле всем своим большим телом, снова тычет этим карандашом землю, извлекает, опять плещет водой. Наконец, высоко подняв могучие руки, он совсем по-звериному взревывает и в последний раз бросает кол в глубокую уже ямку. Пропитанная водой земля с хлюпом расступается, брызжет грязь.

— Бе-ей! — азартно кричит Осинский.

Обухом тяжелой кувалды рабочий добивает кол, который уже не идет, инженеры пробуют его пошатать, однако сел он хорошо, мертво.

— Начинайте пикетаж,— спокойно произносит начальник партии.

Осинский достает из чехла нивелир. По указке техника цыган сбрасывает с телеги колья, длинные и короткие, назначения которых практикант еще не знает. И что ему-то здесь делать?

— А вы будете разбивать первую кривую,— говорит Осинский.

Кривую? Но где она ляжет на трассе и как ее разбивать? Конечно, он что-то смутно помнит из учебников и даже чертил профессору грифельной палочкой на большой аспидной доске какую-то кривую, знает, что при полевом трассировании потребны инструменты и помощники, но как ими распорядиться, как найти по лимбу азимутальные и румбические углы, исчислить все эти биссектрисы и длины, определить точки сопряжения, как прологарифмировать множество данных? Ничего-то он не умел и не знал!

Почему, например, Осинский — видно, уже достаточно опытный инженер — делает продольную нивелировку не один, а с техником-дублером, который, кажется, независимо от него работает на другом нивелире? А иначе, оказывается, нельзя, охотно объясняет Валериан Андреевич Осинский, потому что в изыскательском деле всякую мелочь следует перепроверять и пересчитывать. Ошибка в исходном отсчете начнет сцепляться с другими, влиять на них и полностью исказит магистральный ход. Был случай. Некий инженер занизил отметку на сажень при нивелировке трассы в долине. Когда же работы подошли к руководящему подъему, обнаружилось их неизбежное удорожание на два миллиона рублей против расценочной ведомости! Инженер пустил себе пулю в лоб. И поэтому-то Данилов учит своих орлов быть предельно честными, скрупулезно точными, добросовестными и бесконечно трудолюбивыми.

Как он сам. По словам Осинского, выходило, однако, что дело не в абстрактной точности и четкости, а исключительно в выгодной продаже этих качеств хозяину: если ты ему найдешь самый дешевый в постройке, максимально приближенный к идеалу вариант, заплатит тебе не скупясь, потому что сам-то он, эксплуатируя инженеров, их так называемую совесть, знания, вынужденную обстоятельствами любовь к труду, хапнет с акционеров или казны в тысячу раз больше.

— Но главное все же,— засомневался практикант,— это, наверное, то, что дешевая дорога быстрее окупится, за долгие годы работы умножит затраченный капитал и обогатит страну.

— А вот на это мне плевать! — цинично усмехнулся Осинский.— Идеалы — это пустой звук, больше ничего! Оплатите мне мою инженерную честность — вот все идеалы.

— Да вы рассуждаете...

— И вы к этому непременно придете!

— Уверен, что нет!

Нет, он-то никогда не станет продавать свой труд ради голой денежной мзды. Опуститься до положения дельца — значит принять в качестве главного жизненного принципа эгоистическую выгоду — деньги любой ценой. Вот Осинский говорит, что получил с двух дорог двадцать тысяч, держит их в банке на процентах, а после этой стройки бросает инженерное дело и уходит в подрядчики. Нет, у истинных инженеров своя, прямая миссия. Оглянись вокруг с любой точки России, и ты увидишь необозримое и невозделанное поле деятельности для образованного человека.

— Для образованного человека в России,— горячо начал Михайловский,— который...

— Извините,— прервал его Валериан Андреевич, собрав лицо в брезгливую гримасу.— Такие разговоры — это не дело... Мне нужно первый репер метить... А до вашей кривой — еще далеко, поэтому освоить советую пикетаж.

Он бросил на плечо треногу нивелира, сдвинул на затылок шляпу, пошел по трассе дальше.

Оказывается, что с трассой еще столько хлопот! Всю ее надо тщательно, не упуская и полдюйма, промерить металлической лентой, разбить на пикеты. Короткие крепкие колышки хорошо шли в землю от кузнечной кувалды. Только она была тяжеловата, и рабочие на забивке пикетов время от времени менялись. Рядом с пикетами

были колья потоньше — сторожки. Кувалду приходилось поднимать высоко, мах ее укорачивался, и руки быстро немели.

— Будет, будет! — сказал техник.— Впереди большой день. Пикетажный журнал умеете вести?

— Нет,— сознался студент, передавая кувалду рабочему.

— Смотрите.

Техник метил сторожки цифрами, переносил номера в пикетажную книжку, озирался по сторонам и вычерчивал карандашом какие-то кривулины, что-то писал.

Бендерские домишки и хатки кончились, линия вышла в поле. В спину било высокое уже солнце, стало жарко, сухо, и захотелось пить. Рабочий принес жбан воды из последнего встреченного колодца, и все пили по полной глиняной плошке. Вода была свежей и такой холодной, что ломило зубы.

— Вам не советовал бы,— сказал техник.

— Почему?

— Вода силу отбирает, а нашему брату нужна лошадиная выносливость.

— Но рабочие-то пьют!

— Они с похмелья, после аванса. Без воды совсем скоро скиснут.

Пологими покатостями уходила вдаль земля. Рельеф был сглажен виноградниками. Они скрывали изыскателей, продвинувшихся с трассой далеко вперед, и даже волов не было видно. Студент внимательно смотрел, как техник набрасывает в пикетажную книжку изгибы рельефа, особо отмечая места переломов. В эти приметные точки глубоко забивали «плюсовые» колья и такие же, как у пикетов, пронумерованные сторожки.

— До вашей кривой еще с полверсты,— устало сказал техник, передавая пикетажную книжку.— Попробуйте? А я понаблюдаю.

Итак, первый в жизни самостоятельный пикетаж трассы! Надо сделать его безупречно, дело-то довольно простое. Закончили, кажется, восемнадцатый пикет. Да, восемнадцатый. Переносим линию на следующую страницу.

— Прошу вас, господа, натяните, пожалуйста, потуже ленту!— волнуясь, закричал он рабочим.

— Не так,— устало поправил техник, худой, изнуренный человек неопределенно-пожилого возраста.— Для экономии времени надо кричать просто: «Тяни!»

— Хорошо... Тяни!

Мерная лента несколько раз прикладывалась к земле, рабочие уже успели освоиться и делали все быстро, аккуратно, только в одном месте лента заплелась на комьях земли.

— Лента! — И передний рабочий побежал назад.

— Молодец,— одобрил техник.

— Тяни!

— Стой!

— Бей!

Забили девятнадцатый пикет и его сторожок. Надпись «ПК 19» перешла в журнал.

Ага, здесь низинка обозначается все заметней, и надо просто с предыдущего листка продолжить ее расширяющиеся очертания. Потом он увидел впереди и слева язык небольшого овражка, который как будто должен войти в околодорожную ситуацию на самом краешке пикетажного листка.

— Тяни!

Какая-то проселочная дорога пересекла магистральный ход. Изобразим. Только вот чертить он так и не научился, больше нанимал, несчастный лентяй. Поаккуратней, не торопиться! И писать ровными шрифтовыми буковками не умеет, цифры пляшут, тем более что на ходу все приходится делать.

— Тяни!

А напротив овражного языка на трассе явный перелом поверхности, да еще, кажется, двойной. Здесь первая точка.

— Плюс!.. Бей!

Сразу же за второй, слабо выраженной точкой перелома забили двадцатый пикет, пошли дальше. Техник склонил свое усталое, желтое лицо над пикетажной книжкой, одобрительно хмыкнул:

— Сравнительно ничего.., А скорость придет.

— Неужели нужно еще быстрей делать? — удивился практикант.

— Вдвое... Ну, вы продолжайте, а я сбегаю на контроль.

— На какой контроль?

— За нами идет контрольный промер.

— Вон оно что! Надо держать ухо востро.

— Еще бы. А чему вы улыбаетесь?

Его распирала радость, что он как-то сразу понял тут все и уже самостоятельно — с полчаса, пожалуй,— ведет

дело, что рабочие охотно и даже вроде бы механистично подчиняются его командам, что техник сейчас уйдет, а он один, полностью отвечая за пикетаж, добудет данные для окончательного выбора магистрального хода, и как это замечательно, что контроль, идя следом, убедится в его точности и честности! Забылось о жаре нестерпимой, о сухости во рту, о том, что ноги горят и противно киснут в тяжелых ботинках из сыромятной кожи, совсем не вспоминались отсюда Петербург, Одесса, и даже Бендеры с их неприятным людом словно отдалились не на сотни сажен, а на тысячи верст...

Неужели он все же нашел свою дорогу? Когда-то мечтал стать юристом. Год проучился в университете и позорно срезался на экзамене в конце первого курса. Институт путей сообщения не завлек по-настоящему, ученье шло через пень колоду, без страсти, какую он с удивлением замечал в некоторых однокашниках. Оставался еще один курс, последний, и надо будет наверстывать, потому что инженерное это дело выходит необыкновенно завлекательное, сложное, и в нем можно не только найти себя, но и подняться над собой, увидев с этой высоты большие дороги.

Первую кривую помог ему разбить Осинский, в самом начале посоветовав забыть все, чему учили в институте,— так усложненно и долго сейчас уже никто не работает в поле, а новые методы, когда их освоишь практически, покажутся совсем простым ремеслом, чем-то вроде шитья сапог. Осинский заставил сверить буссолью румбические углы, записать их в корнетик по порядку, научил, как по таблицам Кренке без изнурительных математических подсчетов найти тангенсы, биссектрисы, длины кривой, как перевести исходный радиус на искомый, двухсотсаженный. Следующую кривую он разбил сам. Осинский проверил и сказал, что бросает практиканта, из-за него поотстала нивелировка, впереди там много кривых, что как бы их разбивка не задержала прокладку хода, и надо всем спешить, чтоб до вечера окончательно пройти хотя бы десяток верст, иначе Данилов просто не поймет изыскателей, назовет курами, сам примчит на трассу, и тогда уж держись — загоняет.

Подошла пароконная подвода с кольями, водой, какими-то узелками и сумками. Наступило время обеда, но рабочие все же поддались на уговоры: закряхтели, подымаясь,

но согласились разбить еще одну кривую, безропотно понесли по трассе колья, топоры, цепь, гониометр, экер. Эта кривая очень большого радиуса вводила дорогу в просторную долину. Вокруг сплетались, млели в знойном воздухе виноградные кусты. Их начали безжалостно рубить, давить сапогами зеленые, тяжелеющие с каждым днем гроздья. Появилась группа молдаван. На эти черные лица и дрожащие руки их было трудно смотреть. Со слезами на глазах и какой-то отрешенностью молдаване наблюдали, как уничтожается драгоценная лоза и губится земля, перешедшая от дедов и отцов, тысячу раз политая потом. Робко подходили, кланялись, униженно просили господина русского инженера пожалеть их детей и провести дорогу хотя бы вот там, пониже, по баштанам да кукурузе...

Приехал верхом на лошади вчерашний знакомец. Подрядчик потрюхал по виноградным кустам кругами, покатость взял прямиком, продрался к трассе, взялся считать вместе с молдаванами срубленную лозу. Видеть его не хотелось, но вот он приблизился. У него было два лица — высокомерно и недовольно хмурился, взглядывая на молдаван, и заискивающе улыбался, поворачиваясь к изыскателям. Не слезая с седла, сказал вкрадчиво:

— Мы, прошу пана, вчерашний разговор не закончили?

— Закончили,— произнес практикант голосом, готовым сорваться на крик, и подрядчик тронул коня.

Михайловский уже завершал разбивку кривой, когда на пятки насели пикетажисты и нивелировщики.

Осинский, кося злые глаза через плечо, запинался о плети срубленного виноградника, оглядывал простор нетронутых посадок, уходящих, как зеленые волны, в гору, и тихо бормотал:

— Вот тварь! Ну и тварь!

Мельком взглянул на колышки, что белым пунктиром уходили в бахчи, где плавная дуга трассы незаметно переходной кривой сопрягалась с прямым участком. Сели перекусить, и Осинскому с пикетажистом пришлось принять практиканта на свой харч, потому что тот как-то не подумал с утра, чем будет питаться в поле.

— Вот тварь! — Осинский разливал ракию по крохотным рюмочкам и продолжал бормотать: «Ну и тварь!»

— Да кого это вы так? — спросил техник.

— Подрядчик тут объявился,— ответил Осинский, и у практиканта отлегло от сердца.

— Что он?

— Редкий даже по нынешним временам подлец.— Осинский хлопнул себя локтями по бокам, выпятил грудь, скорчил умильную рожу и сделался до смешного похожим на юного подрядчика. Он даже заговорил его вкрадчивым голосом: — «Время военное, пан понимает, и законы военные. По договору великого князя Николая Николаевича с великим строителем Поляковым, мы тут полные хозяева. Что надо, то и берем именем державы. Пан понимает? Любую землю отчуждаем, любой дом рушим. Где под полотно, где под добычу грунта, где под гужевые дороги. И не только тут, но даже в Румынии, под Галацем. С хорошей казенной оплатой, пан понимает, серебряным рублем! И тут очень просто поиметь на молдаванах, пан понимает». Да вы ешьте, ешьте!

— Удивительно похоже! — восхитился практикант.— Но что он имеет в виду?

Осинский, передразнивая недавнего собеседника позой, жестами и голосом, продолжал:

— «Очень просто им подтвердить, пан понимает, что этот виноградник по склону попадает в полосу отчуждения».

— Так он же не попадает! — воскликнул техник.

— «Они этого не знают, а мы с паном можем знать. Как обходит виноградники своей кривой, отворачивает дорогу в долину, а они нам с паном за это платят. Все на словах, пан понимает, никаких следов».

— Вот мерзавец! — вырвалось у практиканта.— Вчера он мне тоже предлагал гешефт, только несколько иной. Я едва его не ударил...

— Эх, надо бы! — подосадовал Осинский, разливая всем по рюмке ракии.

— А вы что ему ответили?

— Я человек, хе-хе, обходительный. Сказал ему только, что пан не понимает и понимать не желает... Видите ли,— Осинский чуть захмелел и сказал просто, без всякой позы: — Я инженер, и хочу продать свой труд сколько можно дороже, но наживаться на подлом обмане людей?! На это я пока не способен... Жаль только, что сей начинающий хищник, когда мы уйдем дальше по трассе, все равно молдаван обдерет.

— Каким образом?

— Каким захочет. Если они ему не заплатят, начнет на этих виноградниках шпалы складировать или грабарскую

коновязь устроит. Заплатят... Нет, когда я возьму подряд, то поведу дело так, чтоб невзначай не получить по физиономии.— Он иронически взглянул на практиканта,— Но и себя, извините, обмануть никому не позволю!..

Он вдруг неуловимо быстрым движением поймал в горсть муху, ползущую по свежему огурцу, и практиканта внезапно затошнило от вонючего напитка и воспоминания пятнадцатилетней давности.

— А помните,— сказал Осинский, растягиваясь в тени виноградного куста и прикрыв лицо шляпой,— как я тогда муху поймал?

— Да что-то было...

— И вы все, конечно, подумали, что я ее проглотил? Ну сознайтесь! Вот идиоты, вот идиоты — они так и подумали! А ведь я ее выпустил незаметно. Мне было тогда приятно вас шокировать и сознавать, что вы идиоты. Я вас всех так ненавидел — маменькиных сынков, ваших бонн... чистюль сестричек...— Он смежил веки и уже невнятно растягивал слова: — Известно, что из вас потом получается... Дерьмо...

Коробили все эти ругательные словечки и полупрезрительное пренебрежение, с каким они произносились, только он был прав...

Спал Осинский не более четверти часа. Мухи ползали по его потной шее, покрытой редким черным волосом, но он их не слышал, как мертвец. Но вот открыл трезвые глаза, подпрыгнул мячиком:

— Пошли!

Пошли. До темноты исполнили назначенный себе урок, поужинали и переночевали в попутном селе.

Назавтра, послезавтра и на две последующие недели было то же, с чего все началось: свирепое солнце, перехватывающая горло пыль, нестерпимая жажда, смертельная усталость к вечеру, мимолетные знакомства и разговоры.

Встретился древний старик, что помнил еще турок и потемкинских солдат с косицами, посыпанными белой мукой. В молодости он чумаковал и сетовал на теперешнюю дороговизну — соль-де была два карбованца воз, а нынче за полтыщи не укупишь. Дед брезгливо отказался от двугривенного, что предлагали ему за сорванные с хозяйского баштана огурцы, охотно, однако, угостившись водочкой, и потом долго думалось о том, какой простой, неиспор-

ченный народ жил на этой земле и как, в сущности, все это недавно было — чумаки и гайдамаки, Екатерина и Суворов.

Это знакомство состоялось по случаю. Рабочие в партию собрались весьма разные: местные и пришлые, из дальних губерний, прилежные и не слишком, болтуны и молчуны, горькие пьяницы и распорядительные трезвенники, умные, с изрядным подмесом неповторимой мужицкой хитрецы, которые сами находили работу близ инженеров — у инструментов, ленты, цепей, вешек,— и бестолковые, тупые, как пни, забиватели кольев. Всем им, как и себе, нельзя было давать передыху, чтоб не расслабиться, не приостановить стремительного продвижения к Дунаю, где по сю сторону его стояли, все еще бездействуя, русские армии. Рабочие поначалу лишь покряхтывали, спеша разметить рассчитанные кривые и почти бегом догоняя инструментальное изыскание, потом взялись роптать час от часу громче да назойливей, и пришлось пообещать им на каждый день по двугривенному от себя. Остались довольны, однако не совсем, по их намекам, подхохатываниям и подмигиваниям стало понятно, что они жаждут не воды, ясное дело, а совсем иной жидкости.

Он сказал — жара, господа, невозможная, но его вразумили — вот тут-то ее и пить!

Оглядывая пустые на все концы баштаны, он усомнился, что можно здесь добыть проклятого зелья, однако рабочие с восторгом заверили его — спроворим, были б добывалки! Он дал им «добывалок», и парень, что помоложе, мигом исчез в кукурузе. И вот невесть откуда появились и водка, и огурцы вприклад к ней, и рабочие выпили, весело заверяя, что за такое уважение они живой ногой отпляшут ему все эти «танцы без сестриц». Он жевал в сторонке прохладный огурец, тоскливо думая о том, что работа сейчас пойдет насмарку, на безнадежное отставание и что еще за танцы они имеют в виду, без каких сестриц? Да еще живой ногой...

Когда же рабочие дружно поднялись, расхватали инструмент да взялись, обнаружилось, что всех их как-то подравняло — они рвали друг у друга работу, и она словно пожирала их. И уже приноровился,— к нему пришла желанная скорость, легкость и точность,— перед расчетом очередной кривой он мысленно отбивал на местности биссектрису, прикидывал тангенс, и плавное закругление трассы странным образом отпечатывалось в мозгу предваритель-

ным контуром, который, к его собственному удивлению, почти совпадал потом с инструментальной прикидкой и расчетными итогами.

— Бей!

Входящий угол, тангенс, биссектриса, гониометр, цепи, таблицы, крепка, экер. Очень изящная кривая получается!

— Бей!

Биссектриса, тангенс... Сзади слышались торопливые глухие удары — доколачивались колья на предыдущей кривой. Рабочих не было видно, только кувалды в круговом замахе взлетали над высокой кукурузой, какие-то невнятные выкрики слышались в лад ударам, ругань, что ли? Тангенс, биссектриса... Так вот что такое «танец без сестриц»! Этак пересобачить слова и приспособить их к месту может, наверно, только русский мужик! А эта кривая выходит совсем отлогой, с радиусом больше тысячи сажен. Хорошо.

— Бей!

Один сноровистый рабочий, этакий расторопный хлопотун, быстро приспособился к делу и уже самостоятельно разбивал половину рассчитанной кривой, когда голова маленького изыскательского отряда спешно уходила дальше по трассе.

Совсем войдя в роль заместителя начальника группы, он зорко щурился в цель экера и грубо, по-фельдфебельски, орал:

— Право! Лево! Бей!

О том, что русское войско перешло наконец Дунай, изыскатели узнали по разговорам молдаван и оживлению вдоль трассы. Она обходила все местные дороги, а где-то в стороне тянулись большаки и высоко над ними подымалась, замутняя даже полуденное солнце, густая пыль — к Дунаю тянулись подкрепления. По тридцать верст в день делала на маршах пехота, до крови сбивая ноги тяжелыми солдатскими сапогами, будто в непроглядном дыму шла сквозь пыль кавалерия, обгоняя прочих обочинами, садами и полями, тяжелые артиллерийские лошади, кашляя, тянули днем и ночью батареи, медленно, бесконечными воловьими обозами двигался боевой припас и продовольствие. Несколько раз проехал мимо Поляков со свитой. Данилов лазил по окрестностям в сопровождении военных. Они

бросали коляски в селах или посреди полей, пересаживались в седла, надолго ныряли в кукурузные заросли, а трасса, следуя этим вояжам, все больше отклонялась от изначального направления, забирала на запад, даже будто бы на северо-запад вдоль просторной долины реки Батны. Магистральный ход чудовищно удлинился, огибая вершины многочисленных рек и речек, берегов и балок, режущих местность на юго-востоке. По этой местности до Галаца было бы прямей и ближе — слишком уж возрастали объемы земляных и мостовых работ, а срок сдачи дороги становился совершенно нереальным.

Растянет Поляков строительство хотя бы на полгода, он заплатит полмиллиона рублей неустойки, но главное, властно подчиняющее себе все остальное, заключалось в другом — русско-турецкая кампания началась с малозаметных, но явных неудач, и неизвестно было, чем она закончится, если к осени не проляжет через Бессарабию сплошная железная дорога хотя бы полевого типа.

— Честь России? — иронически переспросил Осинский.— Родина? Бросьте! Для меня, хоть я и молдаванин, родина там, где мне лучше. А к России равнодушен — я ей ничем не обязан... Пожалуй, вначале ненавидел ее, когда порядки в ней закрыли мне дорогу в жизнь, а теперь — безразличен...

Возмущали эти взгляды, но противопоставить им было нечего, и никакие слова на Валериана Андреевича не действовали. Он был убежден в своем и охлаждал мальчишескую запальчивость собеседника издевательским, каким-то замирающим смехом.

Работать! Только делом, а не словами можно утвердить свои принципы и утвердиться в себе.

Потом началось такое, что для себя он числил праздником, а другие замечали постольку, поскольку могли содействовать праздничному сумасшествию этих дней. Все началось с беды товарища.

Ему уже доверяли теодолит. Однажды поутру он робко снял несколько углов на извилистом отрезке трассы, и когда они подтвердились проверкой, то начальник партии спокойно-буднично передал ему инструмент с картой и уехал по делам в город. От такого доверия можно было бы взлететь к небесам, ежели хорошо разбежаться, и он вдохновенно повел линию дальше. Участок попался

спокойный, ровный — шестиверстная прямая, небольшой входящий угол, найденный самостоятельно на свой страх и риск, за которым снова намечалась прямая. С необъяснимым восхищением он оглядывался назад, где пикетажисты методично, будто ничего не произошло, мерили трассу и медленно, даже вроде бы лениво забивали пикеты. Смело, даже, быть может, отчаянно рассчитал кривую большого радиуса, мгновенно посадил ее на колья. Зачем-то безумно спешил — бегал под проливным дождем, подгонял помощников, кричал, и сердце колотилось часто, как у птицы. Подменяя уставших рабочих, досыта намахался кувалдой, и руки дрожали, когда он снова начал сводить лимбы теодолита. До темноты сделал еще три версты по прямой, с нетерпением ждал начальника партии и даже обиделся, когда тот, прослушав подробный, несколько многословный отчет, лишь молча кивнул.

Заболел техник-пикетажник. Последнее время он все чаще жаловался на головные боли, с трудом подымался утрами, дрожь сотрясала его костлявое тело и запавшие глаза нехорошо блестели. Пришлось отправить больного в Бендеры, где могли найтись фельдшер и какие-никакие лекарства. К разбивке кривых прибавился пикетаж, но эта добровольная тяжелая ноша только радовала, хотя число рабочих удвоилось и приходилось мотаться вдоль трассы полных шестнадцать часов в сутки. Начальник партии с теодолитом ушел вперед, и главная задача состояла в том, чтобы не задерживать нивелировочные работы Осинского. Оторваться от него удалось в первый же день. Техник-пикетажник проходил не более восьми верст, а тут сделали десять, правда по легкой равнинной местности, но потом без конца перебрасывали лучших рабочих с пикетажа на разбивку кривых и обратно, сподвигнулись на двенадцать, ввели их в каждодневную норму. Он возмечтал уже о пятнадцати верстах и временами догонял начальника партии, когда тот замедлял изыскания, прокладывая на основном даниловском направлении лучшие местные варианты.

Он — инженер! Он делает д е л о! Ему начали платить хорошие деньги за эту работу, но бумаги эти он готов был отдавать в обмен на любую прибавку к пройденным верстам.

Вечерами помогал инженерам наносить на план пройденные версты, выверять инструменты, исправлять ошибки в картах и засыпал с нетерпеливой мечтой о завтрашних неведомых верстах, ждущих его глаз, рук, ума, его клокочу-

щей энергии. Нет, он не то чтобы не уставал, просто считал усталость свою неизбежной, оправданной длинным днем полезного труда, но все же недостаточной, чтоб сравниться с невероятной усталостью, какую он испытывал прошлым летом, когда кочегарил на паровозе,— временами готов был купить мгновение отдыха ценою жизни самой, отключались все чувства, тело жутко мертвело. А сейчас он даже не всегда верил рабочим, если они жаловались, что больше не в силах, руки-ноги не владеют. Инженеры уговаривали его, чтоб он сбавил прыть, иначе рабочие могут разбежаться, только не хотелось слушать никаких предупреждений и советов, если в его руках горело, опаляя душу восторгом, такое дело!

А рабочие не выдержали. Бросили все к дьяволу и пошли жаловаться. Он побежал следом, начал хватать за рукава, остановил наконец. Сказал, что урок пусть будет всего восемь верст.

— Это еще куды ни шло...

— Но ежели пройдем двенадцать — всем двойное жалованье от меня. Это, конечно, господа, сверх законного вашего барана и водки.

Они пошли дальше. Догнав по трассе начальника партии, сбивчиво объяснили ему, что молодой его инженер так гонит людей и в дождь и в жару, что они уже на ходу шатаются, ноги опухли, все в язвах, и можно угодить в больницу. Пришли расчета просить, легче на стройке землю кидать, чем так-то...

Не помогли уговоры и новые условия — согласились всего несколько человек, а ушедших пришлось срочно заменить молдаванами, неумелыми, не знающими русского языка крестьянскими парнями, совсем не приспособленными к новой для них работе. Ее оставалось-то всего на неделю, но скорость прохождения трассы упала — за день с мучениями набирали какие-то несчастные восемь верст, и Осинский наступал на пятки. Кое-как приноровил рабочих, пошел, а вскоре произошло событие чрезвычайное.

Пикетаж и кривые, как он понял, были на изысканиях работами второго порядка, исполнительскими, где физические нагрузки доминировали над поиском. Конечно, и тут надо было глядеть в оба — точно мерить, быстро и правильно считать, надежно фиксировать магистральный ход сторожками, «плюсами», пикетами и кольями, но выбор даже малых направлений зависел от тех, кто шел впереди. Там, на черте горизонта, в покатых неровностях бес-

сарабских полей работала голова партии. Она решала все. Тянуло в эту завораживающую даль, к теодолиту и карте, к делу, определяющему сроки сдачи дороги, экономию или перерасходы, возможные сокращения или удлинения трассы, масштаб приложения строительных сил, объемы земляных работ, потребности в цементе, кирпиче, рельсах, шпалах. И самое главное, необыкновенно важное — инженер, идущий впереди, намечал дорогу на сотни лет, его сегодняшнее решение становилось реальной частицей будущего, и неведомые люди в туманной дали времен почтят изыскателя уважением за выбор лучшего варианта...

К вечеру он догнал начальника партии, быстро разбив несколько переходящих друг в друга кривых по приверхе долины, где поиск углов несколько задержал прокладку главного хода. Последние две кривые не стал фиксировать, это было невероятным нарушением установившихся правил, и Осинский, подойдя с нивелировкой к этому сложному месту, в недоумении и гневе бросился к деревне, куда собралась вся партия.

— Где он?! Почему кривые не разбиты? Я же потерял сегодня три версты!

Ему объяснили, что они должны были встретиться — молодой инженер не стал ужинать, схватил теодолит с картой и как сумасшедший побежал назад по трассе, прихватив с собой самарского мужика. Нет, не встретился никто, трасса пуста, ворох незабитых пикетажных кольев лежит за садами. Правда что сумасшедший!

Уже в сумерках инженеры вернулись на приверху. Из большого сада, что тянулся отсюда до самой деревни, появился инженер. Он с хрустом жевал недозрелое яблоко, сиял глазами, не шел, а ровно летел, смешно тряся лохмотьями, в которые успела превратиться его. рабочая одежда.

— Карта врет! — кричал он.— Там нет болота! Я сделал другой вариант.

Утром проверили новый ход. Он был немного прямей и короче прежнего. На карте в этом месте значилось болото, но за садом его не было видно. Оно, знать, давно просохло, выровнялось ежегодной пахотой и сносом земли дождевыми потоками, засевалось теперь хлебом. По ровному полю линия хорошо шла с минимальными земляными работами мимо злосчастной вилючей приверхи, садов, деревни и смыкалась за нею с основным направлением. Начальник партии поздравил молодого инженера.

Это было счастьем! Добытым лично, своими руками, умом, чутьем. Он так и не понял, почему вчера вдруг засомневался в правильности прежнего хода. Каждое утро внимательно разглядывал карту, забегал глазами вперед на десяток-полтора верст. Местность вокруг деревни весь день представлялась в топографических горизонталях, но натуральный ее вид отличался от изображения чем-то таинственным и необъяснимым — может, сады вносили фальшивинку в подлинный рельеф? Да, помнится, он мысленно снял их, все тут как-то выровнялось, и невидимая низина за ними словно приподнялась, сообразуясь с далекими желтеющими покатостями долины. Какое все же счастье, что там оказались хлеба, а не болото, столь уверенно когда-то проштрихованное на карте военными топографами.

Через несколько дней он, уже исполняя поручение, удачно улучшил линию еще в одном месте и достиг предела, до полного изнурения зажав себя и рабочих, прошел семнадцать верст с пикетажем и разбивкой кривых. Сил едва хватило, чтобы при свече нанести план. Разуться и поужинать он уже не смог — повалился на голую полку в блаженном и желанном изнеможении.

А вскоре они вышли на Чадыр-Лунгу, где их линия сомкнулась с магистральным направлением, проложенным через Траянов вал и Рени до Галаца другой партией.

Изыскатели, войдя в село, бросились к первому же колодцу и долго — без сил — лежали, опившись свежей холодной водой. Видно, здесь по-особому почитали воду — изящная деревянная постройка над срубом манила глаз прихотливой резьбой, затейливыми расписными узорами. Село было большим, опрятным и многолюдным. Многие дома почему-то стояли не челом на улицу, а слепыми, безоконными боками, но их ярко расцвечивали орнаменты, нанесенные известью и краской, продавленные по глиняной плоскости углубления.

Отсюда он отправил большое письмо в Одессу. Все это время то сестра, то мать сообщали ему мелкие и милые подробности одесской жизни. Письма доставлялись на трассу с оказиями. При чтении писем из дома его охватывала острая тоска по завораживающей атмосфере привычного семейного быта и невозвратного детства. Отвечать, однако, было некогда, и домашние, должно быть, заждались от него вестей — мать сетовала на молчание сына ласково и кротко, а сестра, как всегда, притворно-грозно, с ворчли-

выми по-взрослому выговорами и амикошонскими обращениями: «лентяй», «эгоист» и прочая. В последнем письме мать между прочим поведала о скромной воспитанной девушке, только что поселившейся наверху. Семейство соседей он знал — пожилого педантичного генерала, его молодую жену и их маленькую дочь. Хозяйка дома держала себя со всеми уверенно и покровительственно. Генерал же при случайных встречах был вначале сух, насторожен, однако, заметив, что наезжий студент и в мыслях не держит волочиться за его юной супругой, сделался внимательным и даже подчеркивал свою признательную расположенность к соседу. Теперь к ним приехала какая-то их музицирующая родственница, мать почему-то чрезмерно расхваливает ее — очевидно, узрела в ней его очередную потенциальную невесту, только он-то вовсе не думает жениться: не до семьи, пока твое будущее неопределенно и зыбко. Совсем, кажется, недавно он был готов жениться на первой встречной пассии, а сейчас самое большее, на что можно решиться, это почти непрерывная череда быстрых увлечений, полуслучайные встречи и расставания, бурные вспышки чувства, поначалу принимаемые за счастье и любовь, и неглубокие печали, когда приходила пора втайне ожидаемого отрезвления и необъяснимой взаимной отчужденности. К тому же он, ежели на то распорядится судьба, непременно сам найдет себе подругу и женится правда что хоть на кухарке, когда по-настоящему полюбит и поймет, что именно этот человек, всепрощающая его избранница, безоговорочно пойдет с ним по труднейшей местности, называемой жизнью, единственным надежным путеводителем в которой может быть только труд...

Обратный путь, к истоку трассы, он решил сделать максимально полезным — взялся поверочно пронивелировать всю линию. Осинский показал ему приемы нивелировки, прошел с ним полдня, выписал репера и укатил в Бендеры, оставив в его распоряжении десяток рабочих.

— Вы только не гоните,— посоветовал Осинский, давно уже разговаривавший с ним уважительно, как с равным.— Нет нужды, не пожар.

— Согласиться с вами не могу, Валериан Андреевич. Война хуже любого пожара... Вы сколько проходили за день?

— Однажды проскочил двадцать две, но вам никогда столько не сделать. Да и смысла нет. Мы свое испол-

нили, стройку не задержали. От города уже ведут земляные работы.

Нивелировка оказалась делом не слишком трудным и сложным, но требовала исключительной точности. Не раз приходилось возвращаться по трассе назад, проверяя отметки. Ели почти на ходу, спали, где заставала ночь, у костров, сапоги его развалились, пришлось их сменить на лапти, в которые давно уже переобулись все рабочие. Одежда окончательно истрепалась, кое-где разошлась по швам. Разорвалась штанина, при ходьбе мелькало грязное исцарапанное колено. Донимали насекомые, и в тех местах, где рядками вдоль швов белели гнидяные россыпи, тело нестерпимо зудело и горело. Он даже не умылся утром ни разу, торопясь на линию.

Как ни старались, в среднем выходило лишь по двенадцати верст, и оставалось только восхищаться мастерством Осинского, потому что его рекордные версты нельзя было сделать за счет работоспособности или спешки, только особая геодезическая интуиция и опыт нивелировщика могли дать этот, как сейчас стало очевидным, исключительный результат. И самое поразительное — при этой контрольной проверке обратным ходом сходились все до одной отметки, хотя попадались участки, где он, глубоко и неизбывно страдая, мог бы сравнительно легко улучшить линию новыми малыми направлениями, только было поздно, потому что любое изменение теперь потребовало бы дополнительной нивелировки, разбивки пикетажа и кривых, фиксации новых «плюсовых» точек, вычерчивания других планов и профилей, подводки их к примыкающим старым ходам в натуре и документах, уже поступивших на утверждение. Обходная линия по долине реки Батны и прокладка ее по южному склону водораздела, подальше от сырых низин, тяготеющих к черноморскому берегу, удлиняли дорогу Бендеры — Галац на десятки верст, и самое незначительное укорочение имело бы свою цену... Вот тут углубить бы короткую выемку всего на четверть сажени, войти и выйти под другими углами. Разбить более плавную кривую, и линия сократится почти на семьсот сажен. Он отмечал такие места для себя и в Бендерах доложил о них, вызвавшись немедленно вернуться и все переделать, но пыл его сразу же охладили:

— Извините, поздно. Не горячитесь. Слишком поздно!! Вам говорят, невозможно поздно!!!

Для него второстепенными показались и попутные го-

рячие поздравления, и обещания непременно доложить обо всем Данилову, и предсказания блестящего изыскательского будущего. Куда важней и существенней было совсем другое — прикосновение к подлинному счастью и чуду. Он впервые испытал несказанное наслаждение от того, что правильно прочел страницы из книги земли и понял, что для него эта книга отныне — главная в жизни, исполненная высшей мудрости и значения.

* * *it*

Потом была постройка. Вся трасса, протяжением в двести восемьдесят с лишним верст, вдруг ожила. Вдоль нее рубили виноградники и сады, широко растаптывались поля на месте будущих станций. Линия огласилась криками распорядителей, ржанием лошадей, руганью землекопов. Убирали землю с возвышений, по которым тянулся магистральный ход, возили ее в понижения — выемки и насыпи чередовались, переходили друг в друга, чтоб рельсы легли с минимальными подъемами и уклонами. У ручьев и речек били сваи. В этих местах слышались протяжные команды закоперщиков, бухали тяжелые железные бабы, в промежутках между ударами рабочие, оттягивая канаты, пели свои озорные куплеты об инженере, которому они обещали уважить — по губам чем-то помазать. Спешно строились деревянные мосты; завезенные из разных губерний Великороссии плотники на катках волокли по земле длинные бревна, перестукивались топорами, визжали и шуршали пилами. Срок сдачи дороги неумолимо приближался, и скоро вся стройка перешла на круглосуточное бдение — по ночам она, освещенная до самого Дуная кострами, шевелилась бессонной гигантской змеей. Стальной путь от Бендер до Галаца надо было выстроить и сдать в оставшиеся сорок пять дней.

* * *

Утром 19 октября 1877 года министр государственных имуществ Валуев поручил телеграфно запросить Одессу о том, в какой именно день дорога Бендеры — Галац определенно пропустит первый поезд с войсками. Ему это надо было знать для себя, потому что такими сведениями никто в Петербурге не располагал. Оставалась ровно неделя до срока, означенного в договоре, но, по достоверным сведениям министра, линия в полевой разметке

неожиданно удлинилась на сто верст для обхода пересеченной местности по северу. Ненастье должно было скоро распустить немощные бессарабские тракты, войска станут вязнуть в грязи, как это было в Таврии во времена печальной памяти севастопольской баталии. Извечное русское бездорожье, слагаясь с прочими отягчающими обстоятельствами, уже отозвалось излишним пролитием крови под Плевной, затруднило всю эту кампанию, начавшуюся столь преждевременно и неудачно. В середине прошлого лета Валуев не считал войну неизбежною и непременною, сомневался, чтобы Россия была втянута в нее внешними и тем паче внутренними силами.

Всю эту долгую осень Валуев безуспешно пытался возродить в себе жажду деятельности, прежде столь ненасытную и неустанную. Изнуряла и окончательно лишала сил мучительная двойственность. Считая своим долгом защищать достоинство и позиции России перед Европой, Валуев продолжал метание, как он иронически выражался, «горошин» — писал анонимные статьи, печатая их через посредничество доверенных лиц, чаще всего в бисмарковскую «Norddeutsche Allgemeine Zeitung», то темнел с лица, представляя зальцбургские беседы Бисмарка и Андраши, разбирающих донесения своих агентов из-под Плевны, где под неприступными турецкими редутами. перемалывается цвет русской армии — гренадерские и гвардейские части, срочно подвозимые новой железной дорогой. Поляков выполнил условия, но затевает какую-то аферу, ссылаясь на миллионные перерасходы, успев еще, кроме того, построить дорогу по Румынии от Дуная до Зимницы, куда подтянули уже императорский поезд.

Он послал знающих людей в белорусские болота и поручил через них минскому губернатору Чарыкову передать его добрый совет в Царство Польское и Западный край относительно совместного осушения болот на границах земель. Однако Валуев понимал, что основательные работы сможет проделать там только будущая Россия, живущая без разорительных войн. С нетерпением ожидая любых сообщений из-под Плевны, он попросил начальника главного штаба графа Гейдена составить для него список всех раненых и убитых нерусских офицеров — это ему было нужно для того, чтоб напомнить при случае иным коллегам в правительстве, что Российская империя — не Московское царство. Только никакие напоминания не помогли — списков он так и не получил...

Валуев не мог больше работать в тот день. Омертвляющая душу давняя усталость окончательно овладела им, когда пришло известие из Москвы о самоубийстве генерала Гартунга. Походил по кабинету, отрешенно глядя в серые квадраты окон за тяжелой малиновой портьерой, расчесал перед зеркалом баки, делающие его похожим на покойного лорда Пальмерстона, чья многолетняя балканская политика, благодаря богу, окончательно, кажется, рушилась в эти осенние месяцы. Надо было непременно куда-то уехать из министерства сейчас же! Опостылевшие толстые стены, восковой цвет старого паркета, черная мебель в трагическом сочетании с малиновым бархатом... Домой, в библиотеку, к любимым книгам и дневнику, которому он тайно от всех много лет поверял свои мимолетные мысли и наблюдения над жизнью, последовательно и по-своему логично клонящейся в томительную роковую неизвестность. Да, и заехать по пути к графу Палену, чтоб изъявить свое суждение о деле Гартунга и выходках прокурора на этом, судя по всему, странном процессе, закончившемся столь нелепой драмой, которая сделала безутешной вдовой дочь великого поэта, солнцем воссиявшего когда-то над Россией. И весьма, весьма сомнительно, чтобы при нынешних порядках в ведомстве графа Палена Мария Александровна смогла восстановить честь покойного супруга.

Валуев поехал по слякотным петербургским мостовым, не замечая погоды. Все чаще он ловил себя на том, что не видит красок дня. Немало удивляясь себе, сейчас он не мог даже вспомнить, солнечным ли было это лето в Петербурге. Быть может, потому, что он так поздно выехал с дачи, не спал ночей, ожидая дунайских и азиатских известий, и не мог подавить холодным рассуждением новых для себя настроений, порожденных этой войною?..

А сколь прекрасен был мир в молодости! Почему-то вдруг ясно вспомнился первый снег вдоль беговых дорожек манежа Бистрома. Мириады слепящих блесток сливаются в одно божественное сияние, воздух упоительно свеж, и душа полна счастьем, не подаренным жизнью более ни разу. Ему двадцать один год. Горячий жеребец Валуева не слушается шенкелей, несет. Чуть впереди едут Александра и Екатерина Гончаровы, свояченицы Пушкина. В сестрах, однако, совершенно нет сдержанности и покоряющего очарования их младшей сестры, супруги поэта. Александра преувеличенно весела, и Валуева несколько шокируют ее не совсем

светские проявления приязни. Он словно опасается этой двадцатишестилетней девицы с осиной талией, однако держится подчеркнуто любезно и предупредительно. Поодаль, близ юной, несказанно нежной Мари Вяземской, невесты Валуева, гарцует Дантес, кавалергард, баловень барона Геккерена, голландского посланника. Он издали дерзит Александре Николаевне, отпускает по адресу молодого камер-юнкера слишком французские остроты. Валуев быстро парирует по-русски, и Дантес с довольно глупым видом вынужден обратиться к Мари за разъяснением просторечного выражения. Княжна краснеет, затрудняясь подобрать хотя бы вольное соответствие глубокому русизму, однажды подслушанному юным Валуевым на московской улице...

Дамы в мехах и офицеры, толпой стоящие за скамьями, смотрят только на двух прекрасных амазонок, держащихся в седлах непринужденно и свободно.

Вот на дорожку выезжает Софи Карамзина с братом и его товарищем по корпусу артиллеристом Голицыным. Сестры Гончаровы удаляются, пустив лошадей рысью. Комья снега летят впереди из-под копыт. Дантес устремляется за ними, Валуев же, туго натянув повод, едет рядом с княжной Мари. Она робеет на лошади и благодарно смотрит на спутника...

И встречи с Пушкиным свежи, прояснены, словно незамутненное окошко в далекую молодость. Ах, Пушкин, Пушкин! Валуев не однажды разговаривал с ним в доме князя Вяземского. Точнее, Пушкин говорил и спрашивал, а он только отвечал, скромно смолкая, когда интерес поэта к нему иссякал. Пушкин, каким он остался в глазах навек, был то горяч, любопытен и весел, то скрытно-раздражен и замкнут, что так не вязалось с его обликом, а временами на поэта снисходила спокойная зрелость мужа, знающего о жизни и людях все, что можно было о них знать.

Помнились его вопросы о том, как юноше служится у теперешнего Сперанского. Валуева тогда только что определили во Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, где он под руководством старого реформатора занимался кодификацией законов империи. Валуев отвечал, как важна для него эта служба и сколь многому можно научиться у человека, которого собеседник справедливо назвал одной из любопытнейших фигур вчерашней России. Пушкин с пристрастием рас-

спрашивал, чем же именно обязан будущий государственный муж Сперанскому, так и сказав, словно ненароком,— г о с у д а р с т в е н н ы й м у ж , и Валуев до сего времени не уверен, был это недорого стоящий комплимент, незлобивая насмешка или прозрение.

Еще Пушкин живо интересовался, с какими историческими документами, неизвестными ему, канцелярия имеет дело и нельзя ли через нее просмотреть подлинники в с е х законодательных актов Петра Великого, рукописные его указы и резолюции, хотя он и без того, как показалось Валуеву, знал их лучше кого-либо. Много позже Валуев понял, что Пушкин тех дней держался интересом к прошлому, в нем жили обстоятельства пугачевского бунта, изнуряя поэта терзаниями великого творца, а величие преобразовательной Петровской эпохи помогало ему противустоять ординарностям и чрезвычайностям жизни.

Однажды князь Вяземский, благосклонно давший Валуеву согласие на брак дочери, поведал ему, что у Пушкина неоплатного долгу более семидесяти тысяч, а черная зависть посредственностей и грязные великосветские сплетни дотла выжигают душу гения.

Потом счастливая ночная сумятица, официальное объявление о помолвке, и Пушкин у колонны, в презрительном рассеянии рассматривающий танцы, Дантес, ни на шаг не отходящий от Екатерины Гончаровой, но бросающий неприличные, деланно-томные взгляды на супругу поэта.

И еще вспомнилась внезапная тень на лице Пушкина, когда Валуев, званный с невестою ко двору, явился засвидетельствовать свое почтение гостям князя в камер-юнкерском мундире. Этой нечаянной бестактности Валуев никогда себе не мог простить. Пушкин, однако, быстро тогда справился с собою, весело чему-то своему рассмеялся и счел нужным извиниться перед собравшимися, чтобы наедине сказать несколько слов юному д р у г у . В пустом зале он искренне поздравил Валуева со счастливым сватовством, помолвкой и следом, необыкновенно деликатно и одновременно озорно, осведомился, какой любви подвластен он, какая движет им молитва...

Потом свадьба светлым майским днем, а на следующий день легкая размолвка с Мари, которая вдруг свалила на него ворох петербургских слухов о сестрах Гончаровых, вплоть до язвительного замечания, высказанного о свояченицах якобы самим Пушкиным, будто все женихи России для Катрин и Александры либо молоды, либо стары. А

поздней осенью, как гром на черном небе, вызов Пушкиным Дантеса, к тому времени уже усыновленного Геккереном, последующий письменный отказ поэта от дуэли и одновременное и неожиданное предложение проходимца Екатерине Гончаровой, ее странное согласие и свадьба во главе с посаженым отцом графом Строгановым. А вскоре ужасная дуэль, тайный, охлажденный тут же благорассудительностью и неосуществленный порыв Валуева немедленно покарать убийцу и «жалкий лепет оправданья». Он тогда сказал Сперанскому, что один дворянин намеревается вызвать разжалованного Дантеса, а старик, пронзив его взглядом, брезгливо сказал: «Драться с солдатом?»

И «Капитанская дочка», прочитанная уже после смерти поэта, герой которой, Петр Гринев, был чем-то неуловимым похож на него, Петра Валуева, чьи отдельные слова и зародыши чувств прямо перенесены в повесть, написанную в те дни, когда мятущийся Пушкин находил в себе силы одарять его, мелкого чиновника, своим лучезарным вниманием. Из всех уважаемых Валуевым людей, кажется, один Пушкин тогда не опустился до именования его jeune homme modele[1], выражением, кое повторялось по поводу и без повода в свете с легкой и тяжелой руки государя...

Через четыре десятилетия Валуев с неожиданной свежестью ощутил сегодня Пушкина. В трагичности его судьбы он с тоскою и страхом уловил вдруг зловещий символ и впервые в жизни усомнился, помогут ли поколениям его соотечественников оставаться русскими творения даже такого богоносного духа.

Валуев раскрыл дневник, однако записать ничего не смог. Достал старые тетради, взялся их бездумно перелистывать. Эта осенняя пора жизни наступила давно. Вот запись почти пятнадцатилетней давности, когда он был уже министром внутренних дел и сохранял еще способность замечать и солнце, и небесную лазурь, и осенний лист: «Зелень держится, хотя испещрена всеми яркими оттенками осени. Думал об осени жизни. Сравнивал. Молился. Как цвет листьев, изменяются и испещряются взгляды на жизнь, мнения, стремления, желания. Прошлое не совсем забыто. Настоящее резко от него отделяется. Как поблекшие листья, отпадают желания и страсти. Путь ими усеян. Но над головою то же небо, то же солнце, хотя, хотя и ме-

[1] Примерным молодым человеком *(франц.)*.

нее высоко поднимающееся над горизонтом. То же ощущение беспредельного и вечного. Та же непроницаемая, спокойная, светлая, лазоревая глубь». Нынче краски совсем тусклы, размылись дождями да туманами, и надобно ждать скорой зимы...

О Гартунге бы следовало записать, о несчастной Марии Александровне, старшей дочери Пушкина, которую он, встретив однажды с матерью на прогулке по Каменному острову, помнит еще четырехлетней бормотушкой в кружевах. Дело покойного генерал-майора Гартунга тянулось более года, однако ясности в нем не чувствовалось до самой развязки. Да и развязка эта была, очевидно, предопределена небезупречным ведением процесса, невыясненностью важных обстоятельств, невозможным поведением прокурора, подозрительным забвением своего профессионального долга защитою и поспешным вердиктом присяжных, не понимающих сути этого бездоказательного дела.

Деньги! Деньги да отношения, основанные на них, опутывают и оскверняют ныне все и вся. И в истоке дела Гартунга были деньги. Московский ростовщик Занфтлебен ссужал их под очень большие проценты, и Гартунг, по слухам, брал у него, хотя странно, что в завещании Занфтлебен мог означить душеприказчиком своего должника вкупе с полковником графом Ланским. Оказалось, что все состояние внезапно умершего Занфтлебена завещано им второй жене. Прежняя семья ростовщика, лишившись наследства, по-своему была права, когда возбудила дело о недействительности завещания. Но куда исчезли из бумаг завещателя векселя Гартунга, ежели они существовали, а также вексельная книга, учитывающая все долги? Был установлен очевидный факт, что на другой день после смерти ростовщика Гартунг, как душеприказчик, перевез к себе все долговые документы покойного, но сделал это, к сожалению, без охранительной описи. Вскоре по предписанию суда пристава перелистали у генерала более чем на двести тысяч бумаг, не найдя расписок самого Гартунга и других документов, наличие которых предполагалось. Гартунг был обвинен в похищении векселей и вексельной книги, бумаг, а граф Ланской — в потворстве обвиняемому из корыстных видов, хотя газеты немало писали о полной недоказанности факта увоза бумаг из дома ростовщика. Прокурор Муравьев начал свою речь с того, что назвал присутствие на скамье подсудимых Гартунга и Ланского у т е ш и т е л ь н ы м обстоятельством и предло-

жил для генерала исключение по службе с лишением чинов и орденов и ссылку в Сибирь. Защита ничего не возразила, наказание присяжные утвердили, и Гартунг застрелился тут же, в особой комнате суда, оставив записку: «Клянусь всемогущим богом, что я в этом деле ничего не похищал, и прощаю моим врагам!» ...Не успевшая разойтись публика тотчас бросилась к прокурору, называя его подлецом и убийцей. И достойно глубочайшего сожаления, что граф Пален оказался глух к очередному деянию своей прокуратуры.

Старый дневник лежал открытым, и глаза бездумно нашли запись, вдруг поразившую его своею точностью и верностью выражения. Ах, вот почему эти строки так легко и будто бы сами разыскались! Запись была сделана 27 октября, в тот день, к которому спустя ровно четырнадцать лет он столь нетерпеливо ждет известий об открытии железной дороги через Бессарабию. Целых четырнадцать лет прошло, а он с полнейшим основанием мог бы повторить сегодня: «Мне хочется бежать людей. Я чувствую, что правительственное дело идет ошибочной колеею, идет под знаменем идей, утративших значение и силу, идет не к лучшему, а к кризису, которого исход неизвестен...»

Боже, как верно, как неоспоримо верно! Еще более верно в свете сегодняшнего, когда правота прежних мыслей подтверждается новыми фактами из нашей государственной жизни и ошибками правительства, имеющими глубокие корни! «Но я сам часть этого правительства. На меня ложится доля нравственной ответственности. Я принимаю на себя ношу солидарности с людьми, коих мнений не разделяю, коих пути — не мои пути, коих цели — не мои цели. Для чего же я с ними?» Все так и сейчас, несмотря на совершенно иные расхождения, с иными людьми и в иное время! «Озираюсь, думаю, соображаю и остаюсь, потому что нет явного признака, чтобы время к уходу наступило, а, напротив того, есть явные указания на то, что я еще должен оставаться...» Остаюсь, и работаю, и страдаю, не в силах что-либо улучшить в этой старой громадной махине, называемой Россиею, где все идет со скрипом, поломками, остановками, донельзя тяжело и замедленно. Сможет ли дорога на Галац завершиться к означенному сроку? Этот срок определился по общему настоянию в видах спешного объявления войны, и Валуев рекомендовал великому князю связать Полякова жесткими финансовыми обяза-

тельствами — большой, растущей с каждым днем неустойкой, потому что предприниматель этот, в высшей степени безразличный к славе или позору России, верит в одного бога — в мешок с деньгами.

Валуев вспомнил, как в конце шестидесятых годов, закончив Курско-Харьковско-Азовскую дорогу, Поляков исхлопотал у правительства концессию особой важности. Россия более не могла обходиться без своих металлов, потребляемых железными дорогами, а на юге втуне лежали богатые руды и угли, годные для плавления чугуна и железа. Поляков обязался устроить там выделку рельсов, однако нагло нарушил договоренность. Князь Кочубей, с благими намерениями взявший концессию на себя, так и не смог образовать общества железоделательных заводов. Заняться этой черной, но необходимейшей для отечества работой надо бы самому правительству, да только давно миновали времена, когда русский государь мог собственноручно отковать в кузне якорь и лемех. Петр Великий выплавлял черного металла больше любой державы на свете, и одна только Англия покупала у нас за год семь миллионов пудов чугуна! Спустя полтора века растеряли дорогое наследство и принуждены везти всякий рельс и костыль из чужих земель — с русским убытком да немецким прибытком.

Валуев горько усмехнулся, вспомнив месячной давности разговор с военным министром Милютиным в Государственном совете. Дорога на Галац «проходит» по его канцеляриям, и Милютин между прочими военными обстоятельствами с удовлетворением уведомил, что железо в Бендеры поступит с Юзовки продуктом независимой российской выделки.

— А прибыль российской выделки куда поступит? — спросил Валуев.

— Сие дело есть второе,— отмахнулся Милютин.

— Зависимое, однако же, и от первого и третьего,— возразил Валуев.

— По счетам иной, не сегодняшней бухгалтерии.

— Это справедливо, потому как один вчерашний просчет влечет два завтрашних...

Воистину справедливо! И в отношении этой войны, и железа для нее, и промышленной стратегии. Князь Кочубей, со старинной российской ленцой изуверившись тогда в успехе дела, продал концессию англичанину Юзу, а тот, пользуясь безвыходностью правительства, оговорил

неслыханные привилегии. Земля с залежами руд и угля, потребного для железоделательных печей, была отдана ему безвозмездно. Одновременно Юз взял выгоднейшую концессию на строительство и эксплуатацию железной дороги через эту золотую землю длиною в восемьдесят пять верст. Получил гарантированный заказ на три миллиона пудов рельсов и правительственную премию в полтинник за каждый пуд. И никакого коммерческого риска, ни конкуренции, потому что до сего дня это единственный южный чугуноплавильный и железоделательный завод. А Валуев хорошо помнит, как в те годы, когда Поляков пренебрег нуждою правительства, некий екатеринославский помещик, странный своим звуковым совпадением — Поль, долго искал руду в Кривом Роге Херсонской губернии, истратил на этот поиск все свое состояние, а найдя, не может сейчас сыскать капитала, сыскав в Петербурге лишь репутацию неисправимого чудака. На эти руды, по данным Валуева, уже есть бельгийские и французские виды. И отдадим, очевидно, и будем гордиться как бы независимым российским промыслом, а пришельцы станут посмеиваться над нами, сбирая с нашей земли барыши пожирней, чем со своих владений в Черной Африке.

Государь был явно раздражен поступком генерала Черняева, возглавившего без его соизволения восставших сербов, и намеревался даже лишить его чинов и орденов — ему претила газетная пропаганда славянофильских идей. Но к осени все как-то незаметно поменялось. Вспомнился визит министра финансов Рейтерна и разговор с ним. Рейтерн подтверждал мнения Валуева относительно позиции его императорского величества государя, тогда определенно считая, что все завершится миролюбиво, и, кажется, возлагал надежды на министра иностранных дел, государева канцлера Горчакова.

Рейтерн сидел в глубоком кресле, перекидывал ноги с колена на колено и держал холеную расслабленную руку над седеющими уже бровями — либо свет низкого осеннего солнца мешал ему, либо голова болела.

— Гардину? — спросил Валуев, подымаясь.— Воздуху?

— Благодарю.

Хозяин кабинета отворил шнуром форточку, задернул окно и начал медленно ступать по ковру, обдумывая, как построить предстоящий разговор.

Ему надо было больше узнать, чем сообщить,— этому золотому правилу он для известных моментов следовал

с юности, заметив, что так поступает Сперанский, первый его наставник на служебном поприще. Рейтерн был моложе Валуева, позже начал карьеру. Он состоял финансовым чиновником в морском министерстве, когда Валуев, будучи уже курляндским губернатором, размышляя над причинами позорного поражения в Крыму, написал свою «Думу русского...», многие строки которой он помнит наизусть и считает вполне приложимыми к жизни сейчас, спустя двадцать с лишним лет. Там неплохо было сказано о неблагоприятствовании развитию духовных и вещественных сил России показного внешнего благополучия и порядков государственного управления. «Отличительные черты его,— писал тогда Валуев,— заключаются в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм составляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, и — редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху — блеск, а внизу — гниль»,— смело формулировал он, выделяя, однако, из всех отраслей государственного управления лишь морское министерство, которое, по его мнению, не обнаруживало, в отличие от других ведомств, беспредельного равнодушия ко всему, что думает, чувствует или знает Россия. Рейтерн читал эту записку, ходившую в рукописи по всему Петербургу, а потом узнал и об авторе ее, назначенном молодым царем в министерство государственных имуществ. Какие сроки прошли, какие годы миновали! Сейчас, когда все ухудшилось вдвойне, Валуев не решился бы столь резко излагать, рискуя всем и познав за эти годы горькую тщету многих своих усилий...

Рейтерн, исправно работавший накануне реформы в финансовой комиссии по крестьянским делам, однажды прямолинейно, хотя и очень к месту, напомнил Валуеву одну его мысль из записки, вызвав к себе вместе с интересом некоторую настороженность...

— Россия открыта добру,— говорил тогда Рейтерн, почти дословно повторяя несколько высокопарную концовку валуевской «Думы».— Ум русского так необыкновенно вос-

приимчив, а русское сердце так благородно, и воля правительства не встречает препон...

Рейтерн говорил для всех собравшихся, но смотрел на Валуева, очевидно ища в нем союзника. Валуев уже не помнил, о чем шла речь, однако поддержал суть предложений Рейтерна — они хорошо, точно излагались и должны были, кажется, пойти на пользу.

А в другой раз Рейтерн, уже после реформы назначенный управляющим министерством финансов, допустил на совещании по проекту земско-хозяйственных учреждений довольно комическую выходку против Валуева. Председательствовавшему великому князю сделалось стыдно за него, и он не смог этого скрыть. И еще вспомнилось, как Рейтерн в финансовом комитете с тупоумным апломбом требовал от военного министра Милютина пятнадцатимиллионной уступки по смете 1863 года. Горячился Чевкин, умоляя Милютина спасти Россию, князь Горчаков запальчиво предлагал прикрыть министерство иностранных дел ради общей пользы, а Валуев молчал, пока не спросили его мнения. Он сказал, что не усматривает возможности уменьшения войска внутри империи, особенно в Царстве Польском и Западном крае, и, глядя на Рейтерна, растерянно хлопающего глазами, добавил, что химерические сбережения не его амплуа. Другие разногласия касались выкупного дела, подушной подати, подоходного налога. Валуеву временами приходилось кое в чем малосущественном уступать Рейтерну, чтобы тот поддерживал его в более важных для державного благополучия начинаниях.

По назначении Рейтерна министром финансов Валуев считал его за аккуратного делопроизводителя, не более, временами искренне жалел, видя, как тот безнадежно пытается заместить пустым усердием незнание объема и глубины своего дела и скороспелой решительностью — умудренную неторопливость опыта. Первое воистину плодотворное единомыслие обнаружилось меж ними по вопросу железных дорог.

Обремененные бесчисленными делами по общественному и финансовому устройству пореформенной России, оба министра как-то незаметно сошлись на том, что вконец запущенное железнодорожное дело с кричащей очевидностью ограничивает торговые возможности многих районов и ослабляет окраины в военном смысле. Крымская война еще была свежа в памяти. Эта поздняя кампания несомненно обернулась бы славой России, если б Таврия была связа-

на сквозным паровым сообщением с коренными, глубинными губерниями. Рейтерн как будто не разделял взглядов Валуева на особые, отличные от Европы, пути России в будущее, но Валуев, вполне той порой уверенный, что его народ, со своей неповторимой историей и складом национального характера, проложит эти дороги, однако вместе с Рейтерном считал строительство железных путей неминуемым и неотложным государственным деянием.

И оба министра были вместе, когда летом 1863 года группа лондонских банкиров и биржевиков предложила на концессионных началах соорудить железную дорогу от Москвы до Севастополя. Причем Рейтерна в этом проекте больше всего остального привлекал миллион чужеземный, миллион, предоставленный акционерами в обеспечение своей благонадежности, и шестилетний срок исполнения работ, а Валуев, хотя и был недоволен предоставлением концессионерам исключительного права на добычу угля в зоне будущей дороги, горячо поддерживал затею потому, что отрыв хлебородного, густозаселенного рудного и угольного юга от центра становился уже нетерпимым, да и возрождение военной мощи России на Черном море виделось делом исторически близким. А через полтора года совет министров рассматривал спорный и сложный вопрос о железной дороге Москва — Одесса. Многие стояли за то, чтобы провести более короткую и дешевую линию через Киев, праматерь русских городов. Граф Бобринский в качестве докладчика столь смутно и противоречиво излагал дело, что доказал лишь полную запутанность своих мыслей. Чевкин с замечательным упорством и отсутствием логики стоял за Киев, в патриотическом жару его поддерживали князь Гагарин и генерал Зеленый. Рейтерн же, сказавший в начале заседания превосходную речь, отстаивал Харьков. К сожалению, военный министр Милютин, не считаясь с экономическими доводами Рейтерна, предлагал в видах смутной стратегической интуиции приостановить все работы на юге, чтоб развивать внутренние линии от Москвы к Харькову и Курску.

Валуев и Рейтерн снова оказались рядом, подкрепляя друг друга взаимосвязанными аргументами, и государь, положив тянуть к Киеву немагистральную линию от Курска, утвердил харьковский вариант, который должен был оживить богатую местность и быстро покрыть первоначальные расходы коммерческими оборотами.

Министры к тому времени были уже близки домами,

обедали друг у друга. В последующие годы Валуев не раз находил возможность изъявить Рейтерну доброжелательность, а министр финансов, как нечто само собой разумеющееся, признал над собою его авторитетный и неунизительный патронат.

— В каких эмпиреях пребывает наш канцлер? — спросил Валуев.

— Князь Горчаков слишком полагается на Берлинский меморандум и соответственно влияет на государя,— заговорил Рейтерн.— Он считает, что Англия без континентального союзника — лишь остров на окраине Европы и у Турции нет иного выхода, как подчиниться волеизъявлению трех императоров.

— Это было бы слишком желательно,— обронил Валуев.— Князь мыслит просторно, однако...

— Именно, Петр Александрович! Князь Горчаков желает одним выстрелом убить трех зайцев: улучшить положение балканских славян, получить удовлетворение симпатиям России и своим единоверцам и поднять на европейской арене наш и, добавлю, собственный дипломатический престиж.

— Не было бы это выстрелом холостым...

— Он без конца твердит: «pas un soldat et pas un Rouble[1]». Но чрезмерно дешев способ... для достижения таких целей.

— Война?

— У нас нет финансовых возможностей вести ее,— сказал Рейтерн с резкостью, пожалуй, даже излишней.— Я готовлю на этот счет записку государю и днями еду с нею в Ливадию. Надеюсь на впечатления, что я вынес из последних бесед с государем.

— Вы имеете в виду?..

— Ясно виделись его душевные страдания... Миролюбивые мысли свои он излагал запальчиво, как бы возражал лицу, коего с нами не было.

— Война,— твердо сказал Валуев.— Однако должен же сознавать и военный министр, что армия наша...

Валуев, как всегда, старался выражаться обиняком, но слишком был важен вопрос для государства, укреплению которого он десятилетиями отдавал все силы.

— Мы с Милютиным *были* полными союзниками,— заметил Рейтерн.

[1] Ни солдата, ни рубля *(франц.)*.

— Только Россия остается без союзников,— с ироничной горечью произнес Валуев.

— В союзниках у нее числятся только вконец распустившиеся газеты да славянофильствующие краснобаи. Аксаков шлет во все концы возбудительные письма, в том числе и Милютину, а газеты — вы сами видите...

— Вижу одно малопонятное попустительство, Михаил Христофорович, и внешние признаки таковы, что у Европы и Турции не может оставаться никаких сомнений в наших намерениях.

— По своему обыкновению смотря в корень, вы, Петр Александрович, угадали мои невысказанные мысли. Государь не раз давал всем понять, что он готов на крайние предупреждающие меры, могущие пресечь всяческие воздействия на самодержавную власть. Правительство способно было поставить препоны на пути распространения крамольных идей, решительно преследовало печать даже за нерасположение к классическому образованию, но в данном случае мы имеем дело с исключительной снисходительностью...

— Попустительством... И вовсе не господин министр внутренних дел, замечу кстати.

— Да, Тимашев — всего лишь спица в колеснице,— подтвердил Рейтерн.— И агитация уже свершила свое дело в публике. Только и слышно — сербы, добровольцы, унижение братьев.

— Война,— сказал Валуев.

— С войною грядут непозволительные для наших финансов расходы и невосполнимые потери в людях.

— Меня беспокоят иные последствия...

Валуев не стал уточнять, что именно его заботит, на вопросительный взгляд министра финансов пожелал его миссии успеха и попросил по возвращении из Ливадии встречи с ним.

Прощаясь за дверью с гостем, Валуев сказал:

— И еще прошу оговорить в Крыму вопрос о железной дороге через Бессарабию хотя бы предварительно. Без нее война обойдется двойной ценой.

— Совершенно с вами согласен...

Рейтерн ушел, досадуя, что в разговоре пришлось коснуться печати, но Валуев, кажется, эту тему сам начал, несмотря на то, что всякое упоминание о газетах и журналах, сделавшихся в данном вопросе бесконтрольными, ему, очевидно, было неприятным — слишком много сил от-

дано было Валуевым для упорядочения этого важнейшего внутреннего дела и слишком большие огорчения выпали на его долю когда-то вместо ожидаемого и, как сказал Рейтерн, заслуженного вознаграждения.

Отставка министра внутренних дел Валуева весною 1868 года и назначение на его место генерала от жандармерии Тимашева было следствием более глубоких и сложных причин, чем поверхностные газетные объяснения сего чрезвычайного случая тех уже далеких времен. Разумеется, за непринятие должных мер против голода в северных губерниях он нес ответственность, однако официальные обвинения в качестве предлога сам Валуев считал второстепенными, инспирированными августейшими обитателями Аничкова дворца, которых перестал устраивать этот себе на уме министр, исподволь проникающий в недопустимые сферы. Не только наследнику престола, смотревшему на сущее слишком упрощенно, но и многоопытным министрам было подчас трудно понять тонкую политику взглядов, оправдать некую нешаблонность Валуева. Ни одна из влиятельных группировок, толкущихся вокруг престола, не числила его своей креатурой или своим лидером — он никогда не примыкал вполне к сановной олигархии или сгустку высшей столичной бюрократии, к либеральным преобразователям или закоренелым крепостникам. Он старался мыслить самостоятельно и действовать независимо, если вообще может быть самостоятельным преданнейший слуга, не желающий, однако, служить никому и ничему, кроме царя и престола.

В том году, когда ему пришлось уйти, Валуев писал в своем заветном дневнике, что он был слугою и защитником самодержавных прав верховной власти вместе с князем Гагариным и графом Паниным, но разумел самодержавие иначе, чем они, оберегал все коренные права правительства вместе с генералом Чевкиным, но круг этих прав и достоинства правительства понимал по-своему, соглашался с Головиным насчет необходимости свободы печати, но не подразумевал под этою свободой полного простора для развития материализма и демократической пропаганды.

Он предусмотрительно тоже добился в свое время, что его ведомству передали цензурование всего существенного, что выходило из-под печатного станка. Валуев не только хотел усилить влияние министерства внутренних дел на общественную жизнь России, у него были свои виды на печать, свои методы управления ею. Безбожие и нигилизм

растлевали души, революционные идеи обладали способностью питаться не только запретными поджигательными сочинениями, но и литературой, ставшей вполне легальною, и даже повседневной, слегка овеянной оппозиционными ароматами прессой. Валуев безусловно стоял за то, чтоб исключить для периодической печати всяческую возможность выступить с противуправительственных позиций, и необходимыми циркулярами сразу же предусмотрел на этот счет должные меры. В то же время он отдавал себе ясный отчет, что печать при некоторых послаблениях дает возможность следить за развитием крамолы, распознавать в хитрой вязи словес подлинные намерения авторов и в нужное время пресекать их деятельность с внезапностью и неотвратимостью рока. Через печатное слово выявили себя два первых и крайних социалиста — журналист Чернышевский и преподаватель Лесной академии Шелгунов. Валуев немало споспешествовал отправке первого по степени вины — за Байкал, второго — в глухой уезд Вологодской губернии, где они стали неопасными одновременно, пребывая полностью в нетях. Более строгая мера была бы слишком грубой и недостойной такого тактика, каким считал себя Валуев. Тонко чувствуя особую темпераментность преступников, он отлично понимал, что значило для людей этого сорта вдруг оказаться заживо погребенными и долгие десятилетия служить предметным уроком для других.

Валуев не раз вспоминал слова покойного Сперанского, человека замечательного ума, который в свое время говаривал, что страх есть род очарования. Некоторые так называемые облегчения и удобства для прессы, предусмотренные позже Валуевым, были рассчитаны именно на этот род воздействия: периодическая печать и небольшие по объему оригинальные сочинения освобождались от предварительной цензуры. Мудрый акт! Редактор, издатель и автор вынуждены были самоцензуроваться, сообразовываясь со страхом, от которого не свободен ни один живущий. Печатая б е с ц е н з у р н ы е материалы, они рисковали куда больше, нежели в те времена, когда цензор заранее давал запретительные распоряжения. Дело в том, что Валуев недвусмысленно им пояснил новые условия: до рассылки литературы подписчикам или в торговлю она непременно поступала в цензурные комитеты, которые действовали, согласно инструкции министерства внутренних дел, «властью последовательною в смысле пресечения совершенного

уже нарушения закона и преследования виновных». Валуев с удовлетворением и даже наслаждением наблюдал, как подчас смирнеют самые ретивые поборники разлагающей общество новизны, объятые пленительным страхом перед арестом тиража, приостановкой журнала, неминуемым разорением или длительным общественным небытием в местах не столь отдаленных.

Всякий раз он удивлялся тупости современников, наталкиваясь на непонимание своих в высшей степени продуманных мер иными властями предержащими и даже единомышленниками разных степеней и рангов.

Любезный Катков, большой труженик и умница, чью деятельность, рьяно поддерживающую все правительственные начинания, он всячески поощрял, изъявил однажды недовольство замечанием министерства внутренних дел по ряду опубликованных статей. Пришлось отправить ему строго конфиденциальное пояснительное письмо о том, что временами приходится применять и к «Московским ведомостям» официальные требования, долженствующие продемонстрировать его, Валуева, беспристрастность, напомнить адресату о своем дифференцированном, подлинном, а не формальном отношении к нему и его органу, имеющему столь примечательные заслуги перед отечеством.

Валуев обладал способностью обласкать мыслию любой предмет со всех сторон и узреть в его глубине смысл, не замечаемый сотоварищами по правительству, но важный для дела, врученного ему, Валуеву, божественным провидением.

Земская реформа? Да, конечно, все правы относительно основных задач; кроме того, она даст пищу внутренней активности общества и отвлечет силы, которые без нее могут сделаться враждебными нам. И это всего лишь недостаточный подступ к главному; милостивые государи, правительство должно овладеть социальным движением, делающим три четверти истории, стать во главе его.

Польские дела? Сложны и не разрешатся до тех пор, пока мы, следуя незыблемым началам русской политики, не внесем одновременно в эти дела идею, в которую поверил бы хоть один поляк. Банки, мануфактуры, железные дороги? Ради господа. Тем более что все это займет внимание прессы и увлечет часть тех, кто сейчас шумит и фрондирует от нечего делать...

Отставка Валуева означала поворот к упрощенному ведению внутренних дел. Цесаревич счел большим счастьем

для правительства, «что К р а с н о п е в ц е в выходит вон». Министром был назначен Тимашев, хуливший все либеральные начинания, так и не смирившийся в свое время с освобождением крестьян и в ярости укативший тогда за границу. Когда же настал черед Валуева, он тоже отбыл в заграничный вояж, получив, однако, милостивый рескрипт государев и алмазные знаки ордена Александра Невского. Отставке и отъезду его радовался не только наследник, но и столичные опекуны земства, страдавшего от утеснений слишком способного ученика Сперанского, и люди, испытавшие на себе его инквизиторскую цензуру, и закостеневшая в своей реакционности партия, возглавлявшаяся жандармским шефом графом Шуваловым, прозванным Петром Четвертым и Аракчеевым Вторым. Весь осведомленный Петербург определенно считал, что карьере опального министра наступил конец. Однако, вернувшись из-за границы, Валуев свершил деяние, столь необходимое и важное для России, что одно это позволило бы зачислить его в ряд лиц исторических. За рубежом он пристально следил за бешеной деятельностью Бисмарка, загодя почуяв, что на западных границах России вот-вот объявится новая могучая держава, способная быстро покончить с гегемонией Франции и решительно повлиять на судьбы всей Европы. Раскусив неистового немецкого канцлера, Валуев не удивился эмсской депеше, нагло извращенной Бисмарком и оскорбившей Францию. Это была грязная и довольно примитивная провокация. Валуева поразило, испугало и в некотором смысле восхитило то, что последовало за нею. Франция, объявившая войну, была обречена, потому что Пруссия располагала более чем пятикратным превосходством в резервистах, прошедших военную выучку. Прекрасно организованная мобилизация и формирование запасных, мгновенная переброска войск к границе железными дорогами в сочетании с лучшим управлением артиллерийской готовностью — вот что предопределило сокрушительную победу.

Валуев привез в Петербург некую плодотворную идею, хорошо обоснованную в записке, которую он скромно назвал так: «Мысли невоенного о наших военных силах». Среди прочих мыслей он особо выделял и подчеркивал одну — рекрутская система призыва в армию более не обеспечивает должной обороноспособности России, и надлежит распространить военную обязанность на сословия, ныне освобожденные от нее по закону. Основные соображения

автор записки в пользу всеобщей воинской повинности подкреплял дополнительными вескими аргументами, в коих он, будучи Валуевым, усматривал особый, глубинный смысл, присущий, по его убеждению, любому акту государственного значения. И Рейтерн при встрече с ним снова подивился уму и направленности мышления отставного министра.

Дело было на даче Валуева. Наступил конец сезона. По случаю нежданного приезда хозяина слуга расчехлил в гостиной мебель и затопил камин. Валуев любил навещать дачу поздней осенью, когда светлел лес и свежел воздух. Рейтерн, в отличие от прочих, посещал опального государственного деятеля, исправно служившего частным образом председателем правления Учетного банка. Довольно часто он приглашался на заседания Государственного совета, по-прежнему логично и без запинки излагал свои мнения, когда в том имелась нужда, и только Рейтерн знал, чего стоит Валуеву скрывать страдания от такого унизительного положения. Встречаясь с Рейтерном, Валуев иногда просил совета по делам банка, и министр финансов был счастлив, что может стать хоть чем-то полезным ему. Содержа большую семью, очевидной нужды Валуев, однако, не знал — кроме приличного жалованья в банке, он издавна «в уважение отлично-усердной службы» награждался ежегодно пятью тысячами рублей серебром. Рейтерн знал, что эту награду, носившую характер пожизненной казенной ренты, Валуев получал взамен пожалованной ему еще до реформы долгосрочной земельной аренды. По наблюдению Рейтерна, Валуев не испытывал страсти к роскоши, и обеды его были обыкновенными, по-русски хлебосольными, но безо всякого приторного гурманства. Рейтерн не любил обедать у лиц, главным своим достоинством почитавших французскую кухню и направлявших на ее тонкости застольные беседы. У Валуева же можно было наслаждаться неоценимыми яствами — острой мыслью хозяина, методой его рассуждений, предвидением, особым даром, коим Рейтерн не обладал ни в малейшей степени.

Перед обедом они поиграли в теннис. Валуев, живо передвигаясь по площадке, бил точно, изящно и молча, а Рейтерн сокрушенно вскрикивал и ахал каждому своему промаху, хотя в душе был доволен проигрышем, потому что чувствовал, как партнер сдержанно радуется даже такой мизерной победе, умело не замечает подозрительной уступчивости Рейтерна. Потом, когда начал накрапывать

мелкий осенний дождик, они ушли в кабинет Валуева, представляющий собой скорее библиотеку. В чем Валуев не мог себе отказать — это в книгах. Он их всю жизнь выписывал, скупал, вывозил из Парижа и очень благоволил к тем знакомым, что презентовали ему какое-нибудь редкое сочинение по истории, экономике или праву. Правда, Рейтерну он давно запретил это делать в видах, как он шутил, сбережения державной казны. На самом же деле причина была другой — по странному совпадению, Рейтерн всегда присылал и приносил издания, которыми Валуев уже располагал. Книги давно не помещались в библиотеке на городской квартире Валуева и в немалом числе перебрались на дачу, где зимою из-за них приходилось содержать человека.

Рейтерн, сидя в кресле, то и дело перекидывал ноги перед собою, следил глазами за Валуевым, неторопливо и легко шагающим по кабинету. Гость знал, что сейчас начнется важный разговор —- Валуев никогда его не приглашал просто так, ради встречи. Краем уха Рейтерн слышал о последней записке Валуева, понимал, что ему крайне необходима сейчас любая поддержка, но хотел бы в связи с нею уточнить сегодня свои позиции главного казначея империи.

— Предлагаемая вами мера, Петр Александрович,— начал он, видя, что хозяин в каких-то целях не приступает к беседе,— мера, как я понимаю, основополагающая, но...

— Слушаю вас,— прервал паузу Валуев.— Вы хотите сказать, не обременит ли она финансы?

— Именно. У меня одна боль.

— Бесспорно, всесословная воинская повинность потребует некоторых дополнительных текущих расходов.

— Не немалых,— вставил Рейтерн.

— Но за ними последуют огромные сбережения.

— По какой же статье?

— Не знаю, Михаил Христофорович.— Валуев остановился напротив — прямой не по летам, поджарый, даже изящный с виду.— Сколько еще лет нам с вами отпустит бог, но мы, без сомнения, успеем увидеть, что расходы всех держав на содержание войска станут возрастать.

— Свершается... Корабли и форты в железной окове, пушки да ружья скорой стрельбы, новые пороховые смеси, движущиеся мины... Это все деньги, и потому я озабочен...

— Через сто лет вашим заботам позавидуют все министры финансов... А сейчас России нужно иметь войско, чтоб оно было наивозможно малочисленным и дешевым в мирное время, но максимальным на первые же дни войны. Вы знаете, сколько обученных резервистов мгновенно выставила Пруссия?.. Миллион!

— Да-а,— протянул Рейтерн.— Это экономия.

— Не все еще. В условиях России всесословная воинская повинность даст прибытки, кои невозможно подсчитать в сметах военных расходов.

— Что вы имеете в виду?

— Пусть поляк в русском строю не станет меньше поляком, но неизбежно сделается немного русским.

— Существенно.

— Далее. Почти все мужское население империи через обязательную воинскую службу приобщится к элементарному образованию.

— Допускаю, что это возможно...

— Это необходимо. Армия дает низшим и средним сословиям средства образования наиболее надежные и наименее опасные.— Валуев выразительно посмотрел на гостя и добавил с горечью: — Красная ржа ест Россию насквозь.

— Не следует, Петр Александрович, преувеличивать опасности.

— Преуменьшать, Михаил Христофорович, опаснее...

Неслышно вошел слуга и доложил, что кушать подано.

— Так что с вашей запиской? — спросил о главном Рейтерн, уже не сомневавшийся в реальности предложенной Валуевым меры.

— Милютин совершенно согласен со мною, и ведь он еще десять лет назад стоял хотя бы за частичные изменения рекрутчины. Однако чего-то испугался и не пожелал входить от своего имени. Посему я попросил передать записку государю в моей редакции, и ваше уместное слово, Михаил Христофорович, имело бы свое значение. Только надо его произнести завтра же, пока еще не положена резолюция.

— Мой долг сделать это, Петр Александрович.

— Долг перед Россией, как я понимаю?.. Благодарю вас, Михаил Христофорович. А сейчас прошу отведать разносолов.

Воинская повинность была введена в России, а Валуев после трехлетней опалы занял пост министра государственных имуществ.

* * *

А беззаботный город на северном побережье моря жил своей пестрой и шумливой жизнью. Нина даже сказала, что ни в одно лето почему-то не собиралось на берегу столько отдыхающих одесситов, никогда на Лонжероне под зонтами не грудилось за игральными картами таких компаний, и никто раньше столько не купался. Прибрежная полоска воды буквально кипела от ныряющих и плавающих горожан, даже прибой погасал в этой кишащей массе загорелых тел.

Подруга отчаянно бросилась с камня в мутную бурлящую волну, а она не купалась, потому что боялась палящего солнца, стеснялась раздеваться при людях, совсем не умела плавать. Однажды подруга сказала, что обожаемый братец вчера наконец-то прислал ей письмо, в котором, между прочим, интересуется новой соседкой.

— Мною?! — несказанно удивилась та.

— Я это письмо взяла с собой. Подай-ка сумочку! Почитать?

Письмо было длинным. Шутливо перебирая мелкие семейные новости, протокольно сообщаемые матерью, он спрашивал сестру, что это за восемнадцатилетний ангел женского полу объявился у них над потолком, там, где и положено находиться ангелам? Мать в своем письме, кроме того, будто бы ласкательно поименовала эту приезжую молодую особу голубкой, ну а его какой-то Данилов недавно назвал орленком, и как бы чего не вышло от встречи таких противоположных по своей природе птиц. Заканчивалось письмо сообщением, что работает он от зари до зари, но чувствует себя превосходно и у него прекрасный аппетит.

— Однако,— произнесла она, покраснев.

— Ты уж, пожалуйста, его прости,— попросила, смеясь, подруга,— я думаю, он развеселился оттого, что добился какого-нибудь успеха.

Она рассказала, что до этого он долго не писал или ограничивался записочками, в которых не содержалось ничего, кроме коротких ремарок о своем здоровье, а тут даже шутит, а это хороший признак, потому что он иногда может замыкаться, и уж не поймешь, что с ним. Перед

самым приездом юной соседки вырвался в Одессу на полдня, и домашние просто не узнали его.

— Отчего? — спросила она, испытывая нечто вроде полубезразличного любопытства.

— Не поняли. Молчит. Мрачный, как демон.

— А где же он сейчас?

— Строит какую-то дорогу к Дунаю.

— Может, неудача в чем-нибудь личном? — осторожно предположила она.

— Не думаю. Об этом-то он бы мне рассказал. Сердце свое он всегда охотно раскрывает, а вот о чем думает — замолчит.

— А эта дорога... далеко от театра военных действий?

— Не знаю, не пишет, хотя вообще-то он у нас может быть изрядным... как бы это выразиться?., пустомелей.

— Кем? — переспросила она.

— Ну, болтуном. Не остановишь, бывало...

Поневоле думалось о нем. Воображение сглаживало противоречивости в его неясном облике, но внешне он представлялся уже почти знакомым — такой же красивый, как его сестра, с теми же строго-правильными чертами лица. И непременно высокий, стройный брюнет с рыцарскими манерами. Пламенные глаза, модная парижская прическа с тугими завитками на затылке. Она даже не раз пыталась украдкой набросать карандашом его профиль, но выходило что-то женственное, слишком похожее на Нину, или невесть откуда являлся неопределенно-смазливый анфас, напоминающий лица молодых людей еврейско-греческого типа, фланирующих в легких чесучовых костюмах по одесским бульварам.

А он в это время изнывал от жары, вышагивал по молдавским полям свои каждодневные двадцать верст с гаком, валился в сумерках под первое попавшееся остожье и мертвецки засыпал, до крови расчесывая во сне свое бесчувственное тело и по-прежнему не имея назавтра ни малейшей возможности избавиться от застарелой грязи, измызганной мятой одежды и вконец остервеневших вшей.

* * *

Начало всякой дороги обрывает прошедшее, конец ее означает вступление в будущее, а сама она, связывая то, что миновало, с тем, что явится, обычно не содержит в себе ничего и быстро забывается в буднях и праздниках

наступившего. У него всегда так было и со всеми дорогами, кроме этой, Бендеро-Галацкой, которую он сам изыскивал и строил.

Все поет в тебе, когда вспоминаешь о бешеной гонке за теодолитом, пикетаже и разбивке кривых, сумасшедшей проверочной нивелировке, о сокращении хода у той деревни, по сухой низине, о счастливо найденных вариантах, коим не суждено, к сожалению, осуществиться. Да, изыскатель не должен верить ни карте, ни —временами—приборам, ни авторитетам, ни отцу-матери, ни богу и ни черту, а только тому сомненью, что неприметно возникает в тебе при встрече с незнакомой местностью, и той властной силе, которая вдруг сливает тебя с этим неорганизованным рельефом и ясно прочерчивает в воображении идеальный план и профиль. Он увидел также, что жизнь глубока и зыбуча, как болота на сыром берегу Кагальника. В ней вязнут, тонут, а по головам несчастных идут на сухое другие. Нет, он-то никогда не наступит на плечо провалившегося в трясину, подаст руку, не думая о последствиях. А почему все устроено так, что большинство несчастно, а меньшинство благоденствует? Вопрос этот и раньше тревожил его, но только недавно он понял, что есть единственный ответ на все вопросы, один лишь выход из противоречий и сомнений — д е л о , которое ты любишь и в котором нуждается жизнь. А еще было в жизни нечто такое, чего он не умел назвать словами. Вспомнился поздний вечер в поле, когда он, смертельно усталый, лег на свежее сено и увидел над собою необъятное темно-синее небо в звездах; оно было странно близким, доступным, словно шепчущим неведомую сказку. Он успел подумать тогда, что эта сказка — его будущая жизнь и надо только верить в волшебство ее осуществления...

Как хороши эти бессарабские поля, что величаво проплывают за окном вагона! Взрастили хлеб и сейчас вольно, умиротворенно расположились на зимний отдых, терпеливо ожидают живительных дождей и тоже словно хотят что-то сказать...

— Вы о чем-то задумались? — внимательно взглянув на спутника, спросил Осинский.— Не принять ли нам еще по рюмочке?

— Принять.

Осинский разлил коньяк, предусмотрительно купленный им в бендерском буфете; надо же было как-то отметить и смягчить расставание со стройкой этого практиканта,

ставшего инженером, которого он еще в гимназии помнил вот таким — восторженным, чуточку не от мира сего, переживателем своих настроений.

— Так о чем вы...

—■ Хороша все же наша Молдавия, Валериан Андреевич! Есть в ней своя какая-то сказка.

— Никакой в ней сказки нет,— снисходительно улыбнулся Осинский.— Конечно, выдумать можно что угодно...

— Подождите! Вот я вчера поехал за город проститься с нашей дорогой. Представляете — кругом холмы, покатости, волны, изломы, как все в природе, в жизни и человеке. Одна дорога прямая, будто струна.

— Так что же?

— А вверху — точно над осью пути — стоит низкое солнце, словно циркулем очерченное в тумане.

— Так,— недоуменно протянул Осинский.

— Все... А рельсы дают красный отсвет.

— Ну и что?

— Ничего. В изгибах все вокруг, в переходах, идеально правильно только солнце и наша дорога под ним.

— Что-то не понимаю я вас...

— Все дело в том, что я тоже не понимаю себя, но почему-то был очень рад, когда нашел это сходство! Солнце и два красных луча по рельсам— без отклонений и погрешностей!

Осинский недоуменно подернул плечами: странные все же бывают люди! Он никогда такого не замечал, хотя сто раз смотрел на рельсы и солнце, а если бы и обратил случайно внимание, то не стал бы об этом говорить и тем более радоваться. Кажется, эти русские юноши, пребывающие в мальчишестве до двадцати пяти годов, вообще устроены по-другому. Только подумать — отдал мяснику долг удавившегося подрядчика. Четыреста с лишним рублей. Бери этих русских голыми руками, вей из них какие хочешь веревки... Поляков это давно понял — и вьет, и вьет! С этой дороги миллион себе в карман положит* не меньше. За три-то месяца. В Румынии еще одну веточку до зимы проложит, у Дуная, куда уже погнали царский поезд, а там бараки для раненых да другие срочные армейские подряды. Умеет! Интересно, как он его встретит? Осинский ехал в Одессу за новым назначением: он хотел получить одну из дальних дистанций, где еще долго можно будет зарабатывать,— спешно построенная дорога нуждалась в основательной балластировке пути, постоянном водоснабже-

нии, укреплении насыпей, замене временных сооружений постоянными. У станции Рени, под самым Галацем, место низкое, пойменное — Дунай начнет подмывать полотно. Хорошо — будет работа, будут деньги...

— Как вы думаете, Валериан Андреевич, меня накажут за такое опоздание?

— Уверен, что нет,— очнулся Осинский.— Вы же своевременно послали рапорт, а Данилов написал такой отзыв о вашей практике, что профессора вас по аудиториям на руках станут носить и показывать, как экспонат. Они там почитают Данилова и, кроме того, знают, что дорога была сверхсрочная, военная... Смотрите!

Едва поезд остановился на разъезде, как тут же тронулся встречный. В дверях товарных вагонов стояли рядками, в обнимку, солдаты громадного роста, головами под крышу вагона, усатые, как один,— и от пестрой их формы рябило в глазах.

— Гренадеры. Под Плевну... Эти покажут, на что способен русский солдат.

— Мясо.

— Ну, знаете! Плевну надо брать любой ценой.

— Плевать я хотел на эту Плевну!

— Вы бываете несносны со своим языком! Подумайте, что вы говорите! Россия напрягает все силы, чтобы...

— Эту войну я не начинал и думать о ней не желаю,— перебил Осинский, махнув рукой.— Россия, Турция, Болгария... Мне до них нет дела, как им нет дела до меня.

— Если бы не Россия, вы б тут еще века под турками жили!

— Хрен редьки не слаще. Слыхали такую русскую пословицу?

— За изыскательскую науку я вам благодарен, Валериан Андреевич, будет нелепо, если мы поссоримся. Только я прошу вас не шокировать своими взглядами моих домашних. Они свято чтут память нашего отца, венгерского героя и георгиевского кавалера.

— У моего отца была другая судьба.

— Помню...

— Поэтому, а также по многим другим причинам, мы с вами играем на разных шарманках. Однако за меня вы не беспокойтесь,— в доме я буду паинькой, и ваши патриоты не успеют за один визит меня раскусить. К тому же я

волен отклонить приглашение, сославшись на важные дела у Полякова.

— Нет, нет, пожалуйста! Прошу быть завтра к обеду.

— Благодарю. Еще по рюмке?

— Извините, не хочется...

— Ну, а я выпью. До Одессы далеко.

В Одессу поезд прибыл к вечеру. Скрипя тормозами, притерся к полупустому перрону. Пассажиров было не густо, и зазывные голоса извозчиков звучали безнадежно-скучно.

— Вас не встречают? — удивился Осинский.

— Нет.

— А вы, помнится, говорили, что у вас целая артель сестер и братьев.

Неделю назад он написал, что скоро заедет по пути в Петербург, а дня не обозначил, потому что не любил, чтоб его встречали. Вначале обижались, но постепенно привыкли. Так лучше. Ему нравилось приезжать домой неожиданно, думать о них дорогой, представлять, какими они все стали, что делают сейчас, копить по пути нетерпенье, а там, в конце, вдруг распахнуть дверь и прежде всего увидеть счастливые тревожные глаза матери. Потом Нина подскочит, грубо-нежно растреплет волосы, назовет «остолопом» или еще как-нибудь за то, что опять не сообщил о приезде, озорной и даже чуток жуликоватый Сашка, неумело сдерживая радость, по-братски сунет в бок своим жестким кулачишком, Варя, Глаша и Вера, визжа, как поросята, повиснут вокруг, затеребят пуговицы на тужурке, полезут в карманы за конфетами и орехами, а сердце его вспыхнет, и горячо зальет лицо.

Осинский сошел у гостиницы, а он поехал дальше по сумеречным улицам. Было тепло — море, знать, прогрелось за лето, не спешило пока остывать и прохладными вечерами ласково дышало на город. После всего, что было на стройке и только что кончилось — лихорадочной изменчивости, сутолочного перемеживания людей, гнусных поползновений поляковской орды, ежечасной новизны, которую ты сам создавал, а она руководила тобою,— город успокаивал вековой окаменелостью зданий, прямыми улицами, вечерним безлюдьем, шелестом последних листьев на вершинах каштанов, сухой и мягкой дорогой...

— Куда вы?! Куда?

— Вы же сами, барин, изволили приказать.

— Разве? Прошу прощения. Поворачивайте. На Михайловскую, пожалуйста!

Как он этого не заметил, что направил извозчика к окраине, где стоял старый отцовский дом. Великое переселение из него на квартиру произошло только в этом году, ранней весною, гимназия для подросшей ребятни была теперь совсем рядом, а он еще не успел привыкнуть и даже не услышал себя, когда у гостиницы приказал извозчику трогать. Со старым домом, временами являющимся в сновидениях таким родным, большим и уютным, его связывали бесконечные дорогие воспоминания детства и отрочества — необыкновенное ощущение полного счастья, когда казалось, что свет и сад, небо и козявки, ветер и люди, весь большой мир твой, и так будет вечно, и первые горести, вдруг делающие тебя самым несчастным и жалким существом на свете, и неясные томления души на пороге юности, светлые миражи дружбы и любви, с которыми было так больно расставаться, тайные клятвы сделаться в туманном будущем неотступным поборником святых идеалов добра и справедливости, робкие зародыши неверия в то, чему недавно поклонялся, и муки сомнений в самом себе, трудные умные книги, тягостные мысли о том, что до тебя на земле все продумано, прочувствовано, сделано и ты не сможешь найти свою, никем не пройденную дорогу...

Повозка затарахтела по трясучему булыжнику. Вот она, Михайловская. Черный собор с большими куполами, дома богатых одесситов — торговцев, биржевиков, пароходчиков, адвокатов и военных.

Сейчас его встретят сияющие глаза матери, по которым он так соскучился за эти месяцы изысканий и постройки. В глубине всепрощающего и всепонимающего материнского взгляда, ему казалось, таится тревожный вопрос: хорошей ли дорогой шел ты, один, нашел ли то, чего искал, и не сбился ли с пути истинного? Он и раньше, и теперь не знал ответов на эти вопросы. Провожая его первый раз в Петербург, мать строго-настрого наказывала, чтоб он сторонился плохих женщин и опасных кружков, а он жил как все студенты, намеренно ничего не избегал, совсем не задумывался над тем, где плохое и опасное, и в свои двадцать пять с лишком лет пока не заключил, как разгадать истинность пути... Железная дорога повторяет земной рельеф, едва спрямляя и выравнивая свою ось, и он теперь везде сумеет отыскать для нее выгоднейшее направ-

ление. Но как найти направление высшего порядка, главную ось своей дороги, лучшую магистраль жизни?

* * *

Его ждали на рождественские каникулы, и она, ей казалось, больше всех ждала, томясь смутными предчувствиями, неведением и надеждами на что-то необыкновенное. Накануне рождества целый день прислушивалась к шорохам и звукам внизу — там, как всегда, топали быстрые детские ножонки, кто-то из старших временами истязал рояль, слышались неясные голоса, и нельзя было понять, приехал он или нет.

Ночь прошла и день такой же, как вчерашний. Она же не выходила на улицу, с нетерпением ожидая, когда соседи ее пригласят; ни вязанье не шло, ни вышиванье, и карандаша пальцы не держали, а играть она не решалась, чтобы не пропустить условного сигнала снизу. И когда ранние зимние сумерки замутнили окна, послышались звуки «Очарования сирен». Ноты эти она вывезла из Штутгарта, подарила подруге, и та всегда приглашала ее знакомыми аккордами. В волнении она схватила шкатулку, тальму, с замирающим сердцем спустилась, не заметив ступенек, по лестнице, позвонила. Подруга встретила ее смеющимися глазами и доброжелательной улыбкой, проводила к зеркалу. Гостиная была пуста, но в зеркале она увидела, что в столовой, как раз напротив двери, сидит какой-то сутулый желтоволосый юноша в пенсне. Серебряная цепочка свисала над его острыми коленями. «Так вот он какой!»— разочарованно подумала она, вдруг успокоившись, шагнула к роялю и углубилась в новые ноты. Это был Вальдтейфель недавнего петербургского издания — знакомые вещи и неизвестные, интересные, должно быть, мелодичные и нетрудные в исполнении...

Обернулась. Перед нею стоял, величаво и чуть смущенно улыбаясь, молодой человек необыкновенно приятной наружности. Стройный и красивый. Она увидела синие глаза, внимательные и живые, слегка вьющиеся темно-русые волосы, изящные руки, тонкие запястья в белоснежных манжетах. Он был совсем не таким, каким виделся заглазно, а намного лучше, ярче, только свободная и благородная осанка соответствовала ее идеальным представлениям о том, кого она надеялась когда-нибудь в жизни встретить. Она несколько потерялась под его быстрым взглядом и сразу

не нашлась, что сказать и куда положить руки, пока он не заговорил, представляя своего приятеля. Шутливо расхвалил его ум, скромность, трудолюбие и феноменальные способности к древнегреческому, на котором он еще в гимназии притупил глаза, что еще больше, однако, сосредоточило его на любимом занятии, далеком от вульгарной прозы жизни и возносящем к великим и чистым истокам древних.

Она с удовольствием, полуулыбаясь, слушала. Голос его был свеж, крепок, а слова строились в сложные правильные фразы,— так говорить она не умела и даже не знала, что можно столь музыкально строить обыденную разговорную речь.

Вслед за этой встречей незаметно утекли куда-то две недели, и она потом долго восстанавливала подробности, забываясь в воспоминаниях, как в снах. Ей хотелось думать, что он тогда все время искал ее общества. Вот появляется в дверях с книгой и, пытаясь замаскировать фамильярностью легкое смущение, спрашивает:

— Собственно, чем вы тут занимаетесь?

— Прежде следовало бы поздороваться,— говорит сестра.— Все воспитанные люди так делают.

— Извините,— он краснеет, как школьник, неловко пытается оправдаться: — Это я для экономии времени... Добрый вечер!

И ждет, чтоб услышать голос гостьи. Она поднимает глаза, шепчет приветствие и чувствует, что вот сейчас, когда он смотрит таким нетерпеливым и нежным взглядом, у нее, как вчера, начнут путаться петли.

— Так чем же вы заняты?

— Вяжем,— произносит она, потому что подруга молчит.

— Слишком расточительная трата времени! У вас заняты одни руки, я бы даже сказал, только пальцы, а мозг, простите, спит...

Он усаживается в кресло напротив, раскрывает книгу.

— Альфонс Доде. Роман о маленьком человеке. Я буду читать вслух, а вы вяжите себе.

Читал он хорошо. Разыгрывал голосом разговоры, оживляя интонациями страницы. Самозабвенно жестикулировал, ровно был один в комнате, и все у него получалось так естественно, увлеченно и безукоризненно в меру, будто он сам пережил события романа и написал о них своею рукой. А она, как-то незаметно для себя, уходила в роман,

сбивалась и путалась в счете петель, пока совсем не откладывала вязанья. Затаившись, только слушала, а он временами взглядывал на подруг и тоже словно не видел ничего. Появлялась мать, неслышно усаживалась у двери, собирались дети, замирали вокруг, и даже младший его брат, непоседливый и шумливый гимназист, появляясь позже всех, таращил удивленные глаза, тихо фыркал и беззвучно исчезал за дверьми гостиной.

Потом, когда он уставал, она играла и, снисходя к общим просьбам, пела тоненьким голоском немецкие песни. Игру ее он слушал внимательно и понимающе, а вот пение как будто его совсем не трогало, и она перестала поддаваться на любые уговоры, предлагая лучше петь всем малороссийские песни, чарующие мелодии которых она до приезда в Одессу не слышала. К сожалению, он совсем не умел петь. Раскрывал рот, плавно дирижировал, но сколько она ни прислушивалась, никак не могла разобрать его голоса в общем хоре. Однажды взглянув на него, не выдержала и рассмеялась. Он же хитро — совсем по-мальчишески, подмигнул ей, однако смутился, перестал махать рукой, но больше почему-то не посмотрел на нее ни разу, а она почувствовала себя виноватой и несчастной.

Провожая, как всегда по лестнице, сказал:

— У вас прекрасный слух — вы даже расслышали, как я пою.

— Не обижайтесь, пожалуйста,— кротко попросила она.— Извините меня, ради бога. Я иногда глупости делаю, не понимая, что это глупости. И мне сегодня так трудно стало у вас...

— Нет, вы правы,— рассмеялся он, передавая ей шкатулку и тальму.— Я ведь действительно пою, как рыба. Даже несколько хуже...

За день до его отъезда в Петербург они гуляли по бульвару, случайно и впервые оказавшись одни. Вышли большой, приятной и веселой компанией, но сестра ее с мужем быстро вернулись кормить малютку, а его сестренка встретила подругу, такую же хохотушку, как она сама, и заболталась, издали махнув им рукой, чтоб шли без нее. На тротуаре Михайловской улицы был гололед. Она скользила в своих немецких фетровых ботиках, чуть было не упала. Однажды он робко и стандартно-галантно попытался поддержать ее под руку, только она смятенно отстранилась, панически боясь любого прикосновения к себе, и он понял ее, отстранился.

— Смотрите, это же совершенная сказка! — услышала она его восторженный голос, когда они вышли на бульвар, залитый утренним солнцем.

Он замолчал, не мешая ей. Воистину чудо! Посреди бульвара тянулся сквер. Осенью она часто гуляла здесь с подругой, наблюдая, как желтели, жухли и падали разлапистые листья каштанов, как сквер постепенно осветлялся, становился прозрачным, а стволы с голыми ветками все чернели да чернели под дождями, пока не сделались по первому снегу совсем аспидными, словно кто-то свободно и смело иаштриховал их углем на белом незагрунтованном холсте.

Сейчас каштаны были неузнаваемыми. Вчерашним днем совершенно потеплело, к вечеру анатолийские ветры пригнали с моря дождевые тучи, они изливались на город всю ночь, только к утру их остудило холодным дыханием российских равнин. Дождь схватывало на лету, замораживало, и дом проснулся от грохота — под тяжестью льда рухнула водосточная труба.

А городские каштаны облачились в прозрачное одеяние. Там, где кроны затенялись домами, тусклые остекленевшие ветки сухо постукивали под легким ветерком, а на солнце звенела капель. Ослепляли острые лучики, разноцветные искры, приходилось закрывать глаза, чтоб получше рассмотреть эту, как он выразился, совершенную сказку, и от сверканья, свежести, от его присутствия и его благоговейного молчанья стало так легко на душе, как никогда не было, и подумалось, что она не жила еще и совсем не знает того светлого просторного мира, куда они, быть может, выйдут вдвоем.

Когда они вышли к собору, в темный дверной зев которого валили толпы прихожан, он сказал:

— Может, в церковь не пойдем?

— Почему?

— Избегаю... Только об этом не стоит сейчас говорить.

— Как пожелаете... Тогда назад, на бульвар?

— Там чудесно!

— Мне там сделалось так странно хорошо,— произнесла она.

— Понимаю,— он внимательно взглянул на нее.— Чаще бывает другое...

— Показалось, что и я могу стать счастливой, хотя всегда была уверена в обратном и считала это, простите за навязчивую откровенность, главной печалью своей жизни...

— Мысль невозможности счастья? — удивился он.— Нет, я ей никогда не поддавался! И давно пришел к заключению, что счастье только для себя — это так мало, что, скорее, несчастье. А путь к большому счастью идет через большие труды. Когда предельно расходуешь силы!

— И вы... уже испытали себя в таких трудах или...?

— Было.

— Расскажите, прошу вас,— горячо попросила она.— Я так мало знаю обо всем...

Эту черную работу он выбрал по своей воле. Иные товарищи его устроились на летнюю практику по конторам, станционным службам, в слесарные мастерские, при техниках, инженерах и мастерах, а он решил на паровоз, кочегаром. Престарелый, грязный, весь в потеках масла и ржави паровоз сипел на маневровых путях. Он был окутан клубами пара, рвущегося из худых трубок и неплотных соединений, через окаменевшую набивку сальников и вконец изношенные золотники. На своем веку он немало потаскал по линии грузов и доживал последние годы в трудах же — формировал составы, толкал вагоны на выгрузку и погрузку, возил балласт, шпалы и рельсы для ремонта станции. С места трогался по-стариковски, трудно и натужно, скрипел, немощно пыхтел, а на ходу бил истертыми подшипниками, гремел разболтанными дышлами и сверх шаблона прокатанными колесными бандажами, испуганно вздрагивал и трясся на рельсовых стыках, шипел, свистел на все лады, и даже гудок его был старчески слабым, надтреснутым и хриплым.

Работа на паровозе была неимоверно грязной. Уголь и брикеты находились в тендере, куда то и дело приходилось проникать через узкий кочегарный лаз и подшвыривать топливо к лотку. Лопата поднимала густые столбы черной пыли, края угольной ямы осыпались, ползли под ноги рыхлые скаты, а во время движения паровоза так вихрило, что дышать было совсем нельзя — приходилось карабкаться наверх, к воздушной струе, которая несла от котла нестерпимо горячий дух сгоревшего масла, сырой пар, горький чад и колючую изгарь из трубы, терпкие запахи. Глотнув такого воздуха, он снова сползал в яму. Угольная пыль так забивалась в волосы, что они скрипели и дымили, если их потрогать, проникала под одежду, смешивалась с потом и вызывала нестерпимый зуд, проника-

ла под ногти, въедалась в поры, веки. Но черная эта пыль от ньюкестля — далеко не вся паровозная грязь. К рукам и одежде липнет густая жирная масса, которой несколько раз в смену приходилось смазывать подшипники тяг, кулисы и дышла, тягучая жидкая смазка, когда он добирался с ней до масленок паровой машины, и мазут для букс и буксовых наличников. А во время чистки поддувала летит и сыплется жгучая зола с пеплом, прилипает, и если попытаешься оттереть потом ветошью лицо или руки, то размажешь только, еще сильнее вотрешь в кожу всю эту благодать. Он как следует отмылся лишь через полгода, уже в Петербурге...

Она взглянула на чистое, подрумяненное свежим ветром лицо рассказчика.

— И есть люди, что работают всю жизнь в такой грязи?

— Да. С юности и до смерти... Однако грязь — пустяки.

— Что же еще?

— Работа. Ведь за одну смену приходилось перекидывать к лотку триста пудов угля и кардиффских брикетов.

— Сколько?

— Всего шестьсот пудов, потому что из лотка топливо перебрасывается в огневую коробку. Но это не все. После смены — а она длилась сутки, до восьми утра,— мы еще запасались углем, дровами, водой, смазкой, пригашивали котел, мыли керосином его обшивку, чистили колеса и дышла. Только уж после полудня — мыться и обедать. Потом на квартиру, где засыпаешь мертвым сном до трех часов ночи, потому что я прибегал к паровозу в четыре утра, чтобы к восьми нагнать в котле рабочее давление пара. Начинаешь с дров, потом подсыпаешь постепенно брикеты, на хорошее пламя постепенно трусишь уголь и сифонишь, то есть даешь тягу, пока вся топка не возьмется белым жаром... А уголь этот снова подгребаешь и бросаешь к лотку и раскидываешь по топке двадцать четыре часа подряд. Лопата становится тяжелой, будто она вся из железа... Руки крючит, на ладонях и пальцах водяные мозоли с красными каемками.

Она взглянула на его руки, хрупкое изящество которых не могли скрыть даже шерстяные перчатки, связанные к его приезду сестрой. Как они выдержали такую каторжную работу и не огрубели? А он, захваченный

воспоминаниями, словно видя перед собою что-то и не глядя на нее, продолжал азартно рассказывать о том, что никогда не встретилось ей ни в одной книге, немецкой, французской или русской, о чем она совсем не предполагала узнать от него сейчас.

— А надо еще качать воду, тормозить и оттормаживать паровоз, чистить поддувало. Это самое тяжелое, что я пока в жизни узнал — чистить поддувало и подрезать нижний слой горящего угля. Длинная — сажени полторы — железная кочерга перевешивает дальним концом, а ты лежишь с нею под горячим поддувалом и пытаешься вставить загнутый ее конец в колосниковую щель. Вставишь с грехом пополам, потом дергаешь изо всех сил, чтобы вырезать намертво спекшийся шлак. Пот щиплет лицо и заливает глаза, руки немеют, потому что держишь их вверху, серая теплая зола сушит и совсем перехватывает горло... Я не раз бросал резак, полутрупом лежал под паровозом, и мне становилось совершенно безразлично, умру я сейчас от остановки сердца, дыхания или меня раздавит раскрытый клапан зольника, если паровоз тронется. Машинист грубо орал сверху, из окошка будки, это меня почему-то приводило в чувство, придавало сил, и я снова брался за резак...

— Злой был человек?

— Машинист? Золотой был человек! — на разгоряченном его лице появилось непередаваемое выражение исключительного почтения и приязни, связанное, очевидно, с какими-то неизвестными ей и дорогими для него воспоминаниями.—Григорий Иванович Григорьев... Он мне жизнь спас.

— Что вы говорите! Как это случилось?

Он тогда быстро приспособился впрыгивать с резаком на лесенку будки, когда паровоз уже трогался, соскакивать на ходу, даже при максимальной скорости тридцать верст в час, если срочно требовалось что-нибудь объяснить неуловимому составителю, проходящему по вагонам где-то на соседних путях. И вот однажды, держась за поручень, оторвав от подножки и свесив одну ногу, он уже изготовился, однако не посмотрел вперед. Спрыгнул и угодил, к несчастью, на песчаный откос — накануне в этом месте сгрузили с платформы балласт для подсыпки полотна. Песок быстро высох под жарким южным солнцем, сделался рыхлым и сыпучим. Охваченный ужасом, он почувствовал, что сползает под колеса идущего поез-

да и ничего не может поделать. Остановившимися и уже почти умирающими глазами он смотрел на вертящиеся колеса вагонов. Через несколько секунд его разрежет вон тем колесом, нет, очевидно, вот этим, что медленно и неотвратимо накатывает на тот участок рельса, куда уже сползли его ноги, почти парализованные неизбежным, и куда сползает он сам, весь. Упал вниз и уже не слышал, как впереди взвизгнули и заколотились о рельсы колеса паровоза, как залязгал буферными тарелками и перекатно загрохотал порожняк, не видел, как подпрыгнула за аршин до его тела, скрюченного в бессильной судороге, тяжелая железная смерть и остановилась. Григорьев, конечно, не успел увидеть сползающего под колеса кочегара. Самое большее, что он мог заметить,— это мелькнувший внизу бугорок песка, но рука его сама и мгновенно сделала единственное спасительное движение, впустив в цилиндры упругий пар навстречу поршням. Машинист не стал ничего объяснять — только досадливо махал рукой на бессвязные расспросы все еще трясущегося практиканта, отворачивал мертвенно бледное лицо, которое под черными пятнами грязи казалось еще белей.

— Вялый и неповоротливый с виду, он в другой раз обнаружил совсем уж невероятную находчивость. И только благодаря этому я сейчас хожу без костыля. Мне должно было раздавить ногу, вот эту.

— Как же это случилось? — Она часто дышала, переживая услышанное, да и шел он все быстрей и быстрей по сырой, оттаявшей к полудню панели, не замечая, что спутница его, чтобы не отстать, время от времени делает семенящие пробежки, а белые ботики ее намокли и загрязнились.

— Стоп! Дадим контрпар,— засмеялся он, увидев наконец, что она совсем запыхалась и прерывисто дышит.— Постоим... А дело было так. Вы знаете, как соединен паровоз с тендером?

— Да откуда же?

Не обращая внимания, что на него смотрит праздная публика, он начертил на панели носком ботинка грубую схему тендерного фартука и сцепки.

— Тут паровоз, а это тендер. Они соединены как бы шарниром, чтобы легче вписываться в кривые. Ясно?

— Не вполне, но...

— И это шарнирное сцепление прикрывает выпуклая железная крышка, которая перемещается по полу паровоз-

ной будки. И вот, шарнир на нашем стареньком локомотиве был так изношен и расхлябан, что на ходу между этой крышкой и полом будки образовывалась щель, куда свободно проваливалась нога. Но когда паровоз входил в кривую или переводился стрелкой на другой путь, сопротивление его колесам возрастало, он незаметно снижал скорость, тендер вагонами по инерции набегал на него и щель закрывалась. Нога моя оступилась в эту щель, когда мы ехали по прямой, но в тот же момент паровоз пошел в кривой участок перед стрелкой. Я охнул от боли и тихо сказал, что мне захватило ногу. Григорьев с быстротой молнии двинул ручку регулятора, рванул машину вперед, чтоб щель разошлась. Я отделался испугом, подошвой сапога и ссадиной. А если б он оглянулся, то потерял бы это роковое мгновение, а я — ногу...

Начинал он говорить обо всем этом живо, со страстью, а сейчас почему-то сник и рассеянно оглядывался по сторонам, на расфранченную публику, на заграничные шляпы с модными узкими тульями, на женские эгретки, на блестящие пуговицы полковничьих мундиров. Ей показалось, что он хочет куда-то убежать.

— Может, уйдем отсюда? — спросила она.

— Пожалуй,— согласился он.— Вот в эту улочку можно, где не так людно.

В тени еще было скользко, и она поневоле прикоснулась к его руке, чтоб не упасть, а он осторожно прижал ее теплую варежку к тому месту, где у него билось сердце.

— И те люди, как вы правильно догадались, несут эту каторгу всю жизнь,— заговорил он каким-то совсем другим, тусклым голосом.— Падают от усталости каждый день, тупеют, заболевают. Лет пятнадцать такой каторги, и сдают ноги от вечной тряски, слабеют глаза от резкой смены огня и тьмы, не разгибается спина от сквозняков. И гибнут они часто, не дожив своих сроков. Я только лето проработал, и то чудом уцелел.

— Понимаю,— произнесла она.

— Нет, нет, был еще один страшный случай. Однажды мы с Григорьевым, когда уже своим новым паровозом водили по линии поезда, проработали двое суток подряд — движение усилилось и бригад не хватало. На третьи сутки мы одеревенели от работы и напряжения, заснули в будке, проскочили обязательную остановку. Была глубокая ночь, и наш неуправляемый состав мчал три перегона. Дико гудели на разъездах встречные паровозы, станционники выбили

кирпичами все стекла в будке, а мы спали, стоя у топки. На третьей станции какой-то отчаянный составитель чудом вскочил к нам на полном ходу и привел нас в чувство. Перед следующей станцией семафор был закрыт, горели в темноте красные костры, и мы долго стояли, пока оттуда не ушли составы и не освободили путь. Герой-составитель спас нас и многих других людей от верной смерти, а станцию — от ужасного крушения, о котором, если б не он, долго бы писали все газеты России... А я даже фамилии его не узнал...

Она шла, глядя перед собой остановившимися глазами.

— Теперь я знаю масштаб труда,— закончил он.— Все остальные работы на свете по сравнению с ним — ничто. И людей узнал, ранее неизвестных мне. Григорьев... Несчастный в личной судьбе. Сирота, мученик с детства. Потом жена его, гулена, бросила, и он один воспитывал чужую девочку, ее дочь. И ведь к книге тянулся, Лермонтова страстно любил... Людей любил и труд. Там я пришел к некоторым выводам. Например? Самые большие люди на земле — это самые большие труженики.

* * *

Он увез с собой ее взгляд, полный доверия и кротости. Еще не осмеливался думать, что этот взгляд выражал нечто большее, но почему-то в глубине души затаились робкие надежды на счастье, которого он недостоин. Что это за чудо жизни —- случай? Два очень разных человека живут на земле, идут своими далеко расходящимися дорогами и вдруг встречаются взглядами на каком-то случайном перекрестке.

На пасху он снова увидит ее, вернется ненадолго сюда, сдаст потом последние в своей жизни экзамены, и непременно поедет к Н е й, чтоб встретиться уже не случайно...

И все же случай есть величайшая тайна сущего! Останься он пять лет назад в университете — не было бы в его жизни паровозной практики, дороги Бендеры — Галац, встреч с Даниловым, Григорьевым, Осинским и Поляковым, наверняка не состоялось бы это необыкновенное знакомство, потому что год назад уже бы кончил курс и судьба его сместилась бы совсем в иные сферы, давно текла бы руслом, совершенно непохожим на сегодняшние и завтрашние, а причиной теперешнего поворота послужил

редкий случай, казавшийся сейчас немного смешным от того, что фамилия профессора, определившего судьбу его, была Редкин.

Не только на юридическом, во всем Петербургском университете имя Петра Григорьевича Редкина студенты произносили с почтением и страхом. За ним числились большие заслуги на ниве русского просвещения, научные труды, долгие годы большой государственной службы. Учился он в Нежинской гимназии вместе с Гоголем и Кукольником, потом в Могилевском и Дерптском университетах, ездил за границу набираться ума у Гегеля и Савиньи, читал в Москве «Энциклопедию законоведения» и вот уже десять лет вел этот курс в Петербурге. Старик полагал, что важней его науки нет в мире ничего, преподносил ее с блеском, а на экзаменах был строг, раздражителен и придирчив, требуя от студентов, вконец обалдевших по весне, досконального знания своего пестрого энциклопедического курса.

Встреча с Редкиным произошла в силу непредвиденного случая, а вернее сказать, три цепляющиеся друг за друга случайности создали эту роковую ситуацию. Курс знаменитого профессора он, страшась слухов, исправно долбил полгода. Зная о пристрастиях Редкина, немало дней и ночей ломал голову над Гегелем и, продравшись через дебри профессорских толкований, кажется, понял, что право есть осуществление правды и справедливости через разум и свободу воли. Чуть не наизусть он помнил многие страницы лекций, не однажды, зажмурив глаза, вытаскивал наудачу экзаменационный билет и без запинки, радуясь, что он, вчерашний гимназист, может судить о правовых взглядах всех этих стоиков, киренаиков, эпикурейцев, декартов, Гегелей, Фейербахов и кантов — все, конечно, несколько перемешивалось в голове, притуманивалось похожестью слов и сближением понятий, но, немного подумав и, главное, зрительно представив книжный или рукописный текст,— начинал трещать, как сорока.

Оставалось три билета из семидесяти пяти. За какие-нибудь полчаса он бы отработал ответы на них, но подкатило невесть откуда странное состояние потаенного волнения ц неопределенных стремлений; ему вдруг захотелось выразить то, что он смутно чувствовал — вечную драму, царящую в жизни. Он был молод, здоров и счастлив, однако нестерпимая жалость к людям, страдающим вокруг, охватывала почему-то его, травила душу до слез,

искала выхода. А что, если бедный студент, доведенный до отчаяния нищетою, бросается из окна и насмерть разбивается о мостовую? Нет, это он не о себе — ему-то страстно хотелось жить и радоваться жизни, это он о другом, воображаемом студенте, которому нечем заплатить даже за чернила. И он заперся в своей комнатушке, чтоб не видеть хозяйку, требующую денег, не может выйти на улицу, потому что продал пиджак и выбросил вконец изношенные башмаки, не ел два дня. Он открывает окно, слышит звон пасхальных колоколов, вспоминает, как в раннем детстве, когда еще была жива мать, нечаянно разбивает тарелку с пасхой, и какая теперь разница — жить или не жить, если нет у него никого на свете, в котором он — лишний... Он прыгает на подоконник...

Рассказ с многословной сентиментальностью, размазанной на целую повесть, писался две недели. Почерк, испорченный торопливым конспектированием лекций, переписчица едва разобрала, а отдавая рукопись, обрадовала, сказав, что они с мамашей даже плакали, жалеючи этого бедного студента... Неужто он писатель? Тогда он — значительнее всей этой нарядной петербургской публики, высыпавшей с теплом на Дворцовую набережную! Она — прах, сытный корм для червей, а душа писателя будет вечно жить в его сочинении, напечатанном в журнале или книге.

В журнале, однако, «повесть» печатать отказались, и, огорченный, он тут же направился в университет, чтоб потолкаться среди студентов, сдающих экзамены,— развеяться, отвлечься, узнать о настроении Редкина и самых его каверзных вопросах. Писательский зуд, внезапно овладевший им,— был первой случайностью. Дальше — больше. Вначале он хотел сдавать в первой группе, чтобы пораньше уехать домой, но из-за потерянных попусту двух с лишним недель решил переписаться в последнюю. Увлеченный переживаниями да писаниями, забыл, однако, это сделать, что вызвало вторую случайность — едва он огляделся в экзаменационной аудитории, Редкин, проводив желчным резюме предыдущего студента, произнес его фамилию, приглашая взять билет. И вот, сомневаясь, что совершает правильный поступок, почему-то идет к столу. Риск, но ведь он свободно владеет материалом по энциклопедии законоведения, не выучил всего лишь трех последних билетов. Последняя нелепая случайность уже поразила его — семьдесят третий лист! Первый из трех, оставших-

ся недоработанными! И ему бы сразу сознаться в том, что он случайно не знает этого билета, но недостало смелости. Предчувствуя неминуемый позор, он в бессильной тоске просидел полчаса, чтоб потом пролепетать Редкину свои жалкие оправдания. Профессор грубо и раздраженно оборвал объяснения, что-то разбрюзжался о потерянном времени. Пришлось сказать, что на любой другой билет он может отвечать без подготовки. Редкин, обжигая его взглядом из-под седых бровей, разрешил выбрать новый лист. Слава богу, восемнадцатый, киренаики. «Основатель этой философской школы Аристипп из Кирены отказывался от всяких попыток познать законы природы и жизни, полагая, что истины не существует,— начал он, словно увидев страницу лекций.— Исповедовал этическое учение, именуемое гедонизмом...»

Говорил он быстро, ясно, слова полились свободно, легко, но профессор почему-то перебил его дважды, и он решился настоять на своем праве договорить до конца по билету, а потом уже ответить на замечания... Признание за истину ощущений, наслаждений, жизнь чувств. Скептические воззрения. Гегесий и другие последователи Аристиппа...

Редкин, давно мечтавший, по слухам, о ректорстве, задумчиво смотрел в сторону, а потом очнулся, сказав, что тоже имеет некоторые права и непременно воспользуется ими — задаст еще три вопроса. Что такое право в объективном смысле? Право в субъективном смысле? Потемнело в глазах — это были вопросы из семьдесят третьего билета! Профессор жег его взглядом, а он молчал, побледнев от бессильного гнева и жестокой несправедливости. И ведь никогда в жизни и ничего он так старательно не учил, как эту проклятую энциклопедию.

Единица! Противная жирная единица против его фамилии. Прекрасная единица, потому что он в тот же день, подчинившись, как всегда, мгновенному порыву, твердо решил не оставаться в университете и не ехать домой, готовиться все лето к поступлению в институт путей сообщения. Почему именно в этот институт? Да будь она проклята, юриспруденция, все эти философские школы и подшколы, туманные абсолюты, детерминизмы и прочая! Точные науки дают конкретные знания, строгие формулы не терпят разнотолков. И пусть на железных дорогах, которыми начали покрываться русские просторы, он станет обыкновенным ремесленником, зато будет кормиться не словесными упражнениями, а делом.

Штудировать гимназические учебники было удовольствием — оживали воспоминания и легко восстанавливались в памяти биномы и логарифмы, синусы, косинусы и тангенсы. На вступительных экзаменах он вышел вторым, что окончательно утешило его оскорбленное самолюбие. И замелькали незаметно годы, как мелькают они только в молодости. Институтские будни отличались большей наполненностью, тесным студенческим общением. Университет пустел с последней лекцией, а тут по вечерам в специальных кабинетах, чертежных комнатах и библиотеке толпился молодой народ — наивные первокурсники, трясущиеся перед каждым экзаменом, юноши, постепенно обретающие уверенность после практических работ, солидные выпускники, уже мнящие себя инженерами. Мимолетная дружба, пустяковые ссоры, непрочные объединения, бестолковые диспуты, пылкие увлечения, бездарные будние кутежи — все было, как положено тому быть. Путейские студенты, как он заметил, будучи ординарными в массе своей, разделялись на два основных направления — «красных» и «охолощенных». Последние были добропорядочными фатами, которых совершенно не затрагивали умственные брожения. Они с шиком носили узенькие брючки, пенсне на шнурочках, в карманах коротких курток держали протабашницы. А он, с гимназических лет числя себя «красным», отошел к середине курса от мальчишеских фантазий, к фатам тоже не пристал и уже никуда не относил свое, как ему казалось, окончательное понимание вещей — просто хотел быть независимым в толпе, свободным от пристрастий и предубеждений. Учился, как большинство,— ни хорошо, ни плохо, страдая от чрезмерной сложности «начерталки» и других математических ответвлений; профессора покрывали многоэтажными формулами огромную доску, зарывались в бездну бесконечно малых и больших величин, студенческие головы трещали от всей этой тарабарской цифири, по сравнению с которой лекции Редкина выглядели детскими сказками...

И вот он заканчивает все исследования так хорошо, счастливо. Спасибо профессору Редкину! Как ему там кумирствуется? В студенческих компаниях бывают университетские, и поговаривают, будто Редкин совсем сдал — два года назад оставил ректорский пост, начал на кафедре забалтываться, собирается будто бы в отставку. Он заслужил это право. Опять п р а в о ? Что лее оно такое — не по абстрактным понятиям Редкина, исходящим из идеа-

лов, выработанных задолго до него, а по билетам, выпадающим в жизни, по личному опыту и наблюдениям? Все эти годы знаменитый профессор нет-нет да вспоминался, и поговорить бы с ним сейчас! Сможет он теоретически объяснить, например, объективный и субъективный смысл принципа, провозглашенного Бисмарком: сила впереди права? Это выражение немецкого канцлера, встреченное однажды в какой-то газете, поразило своей неприкрытой циничностью и подтвердилось реальным течением больших событий. А на дороге Бендеры — Галац он услышал из уст Осинского еще одно простое толкование сложного юридического понятия — п р а в о д а ю т д е н ь г и. Да, Полякову деньги давали там все права — вплоть до сознательного и безнаказанного унижения начинающего инженера. Какая, однако, тварь! А Редкин будет вспоминаться и потом, спустя многие годы, когда противоречия юридической его науки с жизнью дадут основания для нового вывода — в л а с т ь в ы ш е п р а в а, хотя, по существу, такое заключение можно было сделать еще при первой и последней их встрече, той памятной весною и в тот час, который дал профессору право ощутить в своих руках беспомощно трепыхающегося студента. Позже, через душевные муки, тяжкую борьбу и горькие разочарования, он все же уверует в коренные, неоспоримые права таланта и человечности, противостоящие деньгам, силе и власти, но будет уже поздно...

Итак, пусть профессора-теоретики уходят в почетную отставку, а мы, провалившиеся практики, начинаем!

Скоро пасха, и скорей туда, где нас любят и ждут.

Но ждет ли его о н а ?

* * *

Всю осень 1877 года Валуев был, как он иронически себя называл, «со-правителем» — заседал в Правительствующем регентском совете, созданном на время отсутствия в Петербурге царя. Только не работалось на колеблющейся почве и при загадках, которыми была преисполнена будущность. Валуев высиживал свои часы в совете, страдая и нетерпеливо поглядывая на часы — все его мысли были за Дунаем и Кавказом. В дневник писалось мало, случайно, и когда ожидание известий из-под Плевны сделалось нестерпимым, он сформулировал вывод, к которому давно шел: «Я считаю нынешнюю Российскую империю фактически обре-

ценной на органическое изменение, быть может, даже на изменение с насильственным решением». Спокойствие и точность выражения вполне удовлетворили его, но в дневник он эту запись не перенес, потому что назавтра пришла долгожданная весть о взятии Плевны. Валуев обрадовался не меньше других, но беспрестанно точилась неотвязная мысль о том, что прежде чем овладеть этой ключевой крепостью, главные действующие лица сами создали ее, а полгода пробывший на театре военных действий и с торжеством возвратившийся в Петербург самодержец отнюдь не должен считать себя триумфатором. «Я ли болен или другие больны?» — спрашивал себя Валуев в дневнике, наблюдая, как благодарственные молебствия и пышные дворцовые церемонии вуалируют очевидное,— черная дурная кровь растекается по государственному организму, питая революционную заразу.

Он хорошо помнил давний процесс нечаевцев, по которому было наказано больше тридцати преступников, запятнавших себя кровью своего же товарища. Весною этого тяжкого года вместе с Алексеевым на скамье подсудимых сидело уже полсотни социалистов, а теперь в особом присутствии сената на фоне усыпительных победных реляций из Болгарии и Малой Азии разбиралось новое большое дело с привлечением почти двухсот человек. Валуев с горькой иронией усмехался, живо представляя в воображении пятый или десятый процесс, на котором для подсудимых уже не хватит скамей. Придется занимать ими зал, а судей и публику размещать на места, предназначенные для преступников. Он даже невольно содрогнулся этой дикой картине.

Накануне взятия Плевны Валуеву сообщили о громком скандале на процессе. Один из преступников произнес речь, полную таких резких противуправительственных заклинаний, что судьи удалили его, однако адвокаты потребовали составления протокола о будто бы неправильном распоряжении суда. Нет, такие массовые процессы служат лишь для распространения и поощрения пропаганды! Он, Валуев, поступал в свое время тоньше. Где сейчас Чернышевский? И не вспоминает никто, хотя некоему Мышкину, произнесшему свою развязную речь, будто бы вменяется в вину, кроме прочего, попытка организовать побег Чернышевского из Вилюйска. Да на что он годен теперь, Чернышевский, ежели и сбежит каким-то чудом? Однако эти социалисты могут быть необыкновенно живучими.

Летом в Петербурге объявился Шелгунов. Валуев в свое время аккуратно и тихо обставил его не слишком, конечно, доказанное дело, даже срок высылки Шелгунова в вологодскую глухомань предусмотрительно не был определен. Жена его, помнится, лет десять назад просила Валуева перевести мужа в другую губернию, и он милостиво назначил костромскую Ветлугу, еще более удаленную от железной дороги, но Шелгунов понял, не поехал, и вот через пятнадцать без малого лет он с ведома Тимашева оказался в столице, так и не отучившись пописывать в журнальчики.

Тимашев считает, что лучше, ежели будет на глазах, только Валуев предупредил своего преемника, чтоб этого опасного поднадзорного ни под каким видом не отпускали за границу, где он может сделаться вторым Герценым, к которому в свое время ездил вместе с женою.

А жены всех этих крамольников вызывали у Валуева непреходящее омерзение. Он отказывался принимать их мораль, представляющую собою другую крайность по сравнению с супружескими отношениями декабристов, осиянных вместе со своими верными подругами мученическим ореолом, изрядно потускневшим от беспощадного времени. Что-то недоступное валуевским понятиям было в том, как складывались личные отношения у Герцена и Огарева, Некрасова и Панаева, Шелгунова и его друга Михайлова, давно, правда, сгоревшего в чахотке на рудниках. А что же будет, думал временами Валуев, если подобные люди сумеют через какие-то сроки добиться своего — нет, не осуществления идей, безусловно химерических, а первоначальных целей?..

Валуев почти осязаемо чувствовал, что придет неотвратимое, бороться с которым он уже не мог, как не мог бороться с собственным бессилием и неверием.

«12 декабря.— Сегодня праздновалось столетие со дня рождения императора Александра 1-го...

...Праздник не оставил во мне впечатления силы и прочности. На расшатанной и колеблющейся почве были расставлены юбилейные декорации.

Можно ли быть пассивнее и нейтральнее меня в настоящую пору? То и другое,— конечно, помимо моей воли.— Когда-нибудь, после меня, прочтут эти строки.— Могут ли они в то время быть каким-нибудь назиданием? Для чего пишу я их? Разве для того, чтобы свидетельствовать о моей искренности.— Я чувствую свое бес-

силие и признаю свое унижение. Большинство не замечает ни того, ни другого; но что мне до большинства? — Я ростом высок, приемами приличен, держу себя прямо, говорю без запинки, состою министром, ношу голубую ленту и пользуюсь некоторым влиянием в деле назначения аренд.— Все это походит на значение. Но я знаю, что этого значения нет или, точнее, что я имею только отрицательное значение... Я осушаю болота, развожу леса, улучшаю горную часть и пр.— Но при первом шаге на поприще общих дел государства — я величина с отрицательным знаком, и только могу служить тормозом для других».

А вскоре Валуев понял, что не верит больше государю и не верит в него, удивившись не самому неверию, а равнодушию, с каким он это неверие в себе обнаружил. Вспоминалось, сколько душевных сил потратил он три года назад, когда впервые получил неоспоримые доказательства личной нечестности государя, который пообещал тогда выдать концессию на Муромскую дорогу княгине Гагариной в знак своего расположения к ней, с ущемлением интересов казны и дела. Невольно сделавшись свидетелем этого явного беззакония, он до сего дня помнил укоризненный взгляд военного министра Милютина и тягостный разговор с ним, начатый Валуевым ошибочно, при полной незащищенности.

— Понимаю вас, Петр Александрович, карают каждого опального чиновника за недочет копейки, теребят мое ведомство за рублевые перерасходы, а тут миллионы!

— Известно...

— А известно ли вам, уважаемый Петр Александрович, почему Мальцев получил преимущественный заказ на подвижной состав?

Валуев пожал плечами, хотя отлично знал, что в обмен на этот доходный заказ именитый заводчик письменно обязался ежегодно выплачивать большую сумму своей жене, переселившейся от мужа в Петербург и ставшей близкой приятельницей императрицы.

— Известно,— безжалостно продолжал Милютин.— И что это было приказанием государя уволенному ныне министру путей сообщения Бобринскому, тоже известно... Эх, Россия! — Милютин круто повернулся и ушел непридворным, почти строевым шагом, а Валуев остался стоять — прямой, строгий, невозмутимый и холодный с виду, но не такой по своему истинному состоянию и совсем другой,

чем был вчера, когда не знал еще, что человек, представляющий волею бога сто миллионов людей, может так пошло поступать. Все это живо припомнилось 19 декабря 1877 года во дворце после доклада государю, откуда он ушел полный духовной немощи.

Государь рассказал Валуеву, что после 30 августа главнокомандующий и большинство генералов хотели отступить от Плевны, а он будто бы с самого начала высказывался за то, чтобы держаться. Однако Валуеву-то было доподлинно известно, как все там обстояло в день именин государя! «Отхода за Дунай Россия никогда бы нам не простила»,— выспренне добавил государь и быстро отвел глаза от министра,будто поняв, что Валуев обо всем знает и стыдится его лжи.

Только Валуеву не было уже стыдно — это чувство, как и все другие, словно отмирало в нем. На другой день он сделал в дневнике сухую и поспешную запись об этом докладе, а потом более недели не находил в себе сил ни приступить по-настоящему к работе, ни привычно раскрыть дома тетрадь. Он был в таком настроении, что даже не отметил громкой победы на Шипке. На исходе канувшего вЛету года он перечислил все победы, отметив, однако, что, несмотря на это, политический горизонт хмурится...

И Валуев не знал еще, что в наступающем году он заполнит лишь несколько страничек тетради, думая сбивчиво, формулируя неточно, записывая торопливо, будто выполняя надоевший урок.

ккк

Михайловский в городе почти не бывал. Бесконечное болгарское лето дожигало траву в окрестностях Бургаса, сине-сизая кромка моря полыхала под солнцем. Пыль скрипела на зубах, першило в горле. Михайловский целый день мотался вдоль трассы, и даже кофе в обед пил, не слезая с седла. Накануне армейский адъютант приезжал, привез предписание об изменении всех сроков, и дорогу, точное направление которой еще не было выбрано, начали с вечера отсыпать.

Утром Михайловский зачислил на работу первых турок. Несколько дней эти двое — старик и юноша — торчали возле палатки, встречали и провожали его взглядами. Денщик сказал, что вырывают ведра и сами таскают колодезную воду для коней и стола. Михайловский утром вни-

мательно посмотрел на них, очень похожих друг на друга — впалые груди, худые лица с одинаковыми огромными глазами, совершенно черные руки. Спросил, кто они такие и почему не уезжают в Турцию. Старик ответил по-болгарски, что они к а л а й д ж и и — лудильщики котлов, но из-за войны спрос на посуду для очистки и хранения розового масла упал, ехать им не на что, что у него двенадцать детей, помогает только старший сын, а работы нигде нет.

Неспокойной и неопределенной жизнью жил освобожденный Бургас. Болгары не верили, что войне на этом конец и турки не вернутся, если уйдет русская армия. Сбивались отряды вооруженной молодежи, называвшей себя с о к о л а м и . Михайловский однажды увидел на пустыре их маневры со стрельбой и захватом траншеи. Они тоже заметили его, побросали ружья, стащили с коня и начали подкидывать в воздух, скандируя: «Една — се дума — чуй сега — един стон — един глас — Русия!» Он потерялся, не зная, как себя держать, а они белозубо счастливо улыбались вокруг, совсем сопливые мальчишки, гимназистики...

А однажды он заехал в болгарскую деревню, где встретился с настороженностью и недоверием. Молодых парней он там совсем не заметил, зато увидел девушек. Офицеры говорили, что среди болгарок немало писаных красавиц, но то, что открылось ему на пятачке посреди села, было скорее волшебным видением, чем реальностью. Высокие, статные, с горделиво посаженными головами, в ярких нарядах, девушки-красавицы вели сложный хоровод и пели нежными голосами, а вокруг стояли только старики и дети. Виденье мгновенно исчезло, когда болгары заметили военного на лошади, и деревня опустела, будто вымерла вдруг. Он заехал туда, чтоб расспросить о местных строительных материалах, а для начала заказать камышовых снопов на барачную крышу. Старики говорили неохотно, хотя и согласились поставить камыш и задаток взяли франками; попутно предупредили, чтоб к туркам не ездил — могут зарезать — и чтоб денег с собой не возил. Он потом не раз бывал в этом селе с тайной надеждой увидеть еще раз девичий праздник, но не выпало больше такой радости. Михайловский догадывался, что вековой горький опыт заставил болгар беречься всего, и соглашался,

чтоб оно так и было с самым дорогим сокровищем этого народа-великомученика, который произведет на свет через поколенье новое, сильное и свободное племя...

А работы шли беспорядочно и неторопливо, с какой-то совсем не военной халатностью — явно сказывалась атмосфера, царящая в порту и армии. Война с ее кровью и грязью позади, кампания завершилась большой и славной победой, войска отправлялись по домам, но большей частью ждали своей очереди к отправке, потому что дороги, портовые сооружения и флот не были готовы к внезапной и чрезмерной нагрузке. Офицеры, обремененные наградами и деньгами, счастливые тем, что не остались лежать навечно в Родопских или Балканских горах, напропалую кутили, отгораживаясь хмелем от настоящего и не задумываясь о будущем, хотя у многих из них было впереди увольнение в запас и лишение армейского содержания. Беспробудное пьянство в бургасском ресторанчике захватило и тех, кто швырял гарсону, может статься, последний рубль. В городе наспех сколотили огромный деревянный амбар, в котором открылся кафешантан с потасканными немками, француженками и румынками. Михайловского затащил туда однажды его старший офицер, напоил до бесчувствия и враз отучил от этого удовольствия — было и стыдно за недавних героев, которые пошло куражились и бузотерили, иногда пускались во все тяжкие, чтоб раздобыть денег, стреляли в себя и друг в друга.

На саперные работы в порту и его окрестностях командование отпустило миллион франков. Эти очень немалые средства находились в бесконтрольном распоряжении офицеров, руководителей дела, и какая-нибудь пустая бумажка с болгарскими или турецкими каракулями нередко служила полным оправданием любого расхода. Для начала старший офицер показал Михайловскому один такой «документ» — грязный листочек с обозначением суммы в пятьдесят тысяч франков. «Тут же ничего не разобрать? — удивился вчерашний студент, разглядывая кривые письмена под текстом расписки.— И пятьдесят тысяч».— «Видите, нам срочно нужен лес для строительства высоких причалов, чтоб грузить артиллерию и обоз. Я честно заплатил эти деньги, но мог бы написать и сто тысяч. Братушка получил звонкую монету, и ему неинтересно, что я написал, а я, в свою очередь, не знаю, что он тут накорябал». И дальше состоялся разговор, еще больше поразивший Михайловского. «Вот вам десять тысяч на первый раз,

и поезжайте».— «А где я буду хранить такую сумму?» — «В палатке в сундуке».— украдут?» — «Составите расписку — бол рин подпишет». Михайловский предупредил, что расписки составлять не будет, а пустит себе пулю в лоб.

Порт заполнили подозрительные личности — контрабандисты, спекулянты, калайджии, перекупщики розового масла, шулера, разноплеменные представительницы самого древнего ремесла, съехавшиеся сюда на легкие заработки.

Турки толпами уезжали из страны: богатые — с дорогими коврами, серебряной утварью, с угрозами и проклятьями напоследок, и голытьба — с жалким своим скарбом, козами, бесчисленными ребятишками и молчаньем, скорбным уделом всех бедняков.

К своему удивлению, однако, Михайловский заметил, что чем больше турок уезжало, тем будто бы больше оставалось; мусульманское население укоренилось тут за века, держалось своими деревнями и вроссыпь — по городам, портам, приморским поселкам. Видно было, что без найма этой дешевой рабочей силы не обойтись — события и сроки поджимали.

К вечеру он прискакал на отсыпку. Вереница черных буйволов, запряженных в тяжелые телеги, тянулась за косогор. Большая артель болгар, в которую он послал турок, перекидывала грунт лопатами. Что за дьявольщина! Михайловский в гневе соскочил с седла, бросился к подрядчику. Краснобородый верзила в рубахе с подпояской пил чай под брезентовым тентом. Михайловскому сказали, что за этим мужланом надо глаз да глаз — он битком набил карманы на каких-то поставках армии и наверняка попытается еще хапнуть, взявшись за этот подряд. Заслышав крики, рабочие устало оперлись на черенки лопат, начали смотреть в их сторону, двое турок поодаль продолжали копать, не разгибаясь.

Дело предстало тогда именно грязью.

— Какая грязь? Нешто это, кипит твое молоко, грязь?— простовато выкатывая глаза и разводя руками, вопрошал подрядчик.— Камушки с песочком.

Михайловский заметил, однако, что он внимательно рассматривает его, прощупывает глазом. Копнул ямку в грунте, вылил туда фляжку воды, замесил руками и поднес к носу подрядчика горсть липкой грязи. «Вы будете настаивать, что это камушки с песком?»—«Дак сухмень жа, по энтой местности, болгаре бают, дождику не бывать до холодов».

— Так что из сего следует?

— Войско переедет, господин инженер, а там — трава не расти.

— Ах вон вы как! — Михайловский окончательно рассвирепел.

— А да так,— умненько скривился подрядчик,— каб на Расею, а то на чужих, кипит твое молоко, капиталы тратим.

Михайловский даже задохнулся от гнева, слова не мог выговорить.

— А еще турков вы прислали,— протянул подрядчик,— я их не должон бы нанимать без надобности, взял, чтоб вашей милости потрафить.

Нет, каков мерзавец!

— А на другом грунту задержим возку, по головке вас не погладят,— опять потянул подрядчик, уже с тревогой присматриваясь к молчавшему инженеру.

— Ну вот что, сударь,— сказал Михайловский, заставляя себя успокоиться, поняв, что этого прохвоста надо прижать попроще и порешительней.— Вам известно, что по техническим условиям сюда идет щебень.

— Какие такие условия? — придурковато развел руками подрядчик.— Условия ваши и условия наши сойтиться могут...

— И разве я не знаю, сколько вы за кубическую сажень с казны получили!

— Вот это по-нашему,— разулыбался подрядчик, с прищуром разглядывая инженера, будто видел его насквозь.— Это по-русски...

— Как вас понять? — спросил Михайловский.

— Не обидим, не бойсь,— понизил тот голос.— Что положено, то твое, господин инженер.

— Мерзавец! — вскричал Михайловский, слепо шаря руками трамбовку; потом он вспомнил, что оставил в палатке револьвер.— Застрелю!

Подрядчика словно сдуло с места, саженными прыжками он удирал за косогор.

Ночью начали возить щебень издалека, а утром Михайловский рядился собрать с округи всех буйволов, лошадей и мулов, разбил возчиков — болгар и турок — по котлам, через десятников назначил приплату за каждую лишнюю ездку. Подрядчик весь день маячил поодаль, а вечером появился у палатки, рванул на груди косоворотку: «Приполз я, стреляй!» — «Нет, сударь, стрелять я вас не

стану, заставлю работать как надо».— «Благодарствую за науку»,— «Благодарите за другое — я-то вас от смерти спас».— «Ась?» — «Нас бы Скобелев повесил, если б дорогу распустило». — «Авось дождику не было б». — «Опять?!» — «Молчу, молчу, ваша милость».

А вскоре последовало новое задание, и Михайловский удивился, что столь срочное дело поручили ему, совсем еще неопытному инженеру.

Вдоль Бургасского залива настоятельно и безотлагательно требовалась дорога с мостом через озерный проток и подсобным причалом. Палатку Михайловский поставил в живописной безлюдной бухте Чингелес-Искелессе. Слева город виднелся, вправо открылась бирюзовая гладь просторного залива, сзади, за небольшой террасой, зеленая долина сужалась, а сбоку к площадке подступала крутая скалистая гора,— на далеком и высоком ее продолженье вправо стоял над морем маленький белоснежный монастырь, и вечерами оттуда плыл тихий колокольный звон.

Днем было невыносимо жарко на безветрии и от скал струилось тепло. Михайловский, намечая направление дороги, то и дело окунался в море. Вода тут была куда мягче и теплей, чем в Одессе, все краски ярче и контрастней. Этот чарующий уголок он полюбил с первого взгляда, досадуя, что приходится нарушать его девственную прелесть. Через несколько дней в бухте закипела жизнь. Михайловскому передали резервный батальон во главе с молодым расторопным унтер-офицером. Появилась надежда, что он не провалит с позором задание, только надо бы солдат предупредить.

— Ребята! — сказал он перед строем.— Дело у нас особой срочности. Посему — шабаш с потемками, побудка — с рассветом.

Михайловский от всей души сочувствовал солдатам, которые переминались в строю под бременем амуниции.

— Есть несогласные?

Рота молчала, щурилась на солнце, изнывая от жажды и духоты; ноги у них, видно, огнем горели в прелых портянках и тяжелых запыленных сапогах.

— Купаться три раза в день по получасу. Согласны?

— Так точно, ваше благородие! — обрадовались солдаты.

— С этого и начнем, благословись.

— Ура-а-а!

После купания батальон сразу же взялся сверлить, рвать и долбить скальный мыс под крики, ругань, гогот и песни. Михайловский подумал, что шум этот распугает зверье на горе, но нет, шакалы всю ночь противно выли, мешали спать. И еще мысли дневные путались: надо скорей лес закупать для моста, причала, офицерских и солдатских бараков; охотников, если найдутся, послать на гору — там козы, фазаны, дикие свиньи,— пусть настреляют для котла, довольны будут, а с довольных спросить легче. Дробный камень с мыса на дорогу пойдет, и все галечные места побережья следует завтра же учесть, и непременно рабочую силу кликать, иначе не успеть к подходу первой дивизии...

Подрядчик встретил его радушно, цуечкой пробовал попотчевать, но Михайловский только черного чая турецкой заварки отведал. Дела тут шли ладом, солдаты-саперы хорошо помогали, и подрядчик, разгоряченный цуйкой, рассыпался в любезностях.

— Благодарствую за науку, не знаю, как благодарствую! Обязан... А про тебя тут, кипит твое молоко, разговор слыхал через полковника. Молодой, байт, да из ранних...

— Ладно, ладно. Я у вас тех турок заберу?

— Жалко. Работают, ровно как буйволы, безответно.

— Они мне очень нужны. И это будет ваша благодарность.

— Ну уж если так,— развел руками подрядчик,— кипит твое молоко! — уважу. Бери, грабь.

Михайловский сказал отцу и сыну, чтоб они сами, их родичи и знакомые да и все, кто желает немедля заработать, прибивались берегом и водой в бухту Чингелес-Искелессе. Турки согласно закивали головами, и в тот же день причалило несколько лодок с рабочими. На взрывы, на барабанную солдатскую побудку, на добрый слух, что молодой русский офицер в бухте нанимает без подрядчика и платит каждые три дня золотыми франками, народ повалил толпами даже из дальних сел, турки и болгары. Дело как-то сразу стало заметным — щебеночная, хорошо утрамбованная дорога тянулась от мыса к палатке и дальше, к протоку, а за крутым огибом тачечники и возчики взялись уже отсыпать, направляя полотно по колышкам к подошве горы, которую венчали звонкие купола.

Потом приключилась беда и приплыл полковник, руководитель всех портовых работ. Конечно, Михайловский был

виноват, что позволил солдатам тратить динамит не по назначению. Вернее, он-то напрямую не разрешал, но когда унтер принес ему свежей рыбы, широкоспинной, с жирными боками, и сказал, что солдаты добывают ее в озере, Михайловский отвернулся, будто не расслышал: хотелось побаловать ребят, им доставалось на скале. Он тоже попробовал той рыбы, вкусно приготовленной денщиком. Так и пошло, только Михайловский приказал денщику больше не принимать рыбы, и эта, быть может, излишняя щепетильность оказалась совсем не лишней. Однажды ночью его всполошенно разбудил унтер: «Беда!»— «Что такое?» — «Не знаю. Они сегодня за рыбой ходили и, наверно, переели. Один кончается, двоих треплет». Тут же распорядился послать в Бургас лодку за фельдшером, а сам быстро оделся и побежал к больным. Их колотило, словно подкидывало снизу, а один уже холодел.

— Ничего-о-о, ваше благородье! — крикнул еще раз солдат, и Михайловский вышел наружу, а унтер безнадежно бормотнул: «Какой там ничего».

Дольше своих собратьев по несчастью сопротивлялся смерти белокурый солдат-богатырь, ротный правофланговый. Он даже попытался встать, когда Михайловский зашел в дощатую пристройку, куда при свете керосиновых фонарей перенесли больных, но его сдержали товарищи, и он только бессильно улыбнулся. «Ничего, ничего, братец!» — попробовал успокоить его Михайловский. «Вот и я говорю им — ничего!» — внятно еще отозвался тот. «А они держут, когда меня лихоманка трясет. Пустите, ну!» — «Ничего!»

Михайловский не встречал раньше людей с таким непомерным разворотом груди, столь совершенным сложением и залюбовался им у скалы, когда солдат этот бурил камень ручным сверлом. Он был бос и без рубахи, в закатанных по колени, замызганных солдатских штанах. Скрипел коловорот и крошился камень, играли, бугрились мускулы на спине, груди, торсе, ногах и руках — можно было лепить с него скульптуру Геркулеса. Казалось, нажми он чуть посильней — и скала сдвинется. По спине у солдата бороздились рваные параллельные шрамы, и унтер подсказал, что это его, верно, ломал медведь — парень был откуда-то из-под Томска родом. А через два дня правофланговый приволок с горы здоровенного кабана, Михайловский даже и приподнять не мог этот трофей. Ах, жалко парня!

К обеду умер белокурый гигант. Приехавший на рассвете фельдшер собрал всех, кто ел вечером рыбу, дал рвотное, а кому не помогла ни касторка, ни молоко, ни таблетки, тех посыпали карболкой, завернули в брезент и увезли в порт хоронить. Фельдшер сказал, что из озера ни рыбу есть, ни воду пить нельзя — туда во время недавней эпидемии тифа бросали трупы, и рыба эта жирела будто бы на разлагающемся человеческом мясе.

Полковник прибыл, старый, усталый и злой, пренебрежительно махнул рукой на козырянье Михайловского, мрачно обошел заготовленный лес и протоку, огиб, отсыпку, бросил взгляд на бухту. Бледный растерянный Михайловский следовал сзади. «Сколько же у вас тут людей работает?» — «Солдат сто двадцать, турок пятьсот тридцать, болгар...» — «Всего?» — нетерпеливо оборвал полковник. «Более тысячи». Полковник впервые взглянул на него, раскрасневшийся вдруг, и недоверчиво покачал головой. «Да, да, тысяча семьде...» — «А вы, ваше благородие,— язвительно перебил гость.— Вы эту рыбу тоже ели?» — «Пробовал»,— пролепетал Михайловский, снова бледнея.

Полковник ковырял носком лакированного сапога дорожный откос, о чем-то размышлял. «Ладно, людей не вернешь, помалкивайте только. И солдат предупредите. Да выдайте им сегодня же денег на штаны. Спишите на какие-нибудь там доски. Что?! Не в ваших правилах? Ишь, цаца! Ну, ну, не горячитесь, я сам выпишу, а то пропьете тут больше... И вот что, ваше благородие: пошабашите в срок — представлю к ордену».— «Но мост...» — начал Михайловский. «В том то и дело, что мост, иначе и п р о с и т ь в а с не стал бы!» Снисходительно взмахнув рукой над плечом, он прыгнул в лодку, и солдаты дружно ударили веслами. Михайловский стоял у берега навытяжку, смотрел на весельные круги, на расходящийся по воде лодочный след и думал, что он никак не управится с шоссе и мостом через Мандру — проток был глубоким, быстрым, главный пролет требовал минимум двух свайных стояков на заболоченной неудоби, а мостовых работ он сроду не видывал даже, и вся надежда теперь на солдат, которые уж наверное где-нибудь да били сваи, плели бревенчатые стояки, стлали лежни для обоза и конной артиллерии.

Блоки и канаты для свайных работ нашлись, чушку можно оковать и нагрузить железом либо еще лучше — залить свинцом ствол разбитой мортиры, совсем не было скоб, хомутных и болтовых стяжек. Михайловский по-

слал три турецкие подводы и верхового солдата, они привезли древесного угля и кузню с мехами, наковальню со всем инструментом. Переплавили на барже «Добровольного флота» прекрасное тянутое железо немецкой выделки — его обнаружили в портовых складах хозяина и взяли задаром, потому что этого товара найти не удалось. Лучших плотников — солдат и болгар — Михайловский снял с бараков, бросил на мост. С протока теперь слышался перестук топоров, и весь берег там вскоре забелел щепой.

«Ах, жаль того сибирского солдата. Как топорик в его руках играл!» Однажды Михайловский увидел необыкновенное зрелище и не поверил своим глазам — солдат в широком кругу товарищей жонглировал тремя топорами. Это было захватывающее, красивое и страшное зрелище. Сильные, ухватистые руки солдата действовали с какими-то неуловимыми вывертами, топорища будто сами шлепались в ладони, лезвия сверкали на солнце, выписывая переломистые и одновременно округлые кренделя перед лицом жонглера и выше, мелькали между рук, и казалось, вот-вот сорвется что-нибудь в этом жутком номере, в мгновение ока располовинит солдату голову. А он азартно подпрыгивал, смеялся, дурачился, будто бы увертываясь от разящего острия тяжелого топора. И так легко и озорно у него это получалось, что Михайловскому даже самому захотелось попробовать, только солдат не позволил: «Нельзя, порубитесь, однако, ваше благородье! *Я* долго на тяжелых березовых чурках учился».— «Но зачем?»— «А для потехи,— кротко улыбнулся солдат.— Чтоб парни боялись, девки любили!» — «Ну и ну!» — сказал Михайловский, подумав вдруг о том, что неужто и там, в глубине Азии, та же Россия с такими же людьми? «А еще я коня валю один, за хвост и гриву. Показать?» — «Да верю, верю, только зачем вы это?»

И как все же нелепо оборвалась эта красивая жизнь! Да, правофланговый сейчас сгодился бы.

Неделя оставалась до подхода дивизии. Нашлись охотники из болгар работать на мосту за двойную цену по ночам, при свете костров, да только болгары мусульманской веры невозможно подвели. Днем представители турок и болгар явились отпрашиваться на празднование байрама. «Никак не могу,— извинительно сказал он.— Через пять дней мы должны завершить тут все работы». — «Уйдем!»— уперлись турки. Михайловский решился поставить в казармы турецких рабочих вооруженную охрану, но не мог этого

сделать в отношении болгар, потому что уж больно бы дико это выглядело и нетактично — освободители держат под стражей освобожденных. Правда, болгары пообещали, что они не уйдут... О чем братушки кричали-спорили весь вечер в своих бараках, Михайловский не понял, только все они, включая ночных плотников, тихо ушли среди ночи, разбрелись по селам, и стало ясно: теперь-то уж дивизия, наверное, застрянет перед Мандрой, а он с позором провалит первое в своей жизни д е л о .

Солдаты-плотники согласились поработать ночами, только в голос заявили, что «все одно не сделать энту работу, с болгарами, хучь без них». Михайловский был с ними в первую ночь. Жалкую заготовку на стояки отесали и опилили, скипятили чаю, и он с ними тут же прилег у кострища на пышную сухую стружку, забылся. В ушах звенели пилы, не то шакалий вой, не то звон колокольный, не то взлетающие топоры над головой сверкали, потом привиделся совсем готовый мост, и по нему уже пошли орудия с толстыми стволами. На переднем лафете лежит будто бы правофланговый в новых штанах, с железным Георгиевским крестиком на груди, мост прогибается под ним, и принырывает баржа посреди протока... Михайловский вскочил, сонливость отлетела.

Не надо двух, самых работных стояков! Нет нужды бить сваи! Он видел в порту притонувшие баржи, что давно, знать, стояли там и уже начали гнить, почти не держались на плаву, но сюда сгодятся. Михайловский купит их, если объявится владелец, а то так возьмет, отбуксирует сюда и посунет рядком в проток. Потребуется всего два примерно трехсаженных стояка, на сухих склонах — это пустяк, бревенчатые саженные клети на баржах да мостовой настил, что еще пустяшнее.

Рассветало. Михайловский нетерпеливо разделся, с длинной тонкой жердью заплыл на середину протока, промерил глубину. Солдаты уже проснулись, курили и кашляли. Он радостно объявил им, что мост будет готов через три дня. «Никак нет, ваше благородие,— возразил пожилой усатый солдат.— Сил таких немае».

На четвертый день, когда Михайловский явился к полковнику, тот нехотя оторвался от каких-то бумаг и принялся с омерзением рассматривать помятое серое лицо молодого офицерика, темные обводья глаз. «Не спали ночь, ваше благородие?» — «Не спал»,— подтвердил Михайловский. «Кафешантан?» — «Не совсем».— «Тогда карты,—

решил полковник, увидев, что Михайловского почти что шатает.— На вас же лица нет. Проигрались в дым, ваше благородие? А с мостом, с мостом-то как?» — «Готов»,— сказал Михайловский, не в силах удержаться от улыбки. «Что-о-о?! — вскочил полковник.— Шутить изволите?»

Они прискакали верхами в бухту. Полковник, все еще не веря в чудо, проехал по мосту, осмотрел стояки, баржи... «Солдаты где?» — «Спят».— «Пускай спят. Я им сейчас водки пришлю и молодого буйвола на закуску».— «Я тоже намеревался это сделать, жалованье мне девать некуда». Полковник остро взглянул на него: «Не беспокойтесь... А вас я обязан представить, как обещал».— «Не в этом дело»,— возразил Михайловский. «А в чем?» — таким же взглядом окинул его полковник. «В деле». Полковник хмыкнул и поморщился: «Вы из дворян?» — «Да».— «Жаль»,— раздумчиво протянул полковник. «Отчего? Разве мое происхождение чему-нибудь мешает?» — «Да я не об этом... Жаль, что вы не попали ко мне в начале кампании»...

И вот все осталось позади. Армия эвакуировалась, и Бургас опустел. Последними закрылись рестораны, кафешантаны, исчезли вороватые.тыловики-интенданты, продавцы живого товара, сам этот товар, прекратился тайный и явный торг золотом и розовым маслом, деньгами разных стран.

Михайловский был откомандирован из армии и тут же назначен по своему ведомству в Бендеры. Решил плыть морем в Одессу, а оттуда рукой подать до нового места работы.

Пароход отчалил ранним утром, неторопливо пошлепал навстречу огненному шару, что поднялся над черноморским горизонтом. Михайловский стоял на палубе, разглядывал в бинокль бухту Чингелес-Искелессе, белую полоску первой своей дороги, скальный мыс и мост через Мандру — все сделалось таким далеким и маленьким под огромной отвесной горой. И долго еще, очень долго между синими небесами и синими водами виднелась сахарная голова монастыря.

Вспоминались труды этого жаркого лета, болгары, турки, подрядчик, правофланговый, полковник и — тем же волшебным видением — хоровод девушек, которых так и не удалось увидеть вблизи.

«Прощай, Болгария, отныне свободная, будь прекрасна навеки, как твои женщины, как природа...»

Впервые обнаружив в себе страсть к д е л у, он не мог понять, из каких истоков она взялась. Детство даже вприглядку не познакомило его с трудом, безалаберная юность тоже, он был всегда обеспечен и, быть может, оттого беспечен. Иные его ребяческие шалости граничили с гадостями, а юношеские глупости с мелкими подлостями, однако всегда так выходило, что любой дурной поступок отзывался в нем тяжкой душевной драмой, становился почему-то зародышем доброго.

Если ему случалось сказать неправду, Михайловский долго сгорал от стыда, если лгали ему, он замыкался в себе, страдая за других, и в обоих случаях невесть откуда брались потом силы отвечать на все вызывающей правдивостью, предельной откровенностью, почти пугающей искренностью. Как многие обыкновенные молодые люди его возраста, он был способен отвернуться от женщины, доказавшей, что ради него она готова на все, но внезапно вспыхнувшее презренье к себе начинало вдруг образовывать в нем совсем другого, чистого и благородного человека, и он уже мог принять самое безумное решение, чтобы загладить вину. Когда он становился жертвой несправедливости, вольной или невольной, то, не научившись еще прощать, озлоблялся на всех и вся; когда сам, желая сделать лучше, делал хуже, они не понимали его, а он их, Михайловский начинал ненавидеть белый свет, однако неожиданно для себя самого быстро преодолевал это мучительное состояние, заменяя его пронзительной любовью к людям и миру.

Почти до двадцати пяти годов он жил чувствами, безвольно и бездумно, подчиняясь своей натуре, и только в Бургасе начал не понимать еще, а лишь смутно догадываться, что выход всему неопределенному в душевной жизни, что разрешенье пусть преходящих, но частых и трудных, кризисов, что ответы на все его пусть ныне еще незрелые вопросы — в д е л е. И он начал делать это дело самозабвенно, инстинктом чувствуя, что на таком пути он набредет на свой, пусть малозначащий и второстепенный, но живой, реальный перекресток, где станет необходимым истории.

Он устоял против многих соблазнов, не приложив, однако, особых усилий, скорее наоборот,— было легко и радостно не подчиняться обстоятельствам, царству грязи, пошлости, бесчестья, лихоимства.

Михайловский, правда, не находил в себе сил и не ви-

дел возможностей направлять других, тех, что, как грязная пена, держались на гребне волны, он намеревался только тщательно оберегать чистоту внутри и вблизи себя, свято веруя, будто бездонные глубины жизни станут сами выносить по временам волны незамутненные, без соринки, а бескорыстный пример таких, как он, поможет совсем очиститься его народу-океану. Поняв, что нигде и ни в чем не существует идеального, да и не может, очевидно, существовать, он все же полагал смыслом д е л а и всей жизни иметь в виду идеал и стремиться к нему. Идеал этот вырисовывался пока смутно, расплывчато и лишь применительно к д е л у, в котором, как он убедился, можно было кое-чего добиться одному,— жизнь, оказывается, могла подчиняться его воле, труду и молодой энергии.

Он снова попал под начало Осинского и был рад этому, потому что нуждался еще в надежном поводыре, не зная еще самых простых вещей и безоговорочно доверяя любому встречному-поперечному.

На стройке царило бесстыдное воровство, и пришлось зорко следить за каждым ящиком с гвоздями и бочкой с цементом, вести точную отчетность расходов. Надо было знать всех мостовых, земляных и строительных подрядчиков в лицо, в точности кто из них есть кто и на что способен, честен ли, жуликоват ли, умеет ли обойтись с рабочими, какой и в какие сроки может выполнить урок, понимает ли хотя бы простые чертежи, готов подчиняться для ускорения дела либо воротит свое ради выгоды. Пришлось на ходу приобретать изначальные инженерные навыки — размечать полотно и подсчитывать объемы земляных работ, разбивать станции, определять места для стрелок, семафоров, служебных будок, пассажирских и товарных зданий, размещать водокачки, назначать отводные и нагорные каналы. Пробовал учиться, да так и не выучился выторговывать лишние казенные и свои рубли при подвозе леса, покупке лошадей, поставке каждой несчастной к а р у ц ы с жердями, песком или досками. Да разве перечесть несметные тысячи мелочей спешной постройки, которые роились в голове, не давали спать, изнуряли куда хуже всяких изысканий. От зари до зари, прихватывая часто и ночь, носился он вдоль трассы, вечно спеша и никогда не успевая. Даже плакал временами, не в силах охватить всего и мучаясь от бессилья — казалось, все везде стояло

только из-за того, что он не успевает вовремя выдать чертежи, разобраться, распорядиться, поправить, подсказать, изменить, перепланировать и перемерить, чтобы ускорить слишком медленное течение всех бесчисленных дел строительного участка.

Он уезжал вместе с Осинским в Одессу тем незабываемо счастливым днем, в какой гвардейцы и гренадеры — цвет русской армии — с залихватскими песнями загружали собою первый сквозной состав, и эта прекрасная мучительница-дорога осталась позади. И много позже, в Петербурге, когда снивелировалась сумятица мыслей, настроений и переживаний, он начал вспоминать первую в своей жизни дорогу, отбрасывая мелочи и ярко, выпукло представляя себе лишь ключевые эпизоды и события этой беспорядочной стройки, встречи и разговоры, смысл которых оживал в душе запоздалым, но громким отзвуком. Охватывало незнакомое, странное состояние: уходили в забвение подробности дела, какие он совсем недавно считал решающими, зато звучали слова и словно бы освещались лица, являлись мимолетные черточки поведения и внешности людей, сопоставлялись возможные мотивы чужих поступков, после долгого тления воспламенялись собственные тогдашние чувства. Временами воспоминания цеплялись друг за друга, давние события, мимолетные лица и впечатления, слова выстраивались сами собой в какой-то логический ряд.

Вот он возвращается с изысканий. Грязный донельзя. Голодный, как молодой зверь. Предельная усталость валит с ног, и он не садится в доме Осинского, боясь, что уснет тотчас и сутки — больше — не проснется. А в глазах вырисовываются участки, которые он, будь на то разрешенье, мигом бы укоротил, и две-три кривые слишком малого радиуса — их ничего не стоило, пока не поздно, сделать плавней, особенно одну, под Бендерами, на беду совпадающую с подъемом, где поездам будет так тяжело протаскивать составы в главном галацком направлении. Поздно? Да отчего же поздно, ежели в этом месте еще не возят землю и кукуруза вокруг стоит нетоптаная. Ему срочно надо свидеться с Даниловым, прямо сейчас, а время уходит. Смеясь, его успокаивают, обещают обо всем рассказать Данилову, а пока гонят прочь, чтоб он привел себя хотя бы в относительный порядок, потом кормят до

отвала и укладывают, как труп, в дальней тихой комнате, за окнами которой недвижимо и тяжело гнут ветки ядреные краснобокие яблоки...

С Даниловым он свиделся назавтра. Главный инженер встретил его ласковым прищуром умных и добрых глаз, тяжело приподнялся с кресла, уважительно, дружески поздоровался. Пухлая рука его была прохладной и влажной, обильный пот катился по лицу, белая застиранная рубаха потемнела и липла к телу.

— Ну, освоились? Наше ремесло, знаете, проще пареной репы.

— Там есть несколько интересных, крайне нуждающихся в исправлении, вариантов...

— Знаю, знаю... Одобряю, но слишком поздно. Вы где остановились? Нигде пока? Нет, нет, к линии возвращаться не станем... Поселяйтесь-ка со мной! — Он говорил с передышками, тяжело отдуваясь и по-бабьи вздыхая.— Почему же стесните, если я один снимаю целый дом из пяти комнат? И чемодан ваш у меня лежит с самого начала. Совсем запылился. Нет, переделывать линию некогда, надо срочно ее строить... Одна горячка переходит в другую, и так, знаете, будет всю жизнь... Я от этого даже не успел жениться. Не будешь же семью таскать по всей России с собою!..

Немного странно было. Этот прежде недосягаемый человек, известнейший инженер, говорил с ним так, будто они ровня. Может, Данилову слишком наскучило холостяцкое одиночество, ведомости, цифры и чертежи? Или ему по праву старшего нравилось опекать и наставлять молодых? Возможно, что он вспомнил себя таким же начинающим, ждущим внимания и помощи, или почувствовал родственную душу? Казалось, он радовался возможности пообщаться неофициально, просто, и неторопливо продолжал:

— Ну хорошо, хорошо — о ваших предложениях я подумаю и, что можно, изменю при постройке... А вам, юноша, ведь исключительно повезло! Все пройдете на этой дороге, от альфы до омеги, и узнаете такое, от чего начнете седеть... А дорога-то наша — особая! Мы должны триста верст, если учесть разъездные станционные пути, проложить за полтора месяца. С такой быстротой пока не строилась, знаете, ни одна железная дорога в мире — ни в Германии, ни в Америке! Нигде!

Потом, когда произошло вселение в запустелую пыльную квартиру Данилова, хозяин пригласил его искупаться. Ку-

панье это было ни к чему. Он горел уже новой, предпостроечной лихорадкой, а Данилов медленно шел по бендерским улицам в тапочках на босу ногу и с простынею через плечо, говорил, отдуваясь:

— Жаль, сердце стало у меня плохо качать, а то бы мы еще такую дорогу сообразили!

— Например?

— Через Сибирь, например!

Данилова узнавали и смотрели вслед, удивляясь его столь странному туалету, а главный инженер, не обращая ни на кого внимания, шлепал по дороге и с прищуром смотрел вдаль, за это ровное и низкое левобережье Днестра.

— Вы думаете, через Сибирь возможно провести железную дорогу?

— Не «можно», а нужно!

Днестровская вода была чиста, прохладна и освежала куда лучше морской, одесской. Данилов долго и основательно плюхался и фыркал в купели, приговаривал:

— Ах, отлично! И никаких тебе пиявок не надо! Ах, как хорошо!

Потом он отдыхал, обернувшись простыней, и неторопливо рассказывал о своих прежних изысканиях, о том, как русскому инженеру на каждом шагу подрезают крылья, а дороговизной строительства обедняют народ, который, придет время, подымется и скажет на этот счет свое слово, что следует работать исключительно на него, главного хозяина,— тогда любая тягость не в тягость.

— Как вы думаете, вспомнит нас та, будущая Россия?

— Не знаю...

— Так хочется верить!

Данилов таким остался в его памяти на всю жизнь — простым в обращении, по-домашнему одетым, со своими тревогами, которые потом он не встречал у железнодорожных инженеров, и он долго досадовал, что нетерпеливое ожидание новизны и душевная нечуткость молодости помешали лучше узнать и понять этого человека. Ему даже показалось тогда, будто главный инженер вальяжничает, занимаясь купаньями в самый напряженный, начальный момент стройки, но Осинский, когда зашла об этом речь, возразил:

— Ошибаетесь, дорогой! У Данилова трехдневная пауза. Мы его тут едва отходили. Он ведь полтора месяца не спал, только чуть придремывал в коляске да на чертежном столе...

Временами с Осинским было трудно говорить о чем бы то ни было.

— Русский народ поднимается? Оставьте! Никогда, потому что вечное рабство пригнуло его до земли. Сгниет он, ваш народ! Нет, нет, это не мой народ. И для меня нет никакой проблемы народа, мой народ там, где мне хорошо,— немцы ли вокруг, французы, русские, турки, не все равно...

— Почему же вы живете в России?

— В России легче всего заработать деньги. Посмотрите, как Поляков их лопатой гребет!

— Да будь он проклят!

— Что так? — с любопытством воззрился Осинский.

— Так люди говорят по всей линии. Видно, недаром...

С Поляковым он встретился однажды. Увидеть, как главный подрядчик Поляков гребет деньги, было невозможно. Это происходило где-то в тишине одесских и бухарестских банков, где армия вела с ним расчеты. Но когда работы полностью развернулись, загребущая лапа матерого дельца почувствовалась на всем протяжении от Бендер до Галаца, хотя в сутолоке и спешке никто не был способен понять, как именно выжимает себе прибыток главный хозяин, где вонзают зубы в казенный пирог интенданты и на чем имеют гешефт бесчисленные мелкие хищники из подрядчиков. Спекуляция на важной и особой срочности стройке, когда ни у кого тут не было времени и возможности проконтролировать дело. Сметы поляковские устанавливали финансовые условия неслыханной жестокости. На линейную или станционную будку обычно отпускалось до тысячи рублей, а тут надо было уложиться в сто двадцать пять. Остро не хватало инженеров и служащих, каждый из них нес тройную нагрузку, но Поляков дошел до пошлой скаредности, назначая им жалованье, которого едва хватало на еду. Многие не имели возможности снять квартиры и жили в недостроенных служебных помещениях.

Люди Полякова, взяв в свои руки дальние поставки строительных материалов, искусственно расширяли разрыв в ценах и незаметно оборачивали его себе на пользу.

А по тощим карманам землекопов, плотников, каменщиков сильнее всего ударила внезапная дороговизна, на которой кое-кто изрядно зарабатывал, однако, простым и гнусным приемом — скупив у молдаван скот, жиры, крупы

и снабдив стройку продуктами через своих мясников и по своему усмотрению. Люди из окружения Полякова откупили здесь и водочную торговлю, а становые и акцизные за взятки не мешали им торговать когда и чем вздумается. Разобраться во всем этом и что-либо изменить было совершенно невозможно, тем более что догадка об очередном злостном обмане осеняла после того, как он уходил в прошлое и сменялся другим, столь же кратковременным и бездоказательным. Самый крупный, миллионный куш Поляков должен был сорвать из-за непредвиденного удлинения дороги на восемьдесят верст...

С Поляковым он встречался в стороне от линии, где разбивал водокачку. Чувство унижения, бессильного возмущения и гадливости преследовало его потом много лет, а в первое время было таким острым, что, неожиданно вспоминая об этом маленьком, плюгавом человечке, непроизвольно и почти вслух произносил: «Тварь!» Окружающие удивленно оглядывались на него, а он только смотрел извинительно и виновато, смущенно краснел.

Поляков подъехал тогда в просторном открытом экипаже с целой свитой инженеров. Поозирался вокруг, исполненный почти наполеоновского высокомерия и величия, сошел с таким видом, будто ступать по земле ему было противно и скучно. Пренебрежительно, с усилием протянул вялую руку. Высокий котелок смешно уменьшал и без того малый его рост, на морщинистом поношенном лице не выражалось ничего, кроме презрительного снисхожденья. И еще запомнились его руки — холеные, в синих прожилках. Они хватко перебирали трость с золотым набалдашником, искрили дорогими перстнями. Кто-то из инженеров шепнул, что хозяин весьма гордится своим чином статского советника и любит, если его называют «вашим превосходительством». Краснея, сказал: «Я здесь разбиваю водопровод, ваше превосходительство». Малозначащий разговор закончился неожиданным приглашением Полякова сесть в его экипаж, на к о з л ы . Сгорая от унижения и мучительного стыда, взобрался на неудобное возвышенье. Сзади о чем-то говорили, перед лицом тряслись лошадиные хвосты, и он готов был сквозь землю провалиться. На станции все смотрели на него и всё понимали. Он так и не узнал, почему в свите не было Данилова, и не понял, зачем все же этот чванливый делец оторвал его от работы и свозил на станцию. «Быть может, он полагает, что оказал мне великую честь?»

Остаток дня он объезжал главную дорогу виноградниками и кукурузой, лишь бы не встретить ненароком Полякова, и уже в темноте, вспоминая о своем позоре, остервенело плевался и кричал в сторону Бендер: «Тварь!»

Осинский, однако, сообщил, что Поляков попросил передать ему свою благодарность, назначил жалованье в триста рублей с перечетом от первого дня изысканий и распорядился о подъемных в пятьсот рублей. Это было неожиданно и приятно, только Осинский пояснил, насколько выгодно Полякову поощрять тех, кто способен сократить дорогу хотя бы на версту — отпускаемые казной деньги за эту непостроенную версту делец на законном основании положит в свой карман. Не совсем было понятно то, что Осинский сказал далее — Поляков будто бы решил сдать инженерам балластировку.

— Что это значит?

— Мы будем и производителями работ, и техническими контролерами! — загорелое лицо Осинского пылало в азарте.

— Так. А зачем нам это?

— Установлена цена кубической сажени балласта. Если мы какими-нибудь путями снизим ее — разница наша. Я подсчитал — тут пахнет тысячами.

— Следовательно, мы будем и подрядчиками?

— Конечно же.

Нет, нет, это не для него! Получать за свою службу содержание, выколачивать рубли из труда рабочих и возчиков, одновременно надзирать за соблюдением правил балластировки полотна? Он совершенно исключал такую возможность для себя.

Несовместимость этих трех функций для одного лица была слишком очевидной, и он даже не пожелал слушать Осинского, который, посмеиваясь, взялся уверять его в том, что у всех поначалу были идеалы, но рано или поздно все приходят к этому.

— Почему же не делается подрядчиком Данилов?

— Я вам уже говорил, кажется, что Данилов, быть может, один такой на всю вашу Россию.

— Считайте, что я второй...

— Значит, и у вас в жизни не будет ничего, кроме вот таких штанов.

— Пусть!

— Извините, но вы слишком зелены еще,— сказал Осинский, глядя на него сочувственно и жалостливо.—

Жизнь сделалась благосклонна только к тем, у кого деньги. А вы еще убедитесь, насколько она жестока и страшна...

Наплывали издалека лица других инженеров — спокойные, раздобревшие, самоуверенные и нервные, худые, изнуренные, виделись бледные, всегда почему-то плохо пробритые техники, вспоминались подобострастно-услужливые манеры конторских и телеграфных служащих, торговцы, подрядчики, поляковские агенты, рабочие серой своей массой, одетые в разную рвань, с равнодушными, какими-то неразличимыми, опившимися лицами.

Нет, рабочие железнодорожного депо, среди которых он за год до этой постройки практиковался, были совсем другими. Многие, особенно из машинистов, держались с достоинством, несколько даже странным для людей их звания и положения. Водкой не увлекались. Из-за тяжелой и опасной своей работы, что каждый день требовала свежих сил, ясной головы и спокойных нервов, иначе мигом попадали в слесарные мастерские, где была своя ступенька вниз — ремонтные канавы, а если и там ослабший духом человек хлебнет мазут пополам с водкой, то быстро опустится. Когда по праздникам паровозники переодевались в чистое, то принимали вполне респектабельный вид зажиточных мещан. Машинист Григорьев, с которым он ездил кочегаром, хотя и не прочь был приложиться к бутылке, но меру знал и тянулся изо всех сил к тому, что от него безвозвратно ушло. Григорьев прожил тяжелое сиротское детство, голод и побои, много лет прокочегарил, смирился уже с судьбою, однако до беспамятства любил стихи, особенно Лермонтова, и был безмерно счастлив, когда практикант подарил ему в день рождения томик великого поэта с дарственной надписью золотым тиснением.

Машинист этот появился на стройке, когда станция уже развилась и от Бендер проложили первые версты. Разыскал бывшего своего кочегара, ставшего вдруг инженером, и попросил замолвить словечко. С Одесской дороги его уволили — стар стал для поездной работы, на маневровый не оказалось вакансий, и вот он тут, без паровоза и работы. Григорьев царапал ногтем свой красный, облупленный нос, часто моргал ресницами, в которые навечно забилась сажа, неподвижное, словно закаменевшее лицо его ничего не выражало, кроме терпеливого и почти безразличного ожидания. Отказать было никак невозможно — слишком большую благодарность испытывал к нему студент-инженер за первую трудовую науку, и даже жизнью своею

он был обязан этому скромному, преющему в своем грубом касторовом костюме рабочему.

— Отчего же вас к нам не берут?

— Курсов нету никаких за мной, бумажки,— равнодушно сказал Григорьев.— Я же из кочегаров, сами знаете.

В техническом отделении, снисходя к ходатайству и восторженной рекомендации, взяли Григорьева на обслуживание маленького паровоза — толкать по станции платформы с лесом, возить на линию шпалы и рельсы. Заплатили подъемные, назначили сторублевое жалованье, поверстные и премиальные. И так хорошо было помочь человеку, который когда-то помог тебе!

Неловкий, тяжело ступающий Григорьев обернулся тогда у двери, пригласил свидеться, но в горячке последующих недель забылось все, кроме стройки, и только перед самым отъездом из Бендер Михайловский, заметив машиниста в окошке паровозной будки, окликнул. Тот обрадовался, быстро спустился вниз, и они поговорили, сидя на теплом рельсе. Было приятно ощущать свою связь с этим немногословным черным человеком, роняющим простые и тяжелые слова, эту особую связь через общие труды, опасности и знакомства.

— Помните, Григорьев, как нас тогда составитель разбудил?

— Как же. Если бы не он... Уже нету его.

— Это еще при мне было, помню,— содрогаясь, произнес он.— Ужас!

— Известно, ужас,— каким-то мертвым голосом подтвердил Григорьев, задумчиво царапая нос.

Составитель, который незадолго предотвратил крушение их поезда, набрасывал сцепное звено на крюк между вагонами, когда состав подавали назад, упал и лежал под высокими осями, пока не приблизился к нему паровоз. Низкое поддувало должно было смять и размолоть его. В отчаянии составитель рванулся меж колес, да не успел — перерезало надвое, и вся станция сбежалась смотреть в его застекленевшие огромные глаза.

— Другому голову раздавило буферами...

— Тоже помню.

— А кочегара помните с длинной такой шеей? — спросил Григорьев.

— Да, еще «гусаком» его звали. С гармоникой.

— Ногу отрезало. Во по сих пор,— Григорьев вытянул правую ногу и показал мазутной ладонью.— Во! Учени-

ком к сапожнику пошел. Ух, пьет! Приходит на костыле к депо, плачет и сипит вместе со своей гармошкой: хорошо, мол, тому живется, у кого одна нога — экономия портянок и не треба сапога.

— Да-а.

— А еще одного убило сразу.

— Как?

— На мост разобранный наехали. А машиниста обдало кипятком и паром. Да вы его должны помнить. Альбранд, австрияк.

— Помню, помню! С бородкой, веселый такой.

— Он. Врать еще умел — живот надорвешь...

— Да, да. И что?

— Куча ребятни осталась.

— Как получилось-то?

— Ошпарило. Глаза сварило, лицо и руки совсем.— Григорьев говорил медленно, с расстановками, будто прислушиваясь в паузах к сипенью сальников.— Спустился когда с паровоза, кожа снялась с руки, прилипла к поручню. Через три дня готов...

Помолчали. Трудно и больно было сглотнуть комок, вдруг затвердевший в горле.

— Ну, я пошел, Григорьев. Прощайте!

— Прощайте,— ровным голосом сказал машинист, подымаясь.— Да не надо, запачкаетесь! — Григорьев спрятал за спину грязные руки, пришлось потрепать подставленный пыльный рукав. Оглянувшись, увидел, что машинист смотрит ему вслед и с той же угрюмой задумчивостью царапает свой красный нос.

Чаще других строительных рабочих вспоминался мужичок, что хорошо помогал на разбивке кривых. Исполнительный и выносливый, как лошадь, он оставался при деле, когда вся артель разбегалась, прошел изыскательские, вернулся с изнурительной, на рысях, нивелировки в Бендеры, оказался куда как полезным и на постройке. Но первый запомнившийся разговор с ним заставлял думать о материях совсем далеких от этой дороги.

Один сноровистый рабочий, этакий расторопный хлопотун, быстро приспособился к делу и уже самостоятельно разбивал половину рассчитанной кривой, когда голова маленького изыскательского отряда спешно уходила дальше по трассе. Совсем войдя в роль заместителя начальника группы, он зорко щурился в щель экера и грубо, по-фельдфебельски орал:

— Право! Лево! Бей!

Во время обеденных привалов он мрачно уходил в себя, и нельзя было понять, что у него за душой.

—• Эх, жизня, жизня,— тяжело вздыхал иногда и тут же выкрикивал: — А говорить нельзя!

— Почему же нельзя? Говорите, пожалуйста...

Разговорился однажды, когда на костре долго жарился молодой баран, купленный начальником отряда. Пол-России протопал ради заработка проселками и по шпалам. В их заволжских краях стало невмоготу крестьянствовать, прежнего приволья как не бывало.

— Неужели в крепостных лучше было?

По его словам выходило, что хуже не было — три дня работали на барина, три на себя, в праздник отдыхали. А нынче на сиротских-то наделах да на чужих землях мужик бьется день и ночь, как рыба об лед, и весь в долгу, как в шелку.

— Да почему же так?

— Эх, барин... Сиротский надел нипочем не прокормит, приходится землю арендовать у купцов, что скупили ее за бесценок в самый разор господских владений. И тут этакое ярмо заготовлено мужику, не приведи господь. Даешь за десятину рубль задатку да платы пятнадцать. Надрываешься с Николы весеннего до покрова, чтоб весь урожай до последнего зернышка ссыпать в купецкие закрома.

— Почему?

— А потому, что такое купецкое условие. Заплатишь аренду до покрова — бери хлеб, нет денег — а где их взять без продажи хлеба? — купец учитывает его по базарной цене.

— Хорошо, а базарная цена...

— В покров это полцены — реки встанут, вывоза нету. А купец-то по весне, когда цены на мужицкий хлебушко взыграют, налаживает барки да в Рыбинск, да в Петербург, оттудова всяким англичанам с добрым прибытком, а за крестьянином долг числится, потому как дешевое зерно в покров не оправдывает арендной платы.

— Так это же чистый обман!

— Знамо. Злее крепости попали. На зимний прокорм и семена берут опять же у купца, и тот знай себе мужицкими векселями сундуки набивает, совсем петлю на шее затягивает, никуда не денешься, хоть в гроб ложись.

— Неужели,— извините, пожалуйста,— все, что вы рассказываете,— правда?

— Да еще куды тебе не вся...

‘ Нет, не верилось, не хотелось верить, что от этих вот горячих южных полей до бесконечно далекого самарского Заволжья, так живет сейчас Сеятель и Хранитель, стихи о котором читались еще в гимназии! Абстрактного того мужичину, помнится, жалко было незрелой полудетской жалостью, а вот он живой перед тобою, с неподкупной общероссийской правдой, какую дружно подтверждают новыми адресами и подробностями все сидящие вокруг усталые люди; им нет никакого расчета преувеличивать либо преуменьшать тяготы недавнего своего существования. И как же он был далек доселе от такого доподлинного знания и нового, глубокого, уже вполне взрослого сочувствия! Только мало сочувствия-то! Действия надо, дела. Но что ты можешь сделать для этих вот неграмотных, несчастных, полураздавленных жизнью соотечественников, над которыми ты возвышен судьбою, происхождением и образованием, как через них помочь своей святой родине, коей ты обязан служить по чести и совести, ежели рожден и вскормлен ею?

Да, этак воспаряться мыслями легко, а вот сделал ли ты что-нибудь, когда на твоих же глазах человек погибал? Не сделал. С саднящей болью, как будто поневоле споспешествовал его страшному концу. Рядчик тот, мужичок небольшого росточка, запомнился уважительным обхождением, бурными русыми кудрями над чистым лбом и полным отвращением к вину. Родом он был со Смоленщины, однако появился на стройке откуда-то из-под Балты, где плотничал зиму. Он давно бросил крестьянствовать, не один год отходничал топором по деревням, потом сбил артель, перепруживал с нею речушки да рубил мельницы в один-два постава. Деньжонок скопилось к лету, по его меркам, изрядная толика, и, прослышав о дороге, загорелся разом их прирастить. Мостовые работы расхватали еще до него сноровистые гуцулы, пришлось брать сравнительно небольшой подряд на выемку земли. Скликал артель человек в сорок, случайную голытьбу, какая нигде не смогла пристроиться, и увел ее на последние версты дистанции. Поначалу дело у него пошло. Поставил балаганы, нанял работящую русскую кухарку, закупил оптом сала и гречки. На выемке, где плата для ускорения главных работ полагалась двойная, вышел с добрым прибытком.

Приварок у него был сытней всех на дистанции, водку рабочим выставлял, не скупясь, они старались вовсю, потому что истомились от безделья, а тут вдруг все наладилось и можно было сразу рвануть упущенные рубли. И рядчик даже не заметил, как все повернулось на другое. Началось с того дня, когда молодой инженер приехал на стан. С утра зарядил дождь, выемку заливало. Воду отвести было некуда, и колеса тачек топли выше осей. Попробовали копать вперебрс, но тяжелая глина липла к лопатам, скользила под ногами, густая желтая жижа засасывала обутку. Измученные и промокшие до нитки рабочие вернулись в балаганы. Чтобы перехватить наверху дождевые грунтовые воды, нужно было прокопать нагорные канавы. Инженер под дождем наметил их, окопал с рядчиком и двумя рабочими контуры, пообедал в артели и уехал, оставив рабочим пятерку на водку. Он потом не раз еще наезжал сюда, на дальний участок, чувствовал, что день ото дня здесь назревает что-то непоправимо-тревожное, однако почему-то не решился упредить рядчика, который так искательно и униженно заглядывал ему в глаза, угощая всякий раз сытным обедом. Сейчас он пытался оправдаться неопытностью своей, нехваткой времени, исключительно тяжелой обстановкой на противоположном конце дистанции, где в тот момент задерживалась укладка пути из-за отсутствия балласта и это держало всю дорогу — армейские там торчали, Поляков временами подкатывал на мягких, будь они прокляты, рессорах, Данилов бывал, а Осинский так и жил там, в артелях, круглыми сутками подгоняя ковырянье песка из маленьких тощих линз, каким-то чудом разысканных им вдоль трассы. Похудел он, высох, в глазах появился лихорадочный блеск — знать, подпекали сомненья в благополучном исполнении своего подряда, на котором он так надеялся разбогатеть.

Из Болгарии теми днями шли недобрые вести — под Плевною позорные неудачи, большие потери на других участках театра военных действий. Военные говорили за чайком, что у турок-де оказалась крепкая оборона, скорострельное оружие густого боя и хорошей прицельности, европейская организация армии, чего мы никак не предполагали, и русская кровь на перевалах льется рекою. На основательный пересмотр нашей военной подготовки времени уже недоставало, надобно было брать верным стародавним способом — числом штыков, солдатскою массой. Нужнее этой дороги, долженствующей враз наладить глав-

ную бессарабскую коммуникацию, ничего не было в России.

И почему-то чем дальше отдалялись события лета, тем острее становилось чувство вины за судьбу того рядчика, простого и совестливого мужика, почуявшего в какой-то момент неладное, но уже бессильного что-либо изменить. Под дождями выработка сразу упала, рабочим, чтоб они не разбежались, приходилось начислять простойные, а тут вдруг все вздорожало, особливо мясо, и артель даже прокорм не оправдывала. Потом земляные работы выгодной оплаты кончились, каждая кубическая сажень пошла по три рубля. И набери-ка эту сажень, когда артель раздробилась и бросалась с отсыпки мелких призм на углубление русел ручьев, потом на рытье канав или ям для телеграфных столбов. Следить за работами стало невозможно, землекопы тратили много времени на обеденный сбор, переходы и простои: и никак за день не набиралось сходных объемов выкопки. Ему бы рассчитать артель да вырядить новые условия, но, сгоряча и по незнанию взявшись с самого начала за общий земляной подряд, на этих дальних верстах, он увязал все глубже в полную безвыходность. Залез в неоплатный долг к мяснику, потому что артель ни в какую не соглашалась с ухудшением стола, то и дело требовала ведерко хотя бы кислого бессарабского вина и, явственно видя пустой номер, еле шевелила замызганными донельзя хлябающими лопатами. С криками, грязной руганью да хватаньями за грудки рабочие потребовали расчета, не заснув в хмельном раже до полуночи, а рядчик не мог его произвести прежде инженерского обмера.

Ничего, кроме свинцовой тяжести в сердце, не оставляла скушная сама по себе работа, донельзя, однако, противная неприметной сопутствующей грязцой, а иногда и страшная своими исходами. Вот стоит перед ним респектабельный с виду господин — благородная седина в львиной гриве, тщательно отутюженный чесучовый костюм, резная тросточка из слоновой кости, сияющие узконосые штиблеты парижской колодки. Один из главных подручных Полякова пытается подражать своему патрону, держится с подчеркнутым достоинством, ослепительно, однако, улыбаясь своими золотыми зубами, будто ему доставляет чрезвычайное удовольствие видеть этого начинающего инженера в помятой форме, рулетку в его руках и запыленные башмаки. Он взял крупный, на добрую треть миллиона подряд и сделал его рядчиком-исполнителем вроде этого несчастного смолянина, подрядчик лично приехал на первый обмер,

не посчитался с этакой жарой и дальней дорогой, наставительно, по-отечески рассказывает, какие большие работы он на своем веку произвел, начиная с Курско-Харьковско-Азовской дороги, и никогда с инженерией не вздорил, не позволял себе ничего незаконного и сейчас просит быть только справедливым, за что заплатит десять процентов стоимости земляных работ. Да, инженер понимает, однако он и без того будет справедливым, предельно точно посчитает объемы, и эти десять процентов останутся у их законного владельца. Подрядчик уточняет, что реальная сумма вознаграждения составит около двадцати тысяч рублей, деньги очень даже немалые и никто ничего никогда не узнает. Инженер спросил тогда, откуда же все и всегда знают, кто из них, инженеров, честен, а кто вор?

Подрядчик остался недоволен обмером, потребовал, чтобы работы переучел сам Осинский, а когда у того подытожились еще меньше объемы, пригрозил, что будет жаловаться самому Полякову, который с такими инженерами может разориться, и только мошенники способны с ними поладить. Осинский назвал дельца негодяем, бросился на него, как мопс, и приказал отбить телеграмму, чтоб прислали жандарма для свидетельствования и пресечения возможных незаконностей.

С чувством незатухающей саднящей боли вспоминается жуткий финал мерительных работ. Рядчик-смолянин ползал перед ним на коленях в темноте барака, попробовал сунуть десятирублевый кредитный билет, оскорбленно отказался принять деньги за съеденные обеды, потом просил Христа ради за это прощенья, плакал в последней степени отчаяния. Мелких работ с его верст насбиралось всего на неполную тысячу рублей — едва хватило рассчитаться с артелью, которая тут же разбрелась по дистанции пьяной ордой. Полсотни рублей, назначенные с лихвой за прокорм инженера, Осинский распорядился как бы от рядчика передать под расписку жандарму в пользу Красного Креста. Артельщика же сняли утром с петли, уже холодного. Закушенный язык его был фиолетовым от химического карандаша. Нашли записку. Рядчик писал, что погибает безвинно и просит, по возможности, отдать мяснику долг в четыреста двенадцать рублей.

Настоял, чтоб деньги для мясника вычли из жалованья, похоронщиков за свой счет нанял, но это нисколько не сняло с души греха и не развеяло зарождающегося в нем недоверия к себе, людям и жизни.

* * *

Отчего же почту и дела не приносят?.. По стародавней своей привычке камергер двора его императорского величества минский губернатор Чарыков начинал день разбором почты, писем и канцелярских бумаг. Он никого не принимал в этот час, кроме вице-губернатора, который, однако, преотлично знал, что Чарыкову всегда неприятны его ранние доклады, потому как они были связаны с чрезвычайными происшествиями в губернии — пожарами, убийствами, волнениями, бедствиями — или срочными шифрованными бумагами из Петербурга, чаще всего по министерству внутренних дел. Иные шифровки Тимашева только раздражали губернатора — Валуев в свое время по мелочам не пугал, как этот, за десяток лет так и не научившийся отсевать важное от второстепенного. Чарыков давно заметил, что у всех, кто начал большую службу при покойном государе, наличествовали качества неоценимые, привитые годами непустяшной, постоянной и последовательной требовательности, что в высшей степени споспешествовало твердому курсу государственного корабля. Ныне повсюду теряется прежнее, а теперешняя новизна в текущих делах и общих подвижениях оставляет желать много лучшего...

Нет, Альбединский не явился — значит, ничего необычайного не приключилось. Недавнее возбуждение крестьян в двух селах Игуменского уезда, очевидно, утихло, потому что Чарыков безотлагательно распорядился послать туда чиновников на размежевание земель, строго наказав произвести акцию с наивозможной справедливостью. Народных бедствий тоже, знать, пока не последовало с дождями! Все лето губернатор с тревогой ожидал по утрам докладов Альбединского — то там то сям обрушивались на посевы сильные градобития, но, слава богу, это были не самарские, например, просторы, где такая беда могла бы обесхлебить край,— тут погибали отдельные распаханные клочки между лесами и болотами. Всего выбито за лето не более двух с половиной тысяч десятин, а общего убытку начислялось на пятьдесят тысяч рублей, не более. Г розы давно миновали, и теперь надо ждать бед от этих затяжных дождей. По весне вдоль Днепра, Березины и Припяти подымалась вода, хотя и небедственным уровнем, а сейчас дождевая влага из лесов еще не слилась в низины. Днями она скатится по южным местностям губернии, как бы не

начались подтопы полей и селений, особливо в Речицком уезде. «А может, бог даст, и не будет нынче наводнений?» — с тайной надеждой подумал Чарыков. Нет, его здешние начинания не пропадут даром! Любое доброе дело не изничтожается, учитывается если не людьми, то высшей, небесной канцелярией... Досадно только, что дожди остановили незавершенные работы, которыми Чарыков немало гордился, как своею заслугою перед этим бедным краем. О заслуге сей знают в Петербурге! Граф Адлерберг, давний приятель Чарыкова, прошлым летом сообщил в любезном письме, что докладывал государю, которому сейчас, с войною-то, знать, не до Минской губернии, но министр государственных имуществ Валуев всячески поддерживает дело и сулит помощь. Надо будет подытожить сегодня, что уже исполнено и какие работы перенести на 1878 год... Скорей бы зазимок — по застывшим трясинам повезут хлеба на обмолот, сбавит свою силу перемещающаяся лихорадка, из местных неистребимых хворей останутся колтун да сифилис, который как застрял на двух тысячах выявленных случаев, так и держится...

«Отчего же это почту и дела не приносят?» — снова подумал Чарыков. Однако дверная портьера колыхнулась, и объявился начальник канцелярии. Осторожно и почтительно держит бумаги в руках, несет их перед собою бережно, будто поднос с дорогой посудой.

— Есть неотложное? — спросил Чарыков.

— Сами изволите взглянуть?

— Да, оставьте,— поморщился губернатор.— Вчерашнее же...

— Слушаюсь.

— Да, да, пожалуйста. Я там распорядился о самом существенном...

Чиновник взял с края стола разобранные вчера бумаги, поклонился дважды — у стола и двери, неслышно удалился, а Чарыков, проводив его нетерпеливым взглядом, быстро, задрожавшими вдруг пальцами, перебрал конверты. Нет, от сына по-прежнему ничего не было. Теперь уже у Чарыкова почти не оставалось сомнений, что с сыном произошло, быть может, непоправимое, самое страшное. Снял очки, налег на стол и закрыл лицо руками, пытаясь успокоиться. Единственный сын, гордость и надежда его, утешенье в подступающей старости! Дочери — что? Выходят замуж, становятся уже не твоими, и только через внучат оживает прежняя любовь к ним. А сын — всегда твой, он —

ты сам, даже более, потому что в нем раскрывается то, что в тебе не смогло, не успело раскрыться... И если Николеньки не стало, он едва ли сможет противоборствовать этому последнему в своей жизни горю...

Впрочем, ничего же пока нет определенного! Одно только — Николенька исправно писал, будто слыша через далекие версты отцовское сердце, и Чарыков был бесконечно благодарен сыну за чуткость, за эти краткие, сдержанные письма — воин и должен писать просто, немногословно, по существу. Николенька сообщал, что служит под началом Скобелева, который храбр безумно и на бранном поле блистателен, что неприятель сильно укрепился и взятие плевенских бастионов будет для русского оружия делом столь же трудным, сколь славным, и что ему, Николеньке, за отличие при атаке, окончившейся большим обоюдным пролитием крови и, к сожалению, полной неудачей, пожалован солдатский Георгий...

Самому Чарыкову не довелось заслужить награды, каковую он всю жизнь считал высшим мерилом воинской доблести. По окончании Павловского кадетского корпуса он был — как сейчас помнится, 15 марта 1837 года — произведен в прапорщики лейб-гвардии Измайловского полка и направлен вскоре для прохождения боевой службы на Кавказ. Ему тогда было едва за двадцать — столько же, сколько сейчас Николеньке. Черкесской пуле не кланялся, не боялся чеченских сабель, однако же и не слыл безрассудным храбрецом. В Тенгинском полку, расквартированном под Туапсе, было немало отчаянных головушек, отлетавших на его глазах по глупости, а он полагал, что не след искать смерти, ежели она сама тебя ищет.

Чарыкова, кажется, любили за то, что он никем не хотел казаться, а был таким, каким был, не рвался к чинам, знал меру в вине и карточной игре, одалживал деньги, не требуя возврата их, а дуэлянты, ссорившиеся из-за безделья, мальчишества, дурного воспитания и втайне желавшие покончить дело миром, непременно желали его посреднической доброты и простоты. Был даже один случай, не предусмотренный никакими правилами,— Чарыков выступил в странной роли секунданта двух сторон, кротко согласившись стреляться потом с каждым из присутствующих офицеров, если они не рассеют недоразумения. С присущим ему здравым смыслом он тогда правильно рассчитал, что убивать его было бы высшим бесчестьем, потому как

все были должны ему. Позже, в Петербурге, миротворческий дар и умелое секундантство его спасли репутацию, чины, а может быть, и самое жизнь графу Адлербергу, сделавшему ныне блестящую карьеру — он министр двора и находится неотлучно при государе, под Плевною...

Что же все-таки с Николенькой, отчего он не пишет? Воспоминания всегда отвлекали Чарыкова, и потому-то пришлось прибегнуть сегодня к этому успокоительному средству. С другой стороны подумать — в случае крайнего несчастья отцу бы немедленно, во исполнение долга перед воином, сообщили бы об этом.

Только издалека невозможно вообразить, что сейчас там, под Плевною, свершается. Во время такой трудной кампании с рядовым солдатом может приключиться все. Вот уже более года нет положительно никаких известий о двоих, уехавших в Сербию. Чарыков живо вспомнил, как начинались события, ныне разрешившиеся этой войною. Все русское общество содрогнулось и восстало при известиях о тысячах растерзанных турками единоверцев. Сами собой возникали комитеты помощи, люди, в том числе и не очень богатые, несли деньги, повсюду, даже в самой глуши, объявлялись доброхоты, рвущиеся на Балканы. Чарыков попросил тогда показать ему список двадцати шести добровольцев Минской губернии, изъявивших благородное желание помочь с оружием в руках славянским сябрам, и гордился тем, что и во вверенном ему крае нашлись такие люди. Это были отставные унтер-офицеры, штабс-капитаны, поручики, даже один майор — обыкновенные верные россы из дворян, потомственных почетных граждан и крестьян. И как было не гордиться, ежели московский славянский комитет отверг только одного — не то по болезни, не то по неблагонадежности, а остальные дружно ушли в Сербию и со славою вернулись. Недосчитались только двоих, однако, судя по рассказам, жертв могло быть куда больше — турки охотились за русскими, прошедшими добрую воинскую выучку, зверствовали над ними, когда по ранению или другой причине захватывали их в плен. Губернатор не мог официально принять «сербиян», пожелал взглянуть на героев из окна, когда они явились в губернское правление сдавать паспорта. Прошли при полном параде, высокие, светловолосые, с торжественными костлявыми лицами, и Чарыков, глядя на них, прослезился украдкой. И сейчас Чарыков отказывался понимать последнее предписание из Петербурга насчет вернувшихся

добровольцев — почему-то им запрещалось носить сербские ордена. В высшей степени странно.

— Награда, заслуженная в честной битве за святое дело, как бы отменяется теми, кто ее не давал!

Губерния отмобилизовалась, слава богу, к зиме, хотя и не в сроки, потому что известие пришло в тот самый неподходящий момент, когда от дождей вздуло болота, раскиселило дороги, а спасительные ночные заморозки все не подходили. По топям нарочные пробирались в глухие места со слегами, мокли, топли, мерзли, с такими же муками добирались к рекам и железным дорогам новобранцы, досыта навоевавшись с немилосердной природою перед зряшным и долгим бессарабским стоянием. Так было, знать, по всем губерниям северной России до вятских и зырянских лесов. Оставалось только удивляться, кто посоветовал государю назначить для этакого великого дела самое неподходящее в году время. Если б месяцем раньше, а того лучше месяцем позже — ведь все равно военные действия открылись только по весне! Внешние обстоятельства мобилизации, считал Чарыков, в некотором роде поощрили уклоняющихся от воинской повинности. Не по селам, однако, а большей частью в местечках оказались в нетях молодые евреи, которых доселе ищут. «Губернские ведомости» печатают списки не пожелавших исполнять свой долг перед Отечеством, но тщетно. Дезертиры словно растворились. Чарыков мысленно клял бегунов, опозоривших губернию, ослабивших армию и народную мораль, а временами, перечитывая новые списки, даже вроде бы жалел их — пребывая где-то вне закона, они дрожат от страха за свою испоганенную жизнь, и лучше исчезнуть без следа на поле брани, чем таким презренным способом...

Но мог ли без следа исчезнуть Николенька? В теперешних войнах бесследные пропажи людей совсем не диво, а утвердилось это еще в Севастополе, той самой ужасною зимою, в какую родился Николенька.

Чарыков прибыл в Севастополь накануне первого неприятельского штурма. Незабвенная Адель рвалась разделить с ним его судьбу, и ему с трудом тогда удалось уговорить ее остаться в Симферополе с Катенькой, первой их дочерью. Кроме того, она была на шестом месяце тяжелой.

Бомбардировку 5 октября 1854 года Чарыков не забудет до конца своих дней. С рассветом воздух от порохового дыма сделался черен и густ, а когда в полдень подвинулись к берегу корабли неприятеля, орудийные удары и разрывы слились в сплошной громоподобный рев. Ни блиндажей, ни ходов сообщений на бастионах, и батарейная прислуга сплошь устилала позиции своими телами. Чарыков увидел, как в десяти саженях от него двойным разрывом на клочки разметало дюжину арестантов, подносивших снаряды; адмирал Корнилов распорядился в тот день выпустить их из тюрьмы, и они отважно помогали матросам. Это случилось на пятом бастионе, где обороною командовал Нахимов. Самое, однако, тяжкое довелось пережить на соседнем бастионе. Чарыков бросился туда сразу после взрыва порохового склада, через настил пробился неприятельский снаряд, и взрыв потряс окрестности, осветил красно-черным огнем пушки, валы, мертвых, живых и тех, кто пребывал между жизнью и смертью, всю южную бухту озарил, земля осела под ногами и потянула к себе враз отяжелевшее сердце. Он полагал, что сюда, на Корабельную сторону, неприятель сейчас пойдет штурмом, но морские офицеры ближних батарей усилили орудийный огонь и ружейную стрельбу, матросы и арестанты закричали «ура», будто видя победу, но не смерть. Бастион был изничтожен до основания — вышли из действия почти все орудия, два только ненароком остались, более ста офицеров и матросов погибло — на взрытой земле валялись оторванные руки, ноги, изуродованные туловища, головы с открытыми стеклянными глазами.

Чарыков не успел с утра никуда прикомандироваться и не ведал еще своей роли в этой кровавой бойне. Он не был ни артиллеристом, ни морским, ни штабным, его строевые, приобретенные на парадах, и кавказские кавалеристские навыки оказались тут бесполезны, а по чину и возрасту, как-то незаметно-незаметно приблизившемуся к сорока годам, ему не приличествовало уже адъютантствовать, доставлять пакеты. Здесь, на разрушенном бастионе, он вдруг оказался старшим и всю ночь распоряжался отсыпкой брустверов да устройством траншей, делая это больше по наитию, потому что изрядно призабыл «фортификацию» Теляковского, каковую довольно поверхностно штудировал в молодости. Утром санитары принесли весть о смерти адмирала Корнилова на Малаховом кургане... И Чарыков так и остался при фортификационных работах.

Всю зиму под началом Тотлебена возводил укрепления, намечал подкопы, ведал доставкой на позиции рогожных мешков, песка и камней, радуясь, что своей спокойной распорядительностью снискал уважение молодых, горячих, знающих офицеров. Они толпами наезжали из Петербурга, в их числе было немало таких, что жаждали только орденов и славы. По большей части они отбывали ни с чем, потому что здесь нужен был терпеливый и тяжкий труд оборонительных баталий, в которых один, даже самый храбрый человек — ничто. Чарыкову тоже не представилось случая отличиться, и он не слишком тужил об этом, полагая, что всякому во всякой войне положено свое. Часто ночевал на бастионах, в сырых землянках, дрожа ночами от холода, забывал о еде, бритье и стрижке ногтей, пережил немало жестоких бомбардировок, потеряв им счет, в обстоятельствах, когда потери исчислялись приблизительным вычитанием, по наличию живых.

Чарыков давно заметил, что память его начала выделывать какие-то непонятные кульбиты. Иногда он подолгу силился вспомнить о важном деле, отложенном на следующий день, мгновенно забывал новые имена и лица, терял бумаги, то есть засовывал их в приметное, как ему казалось, место и долго потом не мог сыскать. Зато часто выплывали невесть откуда мелкие события далеких лет, чья-нибудь фраза, брошенная мимолетом, цифра либо дата. Правда, странная, несколько даже мешающая ему память на даты и цифры наблюдалась у него всю жизнь, что в особой форме математических способностей передалось Николеньке.

День рождения сына, 8 января 1855 года, запомнился отчаянной неприятельской бомбардировкой укрепленных бастионов. К тому времени англичане и французы подвинули свои орудия ближе к оборонительной линии, повели сосредоточенный прицельный обстрел, тогда как защитники вынуждены были рассеивать огонь по широкому фронту, почти невидимому. Сплошная дымная завеса, опоясавшая крепость, скрывала врага, приходилось целить только на вспышки его батарей, а корабли, бухающие с воды тяжелыми залпами, были совершенно недосягаемы. Несколько раз сменилась у пушек прислуга. Люди падали вокруг, их никто не подбирал.

Чарыков помнит, как сквозь разрывы по-звериному

кричали умирающие, как прямым попаданием выкинуло в небо снарядный ящик и сбросило в ров лушку вместе с офицером и тремя солдатами, как фельдшер, ползая вечером с фонарем по бастиону, просил сестру милосердия заткнуть уши и кощунственно, дико, хуже любого солдата, ругался, помнит рекою льющееся тепло человеческой крови, когда медик этот по-фельдфебельски рявкнул на него, офицера, требуя помощи, и Чарыков, содрогаясь от страха, помог. К ночи защитники Севастополя потеряли убитыми и ранеными две тысячи триста шестьдесят два человека. Эту цифру он тоже никогда не забудет, потому что его-то спас тогда сам бог.

А незабвенная Адель тем днем в имении графа Александра Егоровича Конкрике, что в Александровском уезде Екатеринославской губернии, рожала Николеньку. Известие о событии сем пришло с большим опозданием. Чарыков давно переживал, высчитывая сроки, при любой оказии забегал на городскую почту, где наказал оставлять его корреспонденцию. Получив долгожданную весть, пошел со слезами на глазах к полуразрушенному Петропавловскому собору, опустился среди камней на колени и долго молился, благодаря господа за благополучное разрешение супруги от бремени, за наследника и за сохранение его, Чарыкова, жизни среди этого смертного ристалища.

Через месяц Чарыков ясно увидел, что нет одного центра на полуострове, руководящего обороной. Главнокомандующий князь Меншиков болел, ничем не командовал, никого не принимал и вдруг, сместив себя с высокого поста, уехал в Симферополь принимать ванны. Следом пришла весть о смерти государя, и, оглушенный ею, Чарыков впервые засомневался в успехе кампании. Передавали, что государь, лежа на походной кровати в своем кабинете под солдатской шинелью, позвал внука и будто бы сказал будущему цесаревичу свои последние слова: «Учись умирать». Шептались в Севастополе и о причинах смерти. Государь будто бы попросил у своего врача лекарство о т в с е х б о л е с т е й, а когда почувствовал конец, то попросил противоядие,— лейбмедик Мандт, которого Чарыков знавал в Петербурге, только развел руками. И вскоре после смерти государя уехал на родину, в Германию.

А летом пришла смерть Нахимова, после которой Чарыков окончательно разуверился в победе. Потом были английские минные подкопы и контрподкопы Тотлебена, меткий, избирательный штуцерный бой и спешное строи-

тельство моста через залив, новые бомбардировки и тяжкие отбития штурмов.

27 августа французы выкинули над Малаховым курганом свой флаг. В числе последних защитников крепости Чарыков ушел по мосту на северную сторону уже под утро следующего дня, всю ночь проведя с охотниками, взрывавшими, поджигавшими город и оборонительные сооружения. Не обращая внимания на близкие разрывы в воде, он, почти падая от усталости, брел хлипкой переправой, то и дело оборачивался назад и глотал горькие слезы позорной ретирады.

Николеньку нашел он весьма похожим на себя. Сын уже пытался что-то произносить, смотрел вполне осмысленно, пребольно дергал отцовские усы. Вскоре они всем семейством переехали на жительство в Полтаву. В тех местах полтора века назад Петр Великий положил начало славному восхожденью России на вершину истории, и горечь недавнего поражения здесь была острей, чем где-либо. Вскоре после приезда Чарыков нанял экипаж и съездил с Николенькой на место давней битвы. Положил его, спящего, в жухлую осеннюю траву и долго сидел подле, задумчиво осматривая пространства, обильно политые когда-то русской и шведской кровью.

Николенька рос необыкновенно смышленым и еще в младенческом, можно сказать, возрасте решал со старым французом-гувернером алгебраические задачки для старших гимназических классов. Гувернер этот, рекомендованный графом Адлербергом, был математиком и ботаником, музицировал, пел, несмотря на свои преклонные годы, легко танцевал, а перед завтраком ежедневно возбуждал аппетит смешными упражнениями при открытом окне даже зимою. Он тихо скончался в доме Чарыковых, прошептав перед смертью, что легко умирать, если остаются ученики.

Временами Чарыков тайно страдал от сознания того, что он, быть может, испортил сыну жизнь, твердой отцовской волей нацелив его не на служение науке, а на служение государю. В Эдинбурге, куда он отправил в свое время Николеньку, шотландские наставники быстро обнаружили способности Николеньки к математическому счету, а в последнем письме своем ученый попечитель пансиона рекомендовал отцу не забирать сына в Россию, потому что этот маленький русский феномен достоин Оксфорда. Чарыков же еще в Севастополе, у собора, ввиду окружающих его напрасных страданий и безмерного пролития

невинной крови, дал обет направить сына-первенца на просторное поприще государственной службы, лелея надежду увидеть его среди лучших мужей России, умело и осторожно ведущих народы ее через рифы истории к великому будущему. Петербургский лицей министерства иностранных дел открывал к блестящей карьере изначальную тропку. Николенька уже хорошо, достойно пошел по ней... Если бы не эта война!

Но что, что могло с ним случиться? Ни весточки, написанной знакомым неразборчивым почерком, ни письма боевых его товарищей, ни официального сообщения. В Севастополе пластуны уползали ночами к неприятельским позициям, далеко не все возвращались. И Николенька писал, что удостоен Георгия как раз за опасную рекогносцировочную атаку посреди ночи. Снаряды теперь стали тяжелее и сильнее, динамитная начинка подкопов разрушительнее, а нарезные ружья, которых в русской армии пока нет, бьют без промаха... Написать Скобелеву? Чарыков лично его не знал, однако немало слышал о нем в доме графа Адлерберга и издавна был знаком с Ольгой Николаевной, матерью этого яркого, способного, кажется, сверх меры честолюбивого человека. Она доводилась сестрою графине Адлерберг, урожденной Полтавцевой, и Чарыков неожиданно вспомнил сейчас, как лет двадцать пять назад увидел в доме графа крепкого, розовощекого мальчика, который, однако, почему-то капризничал, ревел басом, и его быстро увели в детскую. Наезжая по делам в Петербург, Чарыков до самых последних лет бывал у графа. Дамы не единожды затевали при нем пересуды о служебных неприятностях ненаглядного чадушки в Туркестане. Екатерина Николаевна, не скрывая своего пристрастия к отчаянному племянничку, издалека опекала его, что со временем начало раздражать даже графа Адлерберга, самого невозмутимого и трезвого из всех людей, каких Чарыков знал. Ротмистр Скобелев, как это вытекало из всех разговоров, был снедаем служебным рвением, стремился выделиться любой ценою, мог унизить сослуживца и солгать начальнику, хвастливая бравада и подлинная военная доблесть были столь неразделимо перемешаны в нем, что он однажды услышал клеветнические и завистливые шепотки, будто им движет обыкновенная трусость. Такое оскорбление смывается только кровью, но

вызывать было некого, и Скобелев решил драться со всеми офицерами подряд, по списку. После благополучных для него двух дуэлей разразился невероятный скандал, поднятый офицерскими женами и прекращенный только решительным вмешательством командующего Туркестанским военным округом Кауфмана. А когда началась франко-прусская война, Скобелев неожиданно появился в Петербурге. Позже Адлерберг рассказывал Чарыкову, что тот предавался чрезмерным возлияниям и так рвался в прусскую армию, что даже граф поддался уговорам сестер и согласился похлопотать об этом необычном командировании. И ладно Милютин, всегда считавший, что именно со стороны немцев грядут главные военные опасности для России, восстал непоколебимо...

Нет, этому бешеному Скобелеву, не жалеющему ни себя, ни воинов своих, Чарыков писать не станет. Вполне приличествовало обратиться к графу Адлербергу по столь важному делу, тот поймет отцовские муки, душа у него мягка и доступна христианскому чувству. Чарыков достал меловую бумагу, почистил о мягкую подушечку перо. «Любезный друг, милостивейший государь Александр Владимирович! — задумался, не зная, как приступить, но понимая, однако, что следует с возможной краткостью изложить существо дела.— В сей грозный час плевенских баталий ты пребываешь неотлучно при Государе нашем, да благословит Бог царствие Его, и я нижайше прошу простить меня за послание сие, побудительною причиною коего...»

Он отложил перо и снова задумался. К месту ли придется его послание? Прилично ли в тот момент, когда решаются судьбы России, жертвующей тысячами светлых жизней, а государь и его приближенные обращают все силы на перелом в этой тяжелой войне, вторгаться с личной просьбой? И досуг ли графу Адлербергу читать что-либо, кроме обширной государевой почты, телеграфических сообщений из необъятной империи, донесений военных и дипломатов со всего божьего мира?

Чарыков знал безмерную исполнительность и аккуратность графа, его верность долгу...

Познакомились они в Париже зимою 1845 года, в тяжкую для Чарыкова полосу его жизни. Он уже год путешествовал по свету, жил в Лондоне, Вене и Риме,

всякий раз возвращаясь в Париж и нигде не находя себе места.

Случайные недолговременные знакомства в поездах, пароходах, гостиницах, ресторациях обманывали своей призрачной новизной и пестротой. Всюду была чужая, равнодушная ко всему, кроме самой себя, жизнь. На женщин, особенно тех, путь к которым открывали деньги, он не мог смотреть — в глазах все время стояла одна, единственная, оставшаяся в России, недоступная, прекрасная и, как выяснил он, коварная и безжалостная, что стало причиной его скитаний. Как многие русские люди в горе, он пытался утешиться вином, только оно не могло оживить омертвевшую и оскорбленную душу. Летом в отчаянии сел на корабль, плывущий в далекую Америку, побродил неделю по многолюдным авеню и стритам, где ему стало хуже всего, потому что никогда он не ощущал такого одиночества и затерянности. Смешением рас и языков, лихорадочным строительством и невиданным портовым оборотом город показался ему не Новым Йорком, а новым Вавилоном, который когда-нибудь разрушит себя. В глубь страны он не поехал и потом никогда и никому не говорил о том, что был в Америке. Выдержал обратный вояж по бурному океану, из-за смертной тоски и жестокой морской болезни остановился в знакомом афинском отеле, не зная, что же ему делать дальше. Как он потом понял, надо было непременно что-то *делать*, а тогда он уже ничего не хотел, кроме вина. В русском посольстве встретился молодой граф Адлерберг, только что прибывший из Петербурга, и пригласил его пообедать вместе, вверившись гастрономическим познаниям Чарыкова. Они оказались одногодками, холостяками, военными, оба происходили из старинных дворянских родов и, кажется, удивительно подходили друг другу характерами. Граф держался некичливо, смотрел сочувственными умными глазами, умел слушать. Сверх всего, это был русский человек, немногословная мягкая речь которого звучала сладкой музыкой для соскучившегося по родине вояжера, чья карета опрокинулась на плохой дороге. Чарыков, по обыкновению выпив, вдруг разоткровенничался и в первый раз поведал о том, как служил адъютантом у генерал-губернатора Виленского, ковенского, гродненского и минского Федора Яковлевича Мирковича, как влюбился в замужнюю дочь его Марию Федоровну Демидову, рассказал о ее чарующем голосе, небесных глазах, светлых волнах ее волос и о том,

как она, ответив взаимностью, вдруг неблагородно поступила с ним. Он уже начал было клясть себя за слабость, помрачнел, но Адлерберг не посмеялся над ним, ни о чем не переспросил, ничего не посоветовал — просто предложил составить ему компанию в африканской поездке.

Чарыков охотно согласился, сказав, что жажда странствий у него, должно быть, в крови, потому что первое дальнее путешествие совершил еще до своего рожденья. Граф улыбнулся и спросил, как это могло быть, а Чарыков рассказал, что матушка его летом 1818 года, будучи беременной, поехала в Киев на богомолье. В своей карете и на своих лошадях она возвращалась назад, спешила, и однажды ночью карета перевернулась. Ее замертво внесли в избу, а бабка-повитуха, разысканная по сему случаю, объявила, что будет выкидыш. Тогда, согласно семейному преданию, хозяйка избы взяла барыню за ноги, встряхнула, плод поправился, и матушка благополучно доехала до Пензы...

Граф Адлерберг своей участливой приязнью встряхнул Чарыкова второй раз.

Через Грецию они прибыли в Египет, где лазали вдвоем на пирамиды, и перед величием далекого прошлого мельчали, отступали пустые сегодняшние страдания Чарыкова. Потом Иерусалим, памятное моленье, рискованная поездка на верблюдах в аравийскую степь, и везде было жарко и нигде не было вина. А в Константинополе его ждал вызов из Петербурга — граф Владимир Федорович Адлерберг приглашал на службу. Чарыков читал нежданную бумагу с родины и благодарно поглядывал на приятеля, который рассматривал резное окно посольства равнодушно и рассеянно, словно был совсем непричастен к этому сюрпризу. Морем, через Одессу они вернулись в Россию. Чарыков ехал умиротворенный, чрезвычайно довольный дружеством спутника, вдохновленный новыми надеждами.

Служебные обязанности оказались многообразными и вполне удовлетворяли развившуюся страсть Чарыкова к дальним скитальчествам. За пять лет в роли чиновника особых поручений объехал всю Российскую империю. Но когда в 1847 году он был пожалован в камер-юнкеры двора, то пренебрег возможностью прочно осесть в столице — новые места и перемены обстоятельств жизни все еще манили его, да и петербургский свет отвращал своею пус-

тотой, грязными сплетнями и непонятной злобной завистью, раздирающей души самых, на первый взгляд, благонравных и достойных господ. Тягостно, тесно было в столице, все время хотелось независимости и простора действия. Необыкновенной была долгая поездка в Сибирь с Батмановым, самарским соседом по родовому имению. Чарыков увидел необъятные края, похожую на российскую, но какую-то по-особому величественно-дикую природу — темные леса, пока не тронутые топором, горы, на которые люди еще не ступали, такие реки, что было даже удивительно, откуда они брали столько ясной воды. Со страстью и силой бил волнами в своей каменной чаше богатырь-Байкал, словно каторжник, рвущийся на свободу. На приисках, принадлежащих матери Батманова, посмотрел, с какими трудами роют здесь золото, и невольно стыдливо вспомнил о том, как легко оно в Париже утекает из рук русских мотов.

На обратном пути Чарыков сильно застудил грудь и полных пять недель пролежал в Томске, будучи почти уверенным, что горячечный жар сожжет его дотла и он навеки останется посреди этой белой сибирской пустыни. Батманов ходил за ним, как нянька, губернатор навещал, лучший томский врач, из ссыльных, каждодневно бывал, и все время менялись две сиделки, которым Батманов щедро платил.

Поднялся он к рождественским морозам, ожил, и заштатный городок этот, утопающий в снегах, показался ему под зимним солнцем близким и милым, словно вторая родина. Путешественникам подарили на дорогу мешок пельменей, большую корзину мороженого молока, тяжелую низку осетровой вязиги, выделанного медведя, а главное, присоветовали купить добрый возок, обитый собачьими шкурами. Накатанными купеческими дорогами, обгоняя чайные обозы, благополучно добрался до столицы.

И еще была одна дальняя, особого значения, поездка, перевернувшая всю его жизнь. В Оренбурге он исполнил важное поручение Адлерберга-отца, время оставалось, и на обратном пути он решил заехать в свое родовое имение под Самарой, где не был много лет, получая оттуда лишь деньги, почему-то уменьшавшиеся со временем в количестве. На пути из Оренбурга, сплошь метельном и бездорожном, ждало его большое событие, нежданный поворот судьбы.

Ему шел уже тридцать третий, и он бы, наверное, так

и не женился, потому что был юношески, не по годам, несмел с женщинами и, кроме того, за все эти годы так и не смог вытравить в себе память о Марии Демидовой. И вот к ночи, уже в пределах Самарской губернии, возок Чарыкова был остановлен какими-то мужиками и силком поворочен в сторону, на глухую лесную дорогу. В чемодане лежал пистолет, однако дюжий парень в нагольном полушубке нагло расселся на вещах Чарыкова, только весело захохотал в темноте, когда проезжий барин взялся стращать его жестоким наказаньем за насилие над государевым чиновником.

* * *

Не единожды потом карета жизни Чарыкова направлялась по непредвиденному пути, останавливалась, опрокидывалась, и со всем, что ни выпадало, он, слава богу, справлялся. Но теперь уже, однако, не сможет выдержать, ежели Николеньки — надежды его и гордости — нет в живых. Писать графу Адлербергу не след, подождать надобно — может, объявится где-нибудь сын. Человек все же не иголка в стоге, георгиевский кавалер в русской армии найдется живой или мертвый, а письмо ничего не способно изменить. И надо заняться делом, чтоб не думать, не мучиться...

Чарыков бегло просмотрел свежие дела о розыске лиц и политической благонадежности, о возвращении ссыльных 1863 года, о покупке земли. Число последних увеличивается, и пусть бы так оно шло, потому что земле нужны хозяева, работники, а не сидки, проживающие отцовские достатки. Надо только строго следить, чтоб земля переходила в надежные руки, а не для выгодной перепродажи или паразитической аренды. Но как за этим уследишь?

Согласно циркуляру валуевского министерства Чарыков разработал обязательство для покупщиков, составленное, кажется, недвусмысленно и ясно. Да вот оно, подписанное каким-то незнакомым Чарыкову купцом: «Обязуюсь как за себя, так и за наследников и преемников прав моих, то имение не продавать, не закладывать и никаким иным образом не передавать уроженцам польского происхождения и евреям, и ни тем ни другим управление им не поручать». Как уследишь, да и чем лучше будет этот, например, купчина? Он своего нипочем не упустит, и недаром во владении у купцов сейчас самые большие в гу-

бернии наделы — по три тысячи среднестатистических десятин. И мало, совсем почти нет прошений о покупке земли крестьянами. Да из каких достатков взять им средства? Захлестнула их аренда петлей, а здешние земли едва прокармливают — в Минском, Новогрудокском да Слуцком уездах глины желтые, в Игуменском и Борисовском — бедные супеси да валунники, а того плоше бесплодные южные места, где гольные пески на возвышениях и сырые травянистые торфяники в низинах. Какие тут могут быть хлеба, льны или овсы? Бульбы хотя бы хватало. Нужен справедливый учет арендаторского крестьянского труда, удобрения, машины, введение хотя бы трехполки, а то по иным местам еще живет «лядинная» система, первобытная подсечка. Земства в губернии так и не учреждены, снизу хлопотать за крестьян некому, а что он может сделать сверху? Почти ничего!

В министерстве внутренних дел полагают Минскую губернию осчастливленной железными дорогами. Это верно, по дорогам этим губерния Чарыкова на втором месте в России стоит. Московско-Брестская тянется с северо-востока на юго-запад, наперерез ей Либаво-Роменская — как-никак пятьсот верст и почти тридцать станций, да только нечего грузить и возить, лишь народу по чугунке легче уезжать на черные работы. Валуев-то понимает его положение, зрит, как всегда, в корень. При последней встрече в Петербурге спросил, покупает ли минский мужик землю.

— Понемножку прикупает, Петр Александрович,— ответил Чарыков.

— Как много? — пронзительно взглянул Валуев.

— Ну, это сейчас мне трудно сказать,— попробовал отговориться губернатор.

— Хорошо, а сколько процентов земель губернии уже принадлежит крестьянству?

Чарыков, поняв, что Валуев зачем-то добивается точных данных, быть может, для какой-нибудь важной надобности в Государственном совете или Комитете министров, сказал:

— В отчете было.

— Не помните или трудно сказать?

— Скорее последнее, Петр Александрович... Однако скажу. У дворян почти девяносто три процента, у купцов — более четырех, у мещан и прочих едва не полтора.

— Следовательно, Валерий Иванович, у крестьян...

— Остальное. А ежели точно — один процент с третью. По самым последним сведениям.

— Да, остаток,— задумался министр, глядя в окно и шевеля седыми пушистыми баками.— И тот на болотах?

— Нет, в разных местностях. И на болотах, конечно, есть... Но я осушаю, Петр Александрович, вы наслышаны...

— Наслышан, Валерий Иванович, наслышан... Процент с третью. А ведь пятнадцать лет миновало!

— По моим наблюдениям, Петр Александрович,— сказал после паузы Чарыков,— время великих реформ кончилось.

— Да, Валерий Иванович. Тогда же, когда началось.— Валуев поднялся, вышел из-за стола и протянул руку.— Ну, осушайте, осушайте с богом! Зачтется...

Странно. Валуев всю жизнь стоял на страже интересов землевладельцев. Что с ним происходит? Чарыков заметил, что после встреч с Валуевым всегда оставалось что-то, о чем не говорилось во время визита, но думалось после, в пути и дома, при ведении бесконечных дел губернаторской канцелярии и в ревизионных поездках.

* * *

Чарыков совсем не стал смотреть дела об оскорблении присутственных мест и должностных лиц, внимательно прочел лишь бумаги отдельной папки о нанесении оскорбления его императорскому величеству. Какой-то пьяный мужик из-под Бобруйска, безобразно богохульствуя, упомянул в срамных выражениях имя государя. Подобных дел за этот год прошло не менее десятка, и все они, как водяные капли, были похожи друг на друга. Должно, другие времена подходили. В бытность свою симбирским вице-губернатором Чарыков не раз исполнял поручительства по разбору скандальных случаев, но такого сорта поступки встречались куда реже, чем сейчас,— люди, обиженные местной властью, чаще грозились, что дойдут до самого царя. Да, иные времена, иные и слова, но неужто иными становятся с этими временами подданные Российской империи? Но как они не понимают, что дело вовсе не в личности государя! Он милосерден, добр, на взгляд Чарыкова, даже мягок излишне, но проникнуться нуждами всех — нет таких сил ни у одного человека...

Так, а эта завершительная справка об осушении Полесья? Она... Куда задевались очки-то? Только что были тут.

Да на месте они, на носу то есть. Годы. Стареть начал господин губернатор, забывчивым стал, рассеянным. На днях, торопясь к сроку, заявился на службу и к концу визита Альбединского заметил, что брюки не совсем в порядке. Пришлось извиниться, а вице-губернатор, человек на редкость нелегкомысленный и строгий, серьезно заметил, что одна пуговичка вполне простительна. Альбединский, кстати, просит земли и леса с двадцатилетней льготной рассрочкой. Придется походатайствовать перед Валуевым на сей счет — чин у Ипполита Петровича невелик, надворный советник всего-то, и его многолетняя верная служба столь трудному краю будет этим способом достойно возблагодарена и старость обеспечена. На вице-губернаторском посту Альбединский пребывал только год. Чарыков давно замечал его усердие и, кажется, не ошибся, потому что Ипполит Петрович с пристрастием и толком занимался главным — канализацией сырых земель. В этом, 1877-м немало новых людей объявилось и продвинулось. Чарыков чувствовал, что начал уставать, скоро уйдет, пожалуй, в отставку, ему хотелось оставить губернию лучшей, чем она была, вручить ее в надежные руки. В январе Чарыков пригласил заведовать неофициальной частью «Минских губернских ведомостей» Григория Кулжинского на смену нерасторопному Илье Изергину, чья вялость заметно отражалась в газетных столбцах, в тексте и самом выборе новостей. В Петропавловском кафедральном соборе недавно отслужил первый молебен новый архиерей Евгений из епископов Ковенских, викариев литовских, епископ Минский и Бобруйский. Пока не проявился губернский предводитель дворянства действительный статский советник Павлов, избранный после смерти досточтимого Евстафия Станиславовича Прошинского, который свыше полувека трудился на пользу здешнего общества. Умер он с началом весны в возрасте восьмидесяти лет и до самого последнего часа сохранял ясность ума — когда Чарыков появился у его смертного одра, Прошинский повел рукою, желая повременить с причастием, и едва слышным голосом вопросил губернатора, подтопило ли полыми водами Полесье.

Вместе с Прошинским зачинал Чарыков большие осушительные работы, и губернский предводитель дворянства всячески поощрял участвующих в расходах князя Витгенштейна, графиню Гейден, помещика Кеневича, крестьян из Белева, Пухович и других полесских сел. Еще в прошлом году, будучи прикованным к постели, почтенный старец,

помнится, живо интересовался, как идут новые инженерные изыскания — где сделана нивелировка и бурение, какие выявлены частные уклоны в притоках Припяти и чему равны секундные расходы воды...

Чарыков поднялся размять затекшие ноги, прошелся по кабинету. Да, война войною, а дело делать надо... Сын, Николенька... Нет, не следует возвращаться. Ждать, только ждать! Дочери, у каждой свое — одна слаба здоровьем, а дети пошли в нее, другая от странного своего брака родит скоро, и ждут ее те же заботы, за третью отцовская совесть мучит, не дает нигде успокоенья,— и лишь самая младшая пока не вызывает беспокойных дум, потому что мала еще... Сын, дочери, а сверх всего супруга, о коей совсем уж не хочется думать, иначе потеряешь способность думать о чем-либо другом...

Записка с приложением карты губернии — каналы штрихами, новые дороги. Вот этот заветный четырехугольник: Речица на Днепре, устье реки Славечны, Якимовская слобода на Березине, почтовая станция Кузмичи на Славечне. Полмиллиона десятин! Первые осушительные работы в губернии начались за год до назначения сюда Чарыкова, только шли они между Припятью и озером Жид. Новый губернатор продолжил их, положил провести пристальные исследования на предмет осушения Туровской казенной дачи общей площадью в сотню тысяч десятин. Раньше это считалось делом невозможным, но Чарыков при содействии Валуева направил туда специальную экспедицию с новыми немецкими инструментами. Кроме трехверстного канала, был сделан большой перекоп, и вот громадное Волоховское болото длиною в тридцать и шириною в десять верст начало заметно сливаться к Припяти. Этим летом канализированы долины и бассейны речек Своди, Вить и Ведричи, что развило общую систему, учреждавшую — после полного осуществления идеи — свободное движение вод между Днепром и Припятью. К осени осушение продвинулось дальше, на запад — к обширной Автючевичской даче. Перед первыми обильными дождями расчистили речку Закованьку от Гулевич до устья на протяжении семнадцати верст, а в следующем году надо переходить с работами на правую сторону Припяти.

Нет, не зря прошел этот год! Судя по записке, сделано сто сорок верст каналов, понизительных каналов, спрямлений, речной расчистки и, следовательно, всего при Чарыкове пройдено работами более трехсот верст. Четыреста

тысяч десятин осушено, осталось сто, и Чарыков не уйдет, пока вся эта восточная окраина Полесья не благоустроится.

И есть, есть уже первые прибытки! Раньше по деревням Корыстынь и Тишковка Речицкого уезда, в Будке, Боклане, Найде, Гребке, Пуховичах и Ляховском Мозырского уезда затопляло не только погреба и подполы — вымокали озимые, огороды были плохими, водянистым, с паршой и гнилью урождался картофель. А в этом году, несмотря на высокие весенние воды и мочливое лето, подтопов и разливов не было, хлеба и овощи удались. Крестьяне из Белева, Пухович и соседних хуторов прежде других поверили в полезность этих тяжелых работ и первыми пожинали плоды трудов своих — собрали хорошие озимые с таких мест, где раньше вымокали даже яровые. А в Речицком уезде уродили овес с гречихой на бывшем гиблом болоте! Корыстынские селяне распахали просохшие закраины низин, выкопанный торф пораструсили, сняв сходные по здешним местам яровые хлеба. Со скотом полешане вечно мучились — тростниковые да осоковые заросли заполняли пастбища, отбивали у коровенок молоко. На канализированных пространствах уплотнилось к этому году не менее пятидесяти тысяч десятин, взялись отмирать травы-влаголюбы, и весь скот привольно пасся с самого мая месяца.

А сверх всего — дороги! Бездорожная Россия всю жизнь стояла в глазах Чарыкова. В Симбирской, потом Вятской губерниях и в необъятном Зауралье, здесь, в Белой Руси, бездорожье было проклятьем, наказанием божьим, а Полесье страдало от него, кажется, пуще всех мест, какие губернатор проехал. И он полагал, что с осушением возникнут дороги. Ну, не сами собой возникнут, понятно, все надобно побуждать, за всем следить, всему предаваться с расчетом и терпением, только тогда на земле чего-нибудь подвинется в лучшую сторону.

Исходным распоряжением его и двухлетним старанием местных жителей, тянется от Речицы к Мозырю осушенными болотами дорога. Какая-никакая, а все-таки дорога в полсотни верст, уже соединяющая летом Тишковку с Будкой, Бабичи с Василевичами. Самое глухое, комариное место за Василевичами придется проходить следующим летом, и когда покорится сие обиталище лешего, путь к Мозырю составит всего сто верст, в отличие от окольного, почтового, по которому набегает едва не полтораста. На тридцать верст сокращен осушенной ровной долиной преж-

ний путь из Петрищева в Туров. А дорога из Белева через Пуховичи в Ляховичи совсем хороша! Она радует не только тем, что ведет к берегам озера Жид, прежде совершенно недоступным, но и будущим развитием — ежели предпринять канализацию на север до Осова, то далее уже имеется надежное сообщение с хлебородной местностью Слуцкого уезда... Только вот кого назначат на смену Чарыкову, когда он уйдет в отставку? Ладно как новый губернатор примет к сердцу нужды этого сырого печального края.

Газета, должно, вышла, и сейчас, к обеду, принесут, свежую, пахнущую типографским свинцом. В ней последние телеграфические сообщения с войны, из-под Плевны, где затерялся ненаглядный Николенька, чарыковский росток и услада.

...Сибирский возок его, утепленный собачьими шкурами, едва полз по незнакомой и плохой, занесенной снегом, дороге. Лошади пристали. Недаром возница-ординарец молил не ехать после обеда, заночевать и дать роздых лошадям. Не послушался, думая добиться к ночи на почтовую станцию, означенную в подорожной, а назавтра, бог даст, преодолеть последние пятьдесят верст и оказаться в своем имении, у сестер, коих он не видел столько лет. А теперь куда его везут и что хотят с ним сделать эти разбойники? И почему они сразу не убили, не ограбили его, почему громко, как лошади, ржут назаду? Чарыков то и дело заглядывал в глазок, но решительно ничего не было видно через круглое двойное стекло — совсем затемнило, и, к тому же, валил густой снег, начавшийся давно перед сумерками.

Но вот лошади побежали шибче, забрехали собаки, и в стекле поплыли тусклые и редкие огоньки — не иначе, село какое-то. Возок остановился, и дверцу открыли снаружи. Чарыков увидел пустой парадный подъезд большого барского дома. За белыми деревянными колоннами горели в широких окнах свечи, слышалась музыка, но почему-то концертная, не бальная, и свечное пламя в люстрах не колыхалось, как это бывает на балах. Изящный, молодой, весь в золотых позументах слуга встретил его французскими приветствиями за тяжелыми дубовыми дверьми. Грассируя и прононсируя, как старательный гувернер, пригласил раздеться и умыться с дороги, потому что барин не желает ужинать без дорогого гостя.

— Что такое? — с недоуменным раздражением спросил Чарыков, поняв, однако, что беды особой не будет в этом доме, куда столь странным образом приглашают гостей.— Какой барин?

— Известно какой — наш! — перешел на русский слуга.— Его знает все Заволжье.

— Не знаю,— возразил Чарыков, все еще испытывая унижение от бесцеремонности, с какой его доставили сюда, хотя в душе был уже доволен, едва оказавшись в тепле, среди людей, и нежданное приключение сулило неизвестность — единственное, что влекло его последние годы по России.

— Где я?

— Вы — в Богдановке моей!— раскатным рыком отозвалось по прихожей, и даже свечи пригасли.— Покорнейше прошу прощения за все...

Чарыков обернулся и увидел человека лет пятидесяти, в лицо которого надо было смотреть снизу вверх; тяжелая голова на бычьей шее, холеная русая борода, плечи непомерной ширины, живот, рвущий пуговицы пиджака, скроенного и пошитого, однако, согласно парижской модели, несколько устаревшей, но вполне еще приличествующей.

— Вы полагаете, что задержание такого рода?..— спросил Чарыков, одергивая полу мундира.— С кем имею честь?

— Путилов,— представился хозяин с поклоном.— Дмитрий Азарьевич. Коренной «степняк», тоскующий по свежим людям. Вы русский человек — должны понять меня. И простить, так? С вами достойно обошлись?

-— Вполне. Однако позвольте назваться...

— Знакомиться будем за столом, так? Прошу! Что бог послал...

Много чего бог послал, помнится, на тот стол! Молочного жареного поросенка, пулярку по-французски под соусом, белорыбицу в сметане, каспийский залом, икру и осетровый балык, мелкие, как пуговки, печеные грибочки, провансальскую капустку с клюквой, необыкновенного привкуса холодец, свежий редис, зеленый лук, какую-то терпкую траву — среди зимы-то! Шампанское стояло, привозные коньяки, вина, домашние настойки и ягодные соки, в вычурных саксонских посудинках таились острые подливки, еще что-то, до чего Чарыков так и не добрался за вечер, и хотя стол представлял собою сочетание легкой французской и тяжелой местной кухни, сервировано все это было с претензией на столичную изысканность.

В зале играли музыканты. Не балалаечники и не дудочники в расшитых рубашках, а настоящий фрачный оркестр — скрипки, виолончели, фаготы и флейты. Когда гость вошел, инструменты мгновенно перестроились на бравурную праздничную мелодию, которая постепенно и незаметно перелилась в тихую, успокоительную, не мешающую знакомству и разговору, потом совсем прекратилась, и музыканты взялись неслышно прислуживать — менять приборы и наливать вино, причем делали они это безо всякого подобострастия, а с достоинством, напоминающим ресторанный парижский шарм.

— Краем уха слышал,— пробасил Путилов, когда Чарыков представился,— род старинный, здешний, да только вы-то в наших местах не показываетесь, больше по столицам. Павловка-то заложена?

— Пока нет.

— Умница! Не промотал.

Покоробил этот панибратский тон, и было б худо, если б так дальше пошло. Лучше пить-есть и не побуждать никаких разговоров, а то еще целоваться полезет этот задичавший «степняк».

За столом больше не было никого, Чарыков понял из слов хозяина, что он вдовец, и вспомнил, как сестры не раз писали ему об одном вдовствующем помещике их уезда, скандализирующем Самару. У него будто бы все лучшее — лошади, оркестр, слуги, дом на Дворянской улице. Не о нем ли? Сестры писали, помнится, об ужасном прошлогоднем самарском пожаре. Сушь долго стояла, и сильный ветер далеко разметывал огонь. Город горел целыми улицами. Люди бросали все, искали спасения в Самарке, но занялись хлебные амбары вдоль нее, и пламя перекинулось на баржи, груженные смолой. Самарцы сгорали живьем, топли, и на одной из улиц целиком пропала в огне пожарная команда. А этот помещик собрал будто бы всю дворню, погорельцев, бар и купцов выгнал на тушение, носился, как дьявол, с опаленной бородой и багром в руках — отстоял улицу. Но за ним и другое, кажется, числилось...

— Ваш самарский дом, скажите, на Дворянской улице стоит?— спросил Чарыков.

— На ней,— ответил Путилов.— А что?

— Да так, слышал краем уха.

— В самом Петербурге?!

— Да. Будто бы вы соседа там ограничили.

— Ха-ха-ха!— загрохотал хозяин, и по огромному жи-

воту его прошла зыбь.— Не зря, выходит, старался, так? До Петербурга дошло! Ха-ха-ха!

— Да что у вас с ним вышло?

— Не люблю я его, Обухова-то. А когда я человека не люблю — он мне на дух не нужен, так?

— За что не любите?

— Помещик, в купчишки метит, а купчишек я всю жизнь давлю, так?.. Дом его стоит напротив моего, лицом к Волге. Не дом — двухэтажная конюшня. В моем-то и просторней, и светлей, и гляди — он благолепнее стократ. И вот замечаю я, что он свой купецкий зрак на Волгу настраивает. Каждый божий день стоит у окна и Волгу нашу глазами грабастает! Надо было что-то делать, так? И вот велю я тесу поболе привезти, строю на своей крыше щиты сплошняком. Маляров хороших покликал, они мне проолифили те щиты и красиво эдак, в три краски, под мезонины расписали. Вот тебе, Обухов, Волга! Так?

Путилов показал смеющемуся Чарыкову дулю и тут же, устыдившись, извинился, свалив вину за этот вульгарный жест на вторую, изрядной крепости, бутылку коньяка.

— Совершенно не заметил ничего,— хмелея, пробормотал Чарыков.

— Тогда третью попросим открыть!— решил Путилов.— Дмитрий!

Молодой, яркой еврейской наружности скрипач приблизился, мгновенно подхватил с полу салфетку барина, ловко переставил бутылки.

— Давай, Дмитрий!..

Путилов более ничего не сказал музыканту-слуге, только бровью повел. Дмитрий осторожно, как бабочку, взял скрипку, попиликал на одной струне у рояля, настроился и, тряхнув смоляной кучерявой головой, начал. Чарыков давно не пил так много вина, и музыка сквозь хмель едва достигала слуха, но вдруг прозрачным светом словно смыло все, и он увидел, как страдают печалью глаза музыканта, услышал, как скрипка криком кричит, и некуда было деться от ее рыдающего пенья, а Путилов, грузно сидящий напротив, плачет, не убирая слез.

— Не надо, папаша,— услышал Чарыков за спиною нежный просительный голос.— Вам же опять станет плохо.

Путилов взглянул на оркестр. Все смолкло враз, первая скрипка словно захлебнулась, а из руки хозяина выпала хрустальная рюмка и разбилась на полу. Гость обернул-

ся, и пред ним видение предстало — девушка в простом платье из муслин-вапера, худенькая, в чем душа, с огромными, чуть навыкате, и грустными глазами. Чарыков совсем протрезвел, вскочил и щелкнул каблуками, а она взглянула на него только раз и потом долго сидела рядом, опустив глаза, теребила прозрачными пальчиками бахрому скатерти, отвечала на вопросы не вдруг и почти шепотом. Вокруг стола сидели музыканты, отведав наливки, они ели неторопливо и беззвучно, как истые аристократы, а хозяин громко чавкал, стучал ножом и вилкой, и Адель укоризненно, тревожно взглядывала на него, когда он тянулся громадной трясущейся рукой к графину с калганной настойкой. И еще Чарыков помнит, что он неловко пытался сказать Адели какой-то комплимент и, кажется, посетовал, что люстры малы и он не видит выражения ее глаз...

— У меня люстры малы?! — вскинулся было хозяин, но Адель тронула его кончиками пальцев и усмирила.

Утром Чарыков проснулся от головной боли, собачьего лая и громоподобного крика на дворе — Путилов приказывал кому-то распрягать тройку и закладывать лошадей «гусем». Метели как не бывало, и низкое зимнее солнце било в окно. Чарыков настроился в Павловку, но хозяин ничего не пожелал слушать, повез серебряными снегами через поля, к дальним лесам. Горой возвышался на облучке, хлестал лошадей и, поводя вокруг кнутовищем, кричал:

— Все тебе, Аделаида! Потерпи меня еще немного, Аделаида! Все твое! Я надоел людям, они мне пуще, но хоть ты-то меня потерпи!

Адель беззвучно, будто ее не было тут, смотрела из оренбургского платка, и только раз простительно и ласково улыбнулась Чарыкову, когда он чуть было не выпал на крутом повороте, невольно схватившись за ее шубку. А назавтра, перед самым отъездом, которого он всегда и везде ждал с лихорадочным нетерпеньем, его вдруг впервые за долгие годы охватило безумное желание никуда не уезжать. В растерянности поставил на пол сак и сел посреди комнаты, беспомощно и смятенно думая о том, что оставляет здесь невозвратимое. Раздался тихий стук в дверь, и робко вошла Адель, бледная как полотно. Она опустилась перед ним на колени и, вся трепеща, Христом богом попросила увезти ее куда-нибудь. Чарыков, суетливо поднимая ее, совсем невесомую, прослезился и, как был, одетый подорожному, пошел к ее отцу. Выслушав, Путилов по-

стариковски опустил свои грузные плечи, сказал, что единственная дочь его еще ребенок — ей всего шестнадцать лет, и пусть уважаемый гость простит, только отец обязан навести о нем справки.

— А сейчас — в Самару! — вскочил он.— Пророжу камер-юнкера двора его императорского "величества, .чтоб он до самого Петербурга помнил Дмитрия Путилова!

— Аделаида Дмитриевна с нами?

— А что? — обрадовался Путилов.— Пусть! Я ее, признаться, еще не вывозил, но пора, видно... И прошу вас, о нашем разговоре там ни гугу — вы не знаете самарских мадамов, повыдирать бы им языки с корнем!.. Едем!

Он схватил со стола серебряный, сделанный в виде статуэтки Бонапарта, колокольчик, оглушительно затрезвонил и закричал на весь дом:

— В Самару-у-у!

Выехали целым оЬозом, с оркестром и провизией. Тонко пели полозья, веселили сердце, в котором снова, как в молодости, гнездилась надежда на счастье. В Павловке побыли день, и сестры совсем было завертели Адель перед собою и зеркалами, заласкали, будто малое дитя, счастливые донельзя встречей с братом, еще более тем, что он решился наконец устроить свою судьбу, как все люди. Адель ожила, засветилась улыбками, и отец с удивлением и гордостью поглядывал на нее.

За Павловкой началась непроглядная степная метель, и Адель пересела в чарыковский возок, а ему было стыдно, что тут пахло табачищем и псиной. Адель неожиданно разговорилась в полутьме. Нет, отец сердцем-то хороший, дворню и крестьян не обижает, только временами делается нестерпимым, чудачит на весь уезд. В Самаре побил станового пристава Рамейку и откупился от него и судейских большими деньгами. Ужасно оскорбил одного ссыльного еврея и силком окрестил племянника его Давида, скрипача,— назвал Дмитрием, потому что будто бы один он своей скрипкой понимает его душу. Во время этого крещенья, будучи пьяным, храм оскотинил — теленка в него загнал, и архиерей собирался отлучить папашу от церкви, но богдановский священник не подтвердил кощунства, и все как-то сошло. Его в уезде избегают и боятся за скандалы, mouve ton, а сами этих скандалов ждут не дождутся. Адели слишком тяжело с ним, иногда он ее совсем не слушается, и она тайно просила штабс-капитана Шелгунова увезти ее...

— Что за штабс-капитан? — полюбопытствовал Чарыков.

— Это прекрасный человек! — горячо воскликнула Адель, и Чарыкова охватило постыдное чувство ревности.

— Нет, нет, он совсем не то, что вы можете вообразить! Он так смело думал о жизни и так хорошо говорил о своей невесте! Потом поехал в Петербург, обвенчался с нею, привез сюда, как раз после пожаров, и перестал бывать у нас.

— Чем же он занят здесь? — спросил Чарыков, успокаиваясь.

— Леса ревизует.

В Самару они приехали к большому здешнему событию — уезд был преобразован в губернию. Прибыл губернатор Волховский, начались представления и знакомства, был молебен и торжественный обед *в* Дворянском собрании, множество приглашений в разные самарские дома, но Чарыков спешил, и кроме того, ему больше всего на свете хотелось побыть с Аделью. В памяти остался обычный калейдоскоп провинциальных лиц, и только штабс-капитан Шелгунов запомнился — он держался независимо среди больших чинов, безо всякого искательства разговаривал с Чарыковым и очень тактично шутил, помогая Адели прийти в себя среди пестрого бала. А юная жена его, Людмила Петровна, чудесно играла на рояле. Путилов пытался заполучить ее в свой дом, чтоб она помузицировала с оркестром перед гостями, однако штабс-капитан как-то слишком убедительно отговорился от этого приглашения. Путилов обиделся и вдруг отменил званый обед, сказав Чарыкову:

— Ему бы все про Гегеля да Гоголя! Но Путилов два раза никого не приглашает... Скушно мне тут, ой скушно!

Он мрачнел в Самаре с каждым днем, потом загулял. Чарыков, стоя в Дворянском собрании близ толпы его поклонников, нетерпеливо ждущих от своего кумира очередной выходки, слышал, как отец Адели обещался по весне бросить все к черту и уехать на Всемирную выставку.

— И это — губернатор?! — басил Путилов.— На всю Россию нет губернатора в чине статского советника, а нам, самарцам, ошметки присылать? Нет, вы видели, как он архиерею руку целовал? Дворянишко! Ну, я ему покажу! Нет, уж ежели целовать мужчине руку, то одному только царю-батюшке да богу на том свете перед тем, как он к сатане нас направит! Не могу я, господа, тут более. Не могу! В Лондон! В Лондон!

С Чарыковым он расстался хорошо, можно сказать, по-родственному, твердо пообещав выдать за него Аделаиду. «Вы не знаете Путилова, а его слово — кремень!» В день отъезда жениха он мгновенно собрался, сдал свой дом на неопределенный срок семье губернатора и уехал в Богдановку. Весною он заложил имение за двадцать пять тысяч и вправду покатил с дочерью и оркестром, как все считали, в Англию. Только на сей раз Самара ошиблась. Дмитрий Азарьевич Путилов снял в Москве у Тверских ворот дом на тридцать комнат, заплатив непомерные деньги, потому что ему хотелось поближе к церкви Дмитрия Солунского. Пригласил из Петербурга Чарыкова, и тот прилетел, оставив начальству прошение о вступлении в законный брак с девицею Аделаидой Дмитриевной Путиловой, дворянкой. После венчанья в церкви Дмитрия Солунского Чарыков увез лдель в Петербург, оставив тестя среди цыган и пьяной орды московских пристебаев.

А поздней осенью сестра написала Чарыкову, что Путилов наконец вернулся один, разогнав по Москве свой оркестр. Привез только две громадные бронзовые люстры, похожие на рождественские елки, если зажечь в них свечи, последние восемьсот рублей отдал,— более ничего не привез. Но Самара долго удивлялась, потому что Путилов потребовал у губернатора немедля освободить дом, а когда тот отказался, родственничек пригнал из Богдановки хлебный обоз и перегородил с двух концов Дворянскую улицу. Началась целая война, однако полиция ничего не могла поделать с богдановским барином и его мужиками, пришлось господину Волховскому съезжать. Путилов пожил в доме три дня и уехал зимовать в деревню...

Весной, как раз перед пасхой, у Чарыковых родилась дочь Екатерина. Боже, как давно это было — двадцать пять лет назад! Когда дочь подросла, Чарыков хотел отдать ее в Смольный, но граф Адлерберг отсоветовал — там, не образовывая девиц по-современному, готовили пустых придворных дам да петербургских невест. А Катеньке словно и не нужно было образование — она рвалась в деревню, проводя там каждое лето, и даже в Швейцарии, куда он определил ее в дорогой, с тысячерублевым содержанием, пансион, писала, что горы и озеро там хороши, но тесно как-то, и хочется просторной степи. Ах, дети, дети,— у всякого свое, непохожее, и за каждого болит душа... Будь жива незабвенная Адель — настолько б легче было сейчас им вдвоем!

Боже, как постарел Чарыков за зиму! Волосы сделались какими-то пегими, а еще, кажется, совсем недавно только виски были едва тронуты сединой. Ноги стали сухими и будто бы покривели. А насколько быстро начал он уставать и как болела по вечерам голова. Перед обедом словно бы глиной облепляло мозг, потом появлялась за лобными костями тупая и несильная боль, она постепенно разрасталась, а к вечеру рвала уже голову на куски...

Поздней осенью он, пройдя через муки томительной неизвестности, испытал счастье, подаренное господом: Николенька, сын, объявился! Чарыков поцеловал и облил стариковскими слезами письмо от него, написанное невообразимыми каракулями. Почерк у сына всегда был плох, не поставлен и напоминал его, отцовскую, скоропись, но это коротенькое сообщение едва молено было разобрать, словно писал человек, тронувшийся умом. Николенька, однако, связно сообщал, что был оглушен разрывом и засыпан землею, плохо владеет рукой, однако решил сам написать, дабы успокоить отца. Лежит в Боготском временном госпитале. В войлочной юрте не холодно, им, георгиевским кавалерам, дают мясо и водку — тем, кто ее пьет, и он скоро снова в строй, как сказал знаменитый Пирогов, сегодня осмотрев его. Приезжал в госпиталь государь и посетил раненых генералов...

Ждать его было тягостно и тревожно, снова писем от него нет — что опять могло приключиться? Чарыков всю жизнь страдал от любых тревожных ожиданий, ежели они выпадали,— переставал спать, не замечал радостей и, не обладая энергическим характером, запускал дело. Такое с ним было и в молодые годы, и позже, когда встретил он будущую мать Николеньки, незабвенную Адель, и полгода жил ожиданием того, чего он уже переставал ждать.

Какие все-таки странные обстоятельства привели его к тому сватовству, какой непохожей на все известное оказалась его первая женитьба и как необычно, в полном несоответствии с великосветскими правилами, была сыграна свадьба! Это могло произойти потому лишь, что и невеста и отец ее оказались людьми особых, замечательных качеств и поражающего поведения...

Тревожные ожидания известий от сына перемежались всю осень и зиму радостями громких побед, и у Чарыкова постепенно спадала застарелая тяжесть от севастополь-

ского позора, которую он нес в себе долгие годы. Вскоре после письма Николеньки пришла весть, внушившая надежду. И первая большая победа была одержана не там, где находился государь, а за высокими Кавказскими горами, отгораживающими от России азиатский театр военных действий. В коварных камнях горы Аладжа русские чудо-богатыри в пух разбили турецкое войско, и Мухтар-паша едва спасся убёгом в Карс. Через три недели генерал Гейман и Тергукасов добили Мухтара, соединившегося с Измаил-пашой, под Эрзурумом, а под стенами Карской крепости прошел успешный бой за передовой форт Чафиз-паша-Табия. Потом пришло письмо от Николеньки, в котором он сообщал, что Тотлебен взял Плевну в полное обложение, Осман-паше было послано предложение сдаться, но тот решил драться до последней крайности, и ночью турки атаковали русские позиции. Близким ударом снаряда Скобелева сшибло с коня и слегка оглушило — теперь он говорит без нужды громко, следующей ночью его ранило, но совсем легко, и он даже перевязаться не пожелал. В той перестрелке Николенька принял участие из траншеи, однако ничего не было видно и он, как и все, впустую палил на турецкие ружейные огоньки.

Чарыков не спал ночь, думая о Николеньке и ночной войне, о том, какою она может быть страшной. Назавтра, страдая головной болью, он не явился на службу, но ему в спальню доставили известие о взятии Карса. Крепость была атакована вечером, с наступлением непроглядной южной темноты, и всю ночь при свете луны шла ужасная сеча, взято было триста орудий, десять тысяч пленных и почти пять тысяч раненых турок. А из-под Плевны не было никаких сообщений...

Плевна пала 28 ноября, и вскоре Чарыков дождался письма от Николеньки. О себе сын ничего не сообщал, да и не надо было ничего — живой! Написал, что государь оставил раненому Осман-паше оружие в знак уважения к его мужественной защите крепости. А потом от сына опять очень долго не было писем, и Чарыков не раз малодушно принимал и откладывал решение запросить штаб Скобелева. И только после рождества Николенька сообщил, что их отряд обошел Шипку с юга, спустился в равнину по скользким скалам и окружил Вессель-пашу, который этого никак не ожидал и сдался. К Скобелеву будто бы стекаются со всех сторон болгары-ополченцы и просто всякие «братушки», чтобы поглядеть на него. А спустя месяц, в

течение которого Чарыков совсем осунулся, подряхлел и перестал было ждать, пришло последнее письмо от сына, и не откуда-нибудь, а из-под самого, почитай, Константинополя. Скобелевский авангард, преследуя бегущих турок, взял Адрианополь, на плечах неприятеля ворвался в пригород Константинополя Сан-Стефано. В армии ходят слухи, что великий князь Николай Николаевич намеревается брать проливы. Только Николенька в этом великом деле не примет участия — возвращается в Петербург и проездом обнимет отца, который пусть за него уже совершенно не беспокоится — сражения для него кончились. Он пишет из Адрианополя, где все стихло и образовалось, только ночами безумные фанатики нападают на отбившихся болгарских ополченцев и самых беспечных победителей из русских. Прошлой ночью сгорел барак, где спала смертельно уставшая первая рота и штаб полка, опившийся сливовицей. Огонь охватил сухое строение со всех сторон, и десять солдат, находившихся при полковом знамени, сгорели вместе с ним...

Но почему Николенька не желает побыть дома? Ежели из-за мачехи, то это устранимо. Сын не сообщил также, отчего покидает армию до конца кампании, но вскоре в Минске, по всей России и Европе стало известно о заключении почетного Сан-Стефанского мира — поверженная Порта приняла все условия. Чарыков, осчастливленный до конца своих дней, ждал из Бендер или Одессы телеграмму Николеньки, дождался наконец из Бухареста и выехал на вокзал встречать сына. С ним был только вице-губернатор Альбединский, супруга же, которую Николенька так и не смог признать, надумала навестить в Москве свою невестку княгиню Гагарину.

В Минске стояла полная весна. Рыбный рынок, самую низкую часть города, заливала талая вода, наполняя пропадающую речушку Немигу грязью и всяким сором. К Немиге и Свислочи грязной водой сбегали по улицам быстрые ручьи, скворцы заливисто пели в черных зарослях архиерейского сада, ослепительно белой краской мазали дворец графа Чапского. По Губернаторской толпами шли юные и смеющиеся, как и вся жизнь весною, гимназистки без пальто,— а они, по наблюдениям Чарыкова, с годами становились почему-то все красивее. Было тепло, легко на душе и голова не болела в тот ясный день.

Когда Николенька появился на подножке вагона, отец с трудом узнал его — так он исхудал, повзрослел и вроде

бы даже ссутулился. Два солдатских Георгия тускнели на груди его, и Чарыкову застлало глаза. Воин! Кресты эти отец почитал выше офицерских, потому что ими отмечалась сверхотчаянная, доступная далеко не всем, и притом добровольная воинская храбрость. Нет, на поле боя сын не уронил чести чарыковского рода! Николенька сдержанно, как истый англичанин, спустился наземь и склонился над головою отца. Чарыков, зажмурившись, крепко обнял солдата, услышал горячее его дыхание, но тот вдруг нетерпеливо высвободился, побледнел, пошатнулся, и хорошо, что Альбединский в этот момент приблизился и помог. Ах, Николенька, Николенька, всегда понимающий отца лучше и глубже дочерей! Оберегая покой его, он, оказывается, не стал сообщать о тяжелой ране, полученной в последнем ночном сражении. У него было разрублено плечо и повреждена ключица, рана сильно загноилась, и сын весь пылал в жару. Неужто на балканском театре военных действий было то же, что когда-то в Крыму, где раненые солдаты умирали, сгорая в антоновом огне, и никто их даже не перевязывал, потому что врачи. в своем сверх меры малом числе ухаживали только за теми, кто являл признаки несомненного и скорого выздоровления...

Люди смотрели, толпились вокруг. Альбединский побежал на вокзал, чтоб задержать на несколько минут отправление поезда, и Чарыков проводил Николеньку в купе, душное, с кислым запахом мужского пота и засохших бинтов. Молодые офицеры — два уланских и артиллерист на костылях — сразу же вышли в коридор, чтоб отец с сыном могли поговорить. Однако они не говорили ни о чем — молча смотрели друг на друга, и хорошо, что не говорили: Чарыков, не спуская с сына слезящихся глаз, бездумно перебирал трясущейся рукой игральные карты на столике и только тут смог справиться с собой...

Николенька лежал теперь в Петербургском клиническом госпитале, верно шел на поправку, собирался в деревню, на воздух. Это разумно, и врачи советуют. Надо будет послать туда Наденьку, чтобы походила за ним, потому что на руках Екатерины хозяйство и уже свои дети. Ах, дети, дети!..

Еще много лет после женитьбы Чарыков мыкался по России, таская за собою Адель с детьми,— Петербург, Симферополь, Полтава, снова Петербург, Москва, Самара и

опять Москва. Адель наездами жила у отца, терпеливо снося его дикие причуды и спасая себя в безмерной любви к мужу, растущей с годами, к детям, число коих прибавлялось. Летом 1859 года в Москве родилась Надежда. Чарыков снимал тогда квартиру в Вознесенском переулке в доме Устинова, с большими неудобствами,— и пора было искать постоянную пристань. Петербург отвращал его служебными интригами, сырыми застойными туманами, пьяными мастеровыми на улицах, тягостной необходимостью бывать при дворе. Он вспоминал последний торжественный прием в Зимнем. День пожалования Чарыкова в камергеры двора начался хорошо — он был представлен молодому государю, императрица соизволила протянуть ему руку для поцелуя и сказать несколько ласковых слов. А когда объявили ужин, великосветская толпа, блистая бриллиантами и орденами на лентах и камзолах, бросилась, словно целый день ничего не ела, к дверям зала, где были накрыты столы, и образовалась отвратительная давка. Чарыкова завертели, затолкали, больно наступили на ногу, и он, сгорая от стыда, утешал себя тем, что его тут мало кто знает. Нет, в Петербурге он ни за что не согласился бы жить! Купил в Москве хороший дом на углу Гагаринского и Староконюшенного. Отдал прежней его владелице генеральше Кобриевской пятнадцать тысяч и вселился семейством, надеясь, что на этом его скитания кончатся. Тут было тихо, как в деревне, только дома стояли плотно. Все устройство жизни в них напоминало деревенский быт с его неторопливыми чаепитиями и женскими пересудами.

С тестем он эти годы почти не виделся, только знал, что дьявол, живущий в стареющем вдовце, по-прежнему не дает ему покоя. Осенью шестидесятого, когда вся Россия жила предчувствиями больших перемен, Чарыков получил известие из Петербурга о том, что Дмитрий Азарьевич Путилов, приехавший в столицу от заволжского дворянства, к царю не удостоился попасть и скончался в доме Крылова на Михайловской площади. Адель была беременной, слишком недомогала, опухла ногами и не могла похоронить отца. Чарыков из Петербурга поехал в Самару, явился к губернатору Арцимовичу и 30 октября 1860 года был введен во владения Богдановкой, обширными землями, лесами, тысячами крепостных душ, уже почуявших, по наблюдениям нового барина, иную жизнь, волю вольную.

А зимой, перед самым освобождением крестьян, Чары-

кова подкараулило тяжкое, неизбывное горе. Адель с муками родила Оленьку — приключилось у нее преждевременное разлитие вод, и 23 января 1861 года в 11 часов 35 минут она тихо скончалась. Дети ничего не понимали, разве старшенькая только, Катя, которая не слезала с колен закаменевшего отца, гладила нежными пальчиками его мокрые щеки, а он потерянно целовал ее лобик солеными губами. Весь день и всю ночь, меняя лошадей, Чарыков вез покойницу по сильному морозу в святую Троице-Сергиеву лавру. На панихиде пел большой хор, в холодном храме были зажжены все свечи. Княгиня Гагарина истово молилась древним иконам, а он, омертвев, только неотрывно смотрел на белое лицо Адели. Чарыков похоронил жену в мерзлую землю под стенами собора, заказал каменотесам большое надгробие белого мрамора...

Он знал, что уже никогда не встретит человека, достойного Адели, да и какая женщина могла теперь заменить его детям покойную? Два года он не хотел и слушать об этом,— Адель не уходила из души. Ему сватали детных и бездетных вдов, совсем юных московских невест из родовитых, мелкопоместных и чиновных семейств, даже какую-то одну богатую декабристскую дочь, наследницу большой мануфактуры. И он перестал бывать в новых домах, опасаясь настоятельных знакомств. Когда Чарыков окончательно решил, что поздно уже в его-то возрасте, встретилась у Гагариных приятная во всех отношениях Марья Дмитриевна Засецкая — еще молодая, доступная, светлокосая и голубоглазая, до странности похожая на забытую по давности лет Марию Демидову. Только у той ресницы были всегда, словно бы в ужасе или удивленье, распахнуты, а эта щурилась, и глаза ее сидели близко, как у английской лисьей собаки. Совсем одному тоже не мед, да и положение сорокапятилетнего вдовца не могло содействовать успехам по службе. Весной 1863 года, перед пасхой, Чарыков обвенчался с Засецкой, до самого венца сомневаясь, однако, правильный ли делает шаг.

Чарыков не смог многого изменить в безграмотной трахомной Симбирской губернии, куда был назначен вице-губернатором. Произвел окончательное устройство присутственных мест, расширил круг деятельности губернской типографии, утвердил новый состав городской и уездной полиции, учредил в канцелярии строгие сроки рассмотрения жалоб. И когда он покидал этот пост, газетная хроника писала, что эти и «другие административные действия

еще долго будут свидетельствовать о его просвещенной деятельности и глубоком трудолюбии на пользу здешнего края», не очень грамотно, но, кажется, искренне подчеркивала его «особенное участие к жалобам неимущих людей», и только сам Чарыков знал, каким мизерным по результатам было личное вмешательство вице-губернатора в судьбы нищей и дикой — сверхмалого числа обитателей — этой провинции.

Вскоре после ухода в отставку министра внутренних дел Валуева Чарыков был приглашен в Петербург, где принял от Тимашева новое назначение. Вятским губернатором он пробыл пять лет, обретя опыт и нужное спокойствие в решении важных дел и не обнаружив еще в себе той усталости и мелочной беспричинной раздражительности, какие начали мешать ему последнее время здесь, в Минске.

Уже недоставало сил напрягать ум и возбуждать слабеющую память, чтобы недреманным оком следить, как это было в золотую пору его деятельности, за бесчисленными неурядицами в губернии, за тончайшими переливами в многоцветной картине, каковую всегда являет собою губернское чиновничество и дворянство. Салтыков, чьи безжалостные публикации Чарыков собирал многие годы, зло смеется над таким оком недреманным, сам, однако, обладая им, по разговорам, в высшей степени. Чарыков, между прочим, застал еще память о нем в Вятке, откуда Салтыков вырвался при помощи Ланского и его супруги, посетивших губернию *перед реформой*. Даже спустя много лет в городе рассказывали, как Наталья Николаевна, вдова Пушкина, вышедшая замуж за Ланского, приняла участие в судьбе мелкого вятского чиновника Салтыкова, умеющего писать сатиры.

Позже Салтыков, руководя неподведомственными губернаторской власти казенными палатами в Твери и Рязани, строго и неподкупно, по сведениям Чарыкова, вел дела. Через его руки проходили все основы экономической жизни, все доходы и главные губернские ценности — государственные и частные подряды, винные откупа, оброки, торги, аренды. Почти всем этим через губернаторства ведает ныне министерство государственных имуществ под проницательным, недреманным тоже глазом Петра Александровича Валуева. И нельзя без того, чтоб не следить! И так все и везде идет с проволочками, взятками, воровством, и без ока того недреманного русская жизнь вовсе рассыплется в прах...

Ах, годы, годы! Прошли в заботах годы, и чарыковское око заметно послабело. Многие канцелярские бумаги писаны мышиным почерком, и сколько раз Чарыков указывал, чтоб сменили писаря, ежели он не способен переучиться, ан нет, будто не им, губернатором, было говорено! Буковки сливаются, глаза болят, слезятся, и давно пора съездить в Москву либо Варшаву, а того верней, в Лейпциг да подобрать очки, однако все недосуг, дела держат, нет им конца и не будет — то драка между мастерицами на льнотеребилке, то возобновившийся прошлогодний торфяной пожар, то убийство подрядчика, то взятки всеми и ото всех и по всякому поводу. Отчего так много взяточных дел повелось? Или раньше они были скрытней?

Один раз в жизни Чарыков тоже получил взятку.

Он тогда только что принял Вятскую губернию. Из Симбирска уехал с честью, и многие там, кажется, вправду жалели о его отъезде. Кое-что удалось сделать на своем посту вице-губернатора, не все, далеко не все,— окончательно дела в провинциальной России не поправить и за сотню лет, если даже каждый ведущий сии дела будет честно и бескорыстно служить государю. Однако в Симбирске он кое-что успел за два года.

Где у него досье? В шкафу? Чарыков тяжело поднялся, прошагал по ковру к громадному, венской работы, шкафу, открыл его маленьким изящным ключиком и достал пухлую папку с переплетенными документами. Это в последнее время он запустил досье, а раньше аккуратно собирал все бумаги, касающиеся его службы, и аккуратно подшивал, выгадывая на это нетрудное и даже приятное дело несколько минут по вечерам. Интересное и полезное занятие! Полистаешь, вспомнишь былое — и оно настроит, ободрит и утешит. Вот она, вятская хроника. Газета предупреждает Вятку о встрече нового высшего начальства.

Вятка встретила только что назначенного губернатора по старинке, с чрезмерным даже вниманием — укараулили на самой границе губернии, в которую он въезжал по апрельской распутице немалым обозом, со всем семейством и домашним скарбом. Во всю ивановскую колокола названивали, слышные издалека, от самого леса. Из дерева соорудили наподобие триумфальной арки и расписали так, будто это камень. Народ согнали. Ему преподнесли большой письменный прибор с хитроумными хрупкими часами, так затейливо вырезанный из плотной березы, что работать перед ним оказалось трудно,— и Чарыков потом отправил

его в Богдановку. Марии Дмитриевне подарили, помнится, местные вышивки и кружева, а девочкам целый возок глиняных и деревянных игрушек. Говоря строго, это были взятки под видом подарков, только обезличенные — «от народа вятского и губернской общественности», потому за взятки никогда не считались.

А натуральную взятку ему ввернули на околице одной богатой старообрядческой деревни, у моста, где обоз остановился на часок, чтоб попоить из реки лошадей. Староста деревни преподнес хлеб-соль, а рыжий краснобородый богатырь, ступающий следом, большого холодного, пахнущего омутом, осетра. Вечером, когда уже далеко отъехали от староверов, в осетре обнаружилась плотная пачка денег в крупной купюре. Ее надежно завернули в глянцевую вощеную бумагу и вложили в осетровую икру, причем брюхо рыбины с изумительным искусством было зашито тонкой жилкой. Мария Дмитриевна, смеясь, собралась было оприходовать эти деньги в домашний бюджет, на содержание губернаторского дома, но Чарыков вышел из себя и приказал пригласить полицмейстера, следовавшего в губернаторском эскорте.

— Откуда это? Как вы посмели!

— Знать ничего не знаю,— пробормотал тот, недоуменно рассматривая белое брюхо распоротого осетра, ворох черно-матовой икры и радужные разводья на сотенных билетах.

— Немедля послать назад, провести дознание и примерно наказать!

— Не выйдет, ваше высокопревосходительство.

— Отчего?

— Не найдется виноватого.

— Но тот рыжий человек!

— Откажется. Скажет, он эту рыбу не ловил, ему ее дали перед самой вашей каретой.

— Узнать, кто дал!

— Не узнать. Я этих раскольников, позвольте доложить, изучил досконально.

— А почему они мне это преподнесли? — постепенно успокаиваясь, спросил Чарыков.

— Мало ли... Может, церковь подновили, а им это запрещено. Или слух кто-нибудь пустил, что новый губернатор будет их выселять в Сибирь.

— Что за чушь!

— А может быть, что этот дюжий мужик бабу свою

насмерть забил. Стряпчему и прокурору дал, но те из него еще сосут, и он хочет через вас порешить дело.

— Что за дичь?

— Но скорей всего,— продолжал полицейский чин,— они там беглых укрывают.

— Зачем?

— В тайных работниках держат, в свою веру обращают.

Чарыков подумал, что слишком уж много грехов наговорено на людей, за которыми он пока не знает никакой вины. Не может ли быть тут совсем иного? Не затеял ли кто-нибудь из местных полицейских либо чиновных осетров отвести таким способом грозу от себя? По прежнему опыту он знал, что главные взятки по губернии идут с винных откупщиков. С них берут все и не считают зазорным брать, а откупщик, откупившись, разжижит вино водой и травит народ дурманящими добавками, сам незаконно курит, торгует в неразрешенных местах и по святым праздникам. С откупщиков обычно берут и полицмейстеры, и капитан-исправники, и чиновники казенной палаты, губернаторские секретари и сами губернаторы — прямо либо через других лиц, деньгами, чем придется, и в этом темном лесу заблудишься...

— Значит, этих денег им не вернуть?

— Нет. Падут все на колени и загалдят: ничего не ведаем про это бесовское наваждение, помилуйте и тому подобное.

— А не усмотрел ли кто другой возможности дать мне таким образом барашка в бумажке, потом объявиться? — с подозрением спросил губернатор, ища взглядом глаза полицейского чина.

— Не могу знать,— по-солдатски вытянулся полицмейстер.

— Что же делать с этими? — Чарыков искоса взглянул на веер кредитных билетов.

— Воля ваша.

Чарыков тогда счел, что лучшее применение нечаянным и опасным деньгам — передать их на содержание богоугодных заведений.

* **

Губернатор почувствовал, что в кабинете душно. Позвонил, приказал поднять шторы, отворить окна и подать

китайского чаю без сахару. В окна потек свежий воздух, дышать стало полегче, а чая ждать показалось долго. Должно быть, новая горничная упустила огонь в дежурной печурке. Нетерпеливо постучавшись, он вошел в комнату горничной, что была подле кабинета, в сердцах выплеснул старую заварку и досуха протер рушником тонкого льна саксонский чайничек из Штутгарта, куда он семь лет назад отвозил в пансион своих дочерей. Заварил сам, как любил, крутым кипятком — и сразу же в стакан, без настою, чтоб уловить первый, самый тонкий аромат. Молодая горничная в расшитом белорусском одеянии — Чарыков не любил чопорных, насквозь прокрахмаленных горничных — растерянно шастала подле, бормотала: «Дык я ж сама справлюся, негожа табе-то...» Уж лучше б они молчали, когда к ним обращаются... Только одна его незабвенная Адель, царство ей небесное, умела заваривать чай по вкусу мужа, понимала в сортах, и московские чайные торговцы знали, когда и какие чаи поставлять в дом Чарыкова.

А Марья Дмитриевна так и не научилась как следует заваривать чай. Она любила конфекты и прочие сладости отдельно, без чая, ела и ела их день-деньской, начала заметно полнеть от них, а также от сиденья-лежанья и, быть может, от бесплодия, что стало в первые годы главным предметом их супружеских огорчений. Позже они смирились с этим несчастьем, но подошло другое. Чарыков простил бы Марье Дмитриевне все, не заметил бы даже того, чего мужья не прощают, если б она только не крушила его своим отношением к детям.

Отношение это было неровным — то излишне холодным, то нестерпимо раздражительным без видимых причин, то подчеркнуто любезным, и эта неровность сделалась постоянной. А дети выросли разными по характерам, и каждый на свой лад отвечал Марье Дмитриевне. Старшая, Катенька, рвалась из дома все время и жила большей частью в деревне с тетушкой Варварой Ивановной. Чарыков понимал ее и любил особой любовью — только они двое из всего семейства помнили усопшую, ее ангельский нрав и самоотвержение. Бывая у отца, Катенька делала вид, что не замечает мачехи, которая с самого начала тоже смотрела как-то сквозь падчерицу. Так они и жили без взаимного соприкасательства, и временами Чарыков чувствовал на себе грустный укоризненный взгляд старшей дочери. При несомненном содействии Варвары Ивановны Катенька слишком рано познакомилась с одним молодым

самарским помещиком, человеком вполне приличным, годами переписывалась с ним через три деревни, а из Швейцарии, можно сказать, сбежала до срока и сразу же по возвращении обвенчалась со своим суженым в Богдановской церкви. На добро бы да семейное счастье!

Дочь оказалась весьма хозяйственной, не позволяет дремать старому богдановскому управляющему Софон Семенычу, и доходы с имения возросли, что было довольно удивительно Чарыкову, привыкшему к постоянному обеднению своих далеких владений.

Николеньку Мария Дмитриевна боялась. У нее была дурная привычка менять слуг и гувернанток. Чарыков всегда уступал ей, желая мира в доме. А когда заболел гувернер-француз и Мария Дмитриевна решила его уволить, то не отец, а сын, совсем еще несмысленыш, сказал, что это будет не по-божески. Мачеха все же настаивала убрать мусье и однажды прибежала к мужу с расширенными, как у Марии Демидовой, глазами. Оказывается, Николенька с чудовищной грубостью, совсем по-уличному, изъявил свое решительное несогласие и пригрозил, что подожжет ее комнаты, ежели она определит француза в дом призрения. Супруга потребовала невообразимого — посечь Николеньку, но Чарыкову как-то удалось убедить ее, что в этом случае сын, при его-то норове, беспременно спалит губернаторский дом. Сразу после смерти старика-гувернера Чарыков отправил Николеньку в Шотландию, а по возвращении его из Эдинбурга определил в лицей министерства иностранных дел. В своих письмах за все годы сын ни разу не упомянул имени Марьи Дмитриевны, она же, когда подавала письмо от него, то ширила глаза, вспоминая, должно, прежнее — ужасную давнюю угрозу сына и его извозчичье словцо.

Неполных пятнадцать лет было Адели, когда она уже ни в чем не уступала мачехе, перечила ей по всякому случаю и упорно называла ее «Марьей Дмитривной».

— Ты дурно воспитанная девочка! — восклицала, бывало, губернаторша, потеряв с нею терпение.

— А кто в этом виноват, Марья Дмитривна? — прищуриваясь на манер мачехи, вопрошала дочь.

— Во всяком случае, не я.

— А кто же? Ведь вы же мне мамаша, Марья Дмитривна, не так ли?

«Мамаша» вдыхала воздух, собираясь что-то сказать, но не находила слов и оставалась сидеть с открытым

ртом, который почему-то становился квадратным, когда его обладательница гневалась.

Или:

— Не выходи сегодня к гостям, Аделаида!

— Отчего же? — прищуривалась та.— Разве я недостаточно хороша, Марья Дмитривна?

— Тебе еще рано думать о своей внешности!

— А если я выйду, Марья Дмитривна, совсем-совсем не думая о своей внешности?

— Прошу тебя, Аделаида,— обессилев, стонала она.

— Повторите, пожалуйста, Марья Дмитривна.

— Что?

— Что вы меня просите, чтобы я не выходила к гостям.

Красавица Адель прекрасно танцевала и умела вести себя со взрослыми так, будто она им ровня, хотя была еще совершенным ребенком. Однажды, придя со службы, Чарыков застал дома сумасшедший ералаш. Палевый сиамский кот Марьи Дмитриевны, будучи неспокойным и злым существом, тут словно взаправду сошел с ума — стремглав носился по комнатам, лез на оконные портьеры, прыгал на шкафы, свирепо мяукал, подняв трубою хвост, царапал мебель и руки детям. Все гонялись за ним, и только Адель, прищурившись, с удовольствием наблюдала за тем, как Марья Дмитриевна пытается поймать своего бесноватого любимца, уговаривает его и заманивает мясом. Кота с трудом загнали и заперли в темную комнату, где он еще долго бушевал. Через несколько дней это повторилось. Чарыков разволновался от шума и крика, полез в аптечку за валериановыми каплями. Он ничего не сказал Адели, только, смеясь, помотал у нее перед носом пустым пузырьком, и она пообещала больше не поить кота отцовским лекарством. А накануне ее отъезда в Женевский пансион в столовой была обнаружена расколотой памятная ваза ее величества императрицы, которой Марья Дмитриевна несказанно гордилась и вечно надоедала ею гостям. Жены в тот день дома не было, а вечером Адель объяснила ей, будто проклятое животное после обеда опять тронулось умом.

Адель отбыла в Женеве полный срок, четыре года. За это время Чарыков вошел в чин тайного советника и переехал из Вятки в Минск, на новое губернаторское поприще. По возвращении из Швейцарии Адель мгновенно завладела местным обществом, а с мачехой у них совершенно разладилось. Стремясь побыстрей выдать падчерицу

замуж, та составила для нее в своем воображении множество блестящих партий, однако Адель насмешливо и нетерпеливо отвергала их одну за другой и наконец потребовала от Марьи Дмитриевны не вмешиваться в ее личные дела, потому что она-де вполне уже способна прожить своим умом, собираясь будто бы дать в петербургскую газету объявление от имени молодой очаровательной особы с заграничным образованием, ищущей места гувернантки в семействе богатого вдовца. Донельзя шокированная Марья Дмитриевна оставила дочь в покое, а отец только покачал головой, узнав о сумасбродных словах Адели, будучи все же уверенным, что они останутся словами. В роду Чарыковых таких что-то не помнилось, мать Адели была слишком не такой,— и не иначе как путиловская кровь отозвалась во внучке.

* * *

Нет, за очками надобно ехать только в Москву, пообедать с князем Гагариным, посоветоваться относительно отставки. Князь Гагарин как-никак родственник. У князя Гагарина прочные связи с Петербургом и двором, кои Чарыков порастерял за годы службы в провинции. Следует правильно доложить государю императору и освободиться от многолетней верной службы ему достойно, с честью. Возможно, его величество всемилостивейше соблаговолит пожаловать, кроме приличествующего пенсионного содержания, и Белого орла... У Гагариных третью неделю гостит Мария Дмитриевна, супруга. Однако зачем так долго? Конечно, братец ее, супруг княгини Ольги Гагариной, лежит в постели от удара, и Мария Дмитриевна помогает ходить за ним, однако зачем так долго? Ему тут тоже одному плохо, дом брошен. Написал, а она ответствует: «Отчего, друг мой, ты хочешь, чтоб я поспешила в Минск?» Он ничего не написал насчет спешки, а просто спросил, когда она возвращается.

В Москву. Могилку Адели в Троице-Сергиевой лавре навестить, давно не был. Лежит она под белою стеною храма, отмучилась. Золотое было сердце, нежнейшая душа. Адель родила ему пятерых детей и в Наденьке повторила себя — та же беззащитная доверчивость и кротость, те же склонности, тот же взгляд испуганного ягненка. Зато Николенька вылитый отец, точная копия, надежное продолжение чарыковского рода. Орел! Можно умирать, имея такого

сына. Бедная Адель не успела узнать, каким станет их единственный 'сын, тихо скончалась после родов Олечки, обучающейся ныне в Штутгарте.

По соглашению восемнадцатилетней давности там блюдут могилку, обихаживают. Однако ехать туда нельзя, не сделав одного мелкого, но неотложного дела. Вот неделю лежит в столе письмо архимандрита святой Троице-Сергиевой лавры Леонида, не исполненное по болезни и занятости, а также потому, что оно косвенно оживляло неприятное ощущение от некоторых государственных бумаг последних поступлений. Положить письмо на видное место и завтра же распорядиться. Да вот оно, задвинулось в уголок. *«По свидетельству Вашего старинного знакомого графа Д. А. Толстого Вы не оставляете без вашего справедливого участия никого нуждающегося»...* Прочие приличествующие случаю слова. Чарыков знавал Толстого, когда тот был еще обер-прокурором святейшего синода, полураскланивались они и ранее при дворе, и Чарыков уже не мог вспомнить, представлял ли их кто-нибудь друг другу. Они всегда почему-то держались поодаль — как бы заочные вприглядку, на всякий непредвиденный случай знакомые, решительно не знающие, о чем им говорить, ежели вдруг окажутся рядом. Вот уже лет пятнадцать граф ведает народным просвещением, и Чарыков его видит по особо торжественным случаям, когда лишь губернаторы приглашаются на августейшие тезоименитства в Петербург, для обязательных государственных заседаний либо официальных представлений.

Возможно, предстоит сие действо и в этом году — по достоверным слухам и многим, неуловимым для непосвященных признакам, министр государственных имуществ граф Валуев скоро будет назначен председателем Комитета министров.

А Толстой Дмитрий Андреевич в последнее время что-то проявляет чрезмерное административное рвенье, способное в это смутное и тревожное время привести к противуположным результатам. Валуев умней и тоньше, смотрит глубже. Он способен убрать Толстого. Ну, членом Государственного совета сделает, это от Толстого никуда не уйдет, а просвещение давно пора передавать в другие руки. Да вот он, этот последний приказ по министерству. От двадцать пятого марта. Запретить вольнослушание в университетах! Молодежь, какая бы она сейчас ни была, рвется к знаниям и наукам, а учиться ей негде. Уни-

верситетов и технических институтов не хватает. За Казанью и Саратовом — на всю неоглядную российскую часть Азиатского материка — ни одного университета! Двадцать лет хлопочут сибиряки из Тобольска и Томска, да все без толку.

Павел Демидов при чарыковском крестном отце Сперанском, еще в царствование Александра Первого, отказав большие деньги в пользу Киевского университета, пожертвовал также от щедрот своих сто тысяч золотых рублей на Сибирский, но благородный вклад этот лежит втуне, проценты с него растут, но дело просвещения далеких окраин империи замерло. А тут приказ Толстого о вольнослушании! Какие только силы не обедняли будущую Россию, но этакий способ применяли впервые.

Вольнослушатели заполняли кое-где половину лекционных залов. Лишить их этой возможности чрезмерно даже для такой страны, как Россия. Куда она идет, что с нею станет?

А следом поступил странный императорский указ, тоже, конечно, подготовленный Толстым. Следом ли? Совершенно начал терять память. Нет, он был издан днем ранее, только пришел несколько позже министерского приказа. Да, да, вот он, от двадцать четвертого марта.

Вначале даже не поверилось, что столь нелепое преобразование Петербургской медико-хирургической академии возможно.

В корне пресекается дело военного врачевания, столь важного для Отечества! Горького опыта крымского позорища, столь памятного Чарыкову, оказалось недостаточно, только что блестяще завершенная турецкая кампания тоже, выходит, ничему не научила?

Чарыков незаметно упустил нить размышления и долго сидел, мучительно отыскивая начальный ее виток. К чему все это он вспомнил? Ах, да, вот он, указ о преобразовании М едико- х ирургической академии. Верно, датирован 24 марта 1879 года, на день раньше приказа графа Толстого о ликвидации вольнослушания. Прекрасный же был статус для тех, кого не останавливали препоны на пути к знаниям! От лучшей части этих молодых людей Россия, может быть, получила бы сторицей. Неразумно. Весьма! Однако императорский указ понять еще трудней. Значит, так — училась тысяча студентов, будущих военных врачей. Число их сокращается до пятисот. Почему? Уменьшен срок обучения. Учить медицинскому искусству всего

три года? Даже если большой перерыв в войнах, просвещенные врачеватели крайне же нужны народу! Земский врач, большой мученик, не в силах даже зафиксировать все опасные заболевания, в селах — костоправы, бабки-шептуньи да кровопускатели, а по матушке-Сибири, которую он в молодости почти всю проехал с А. Д. • Батмановым до его золотых приисков и где: конечно, мало что изменилось за эти тридцать лет,— тунгусские да братские шаманы колдуют, он видел их жуткие пляски при луне, слушал бубны и вполне волчий вой,— мороз по коже, как вспомнишь. Развалить Медико-хирургическую академию! О чем думает военный министр? Уж он-то доподлинно знает положение с врачами в русской армии. А действия графа Толстого, этого, выходит по письму из Святой Лавры, старинного знакомого Чарыкова, довольно понятны. Граф давно страдает хроническим недержанием мочи — ха, ха! — от страха перед брожением в обществе. И его заботит вовсе не общество, на которое, сдается, ему наплевать, так же как и на благополучие будущей России. Он задрожал за свое министерское кресло, почуя ввиду грядущего назначения графа Валуева недобрые ветры, и желает отвести от себя неминуемую беду охранительной деятельностью. Только чрезмерный административный раж виден куда лучше, чем явное безделье, и, несомненно, вызывает подозрения.

Это верно, что университеты становятся рассадниками крамолы, а вольнослушание не даст возможности уследить за умонастроениями молодежи. Но прямолинейное и грубое решение графа Толстого ничего не изменит, лишь породит среди наиболее мыслящих молодых людей новые тысячи недовольных. Тоньше надобно, нежней и разумней... Ликвидировав в Медико-хирургической академии первые два курса, граф Толстой намеревался направлять в нее молодежь из провинциальных университетов. Возможно, что он даже прикрыл эту меру мотивом благородным, достойным — грядут-де новые таланты из народа, однако в основе сей манипуляции совсем другое: страх перед крамолой, которая, как ржа, разъедает мозги русскому студенчеству.

Допустим, в Медико-хирургической академии воистину неспокойно, и особенно на первых двух курсах, только хорошо известно, что самые горячие головы остывают при встрече с бездной дел, с разверстою действительностью России, которая, в отличие от столиц и некоторых благо-

действующих губернских городов,— сплошь отсталая окраина.

Вообще сказать, граф правильно рассчитал, что периферийная молодежь, далекая от столичных кружков и запретной литературы, несет в себе более здоровые созидательные, а не разрушительные жизненные основы, но что за врачи получатся из них после трехлетнего курса обучения?

Нет, если б граф Толстой думал о судьбе талантов из народа, он не подчинил бы такому варварскому регламенту обучение крестьянских и мещанских детей. В просвещенных странах Европы и даже азиатской желтой Японии все дети должны получить при начальном своем образовании определенный, обязательный объем знаний, ниже которого народный учитель не имеет права опускаться, а в России попечениями графа Толстого установлен предел, выше которого ступать никому не дозволено,— начала из Священного писания и катехизиса, чтение и письмо, сложение и вычитание, умножение и деление простых чисел. Десятичные дроби для самого одаренного ученика после приходской школы темный лес, он может не знать, что губернский город Вятка расположен в бассейне Волги, Кронштадт утверждает морскую мощь на Балтийском море. Сверх миллиона детей обучается сейчас только по такой методе, и как из них родиться собственным Ньютонам да Платонам?

Россию спасет от грядущих бед только просвещение, все лучшее проистекает из него, других источников не существует. Чарыков впервые пришел к такому выводу еще в Симбирске, где, будучи вице-губернатором, познакомился с фанатиком народного просвещения Ильей Николаевичем Ульяновым, директором тамошней гимназии, заслужившим за свои деянья на ниве народного просвещения чин действительного статского советника и дворянское звание. Если бы граф Толстой воистину заботился о просвещении народа, то не сдерживал бы столь рьяно развития профессиональных училищ, дающих практические знания, не ввел бы ужасного гимназического устава 1871 года. Чарыков был тогда уже вятским губернатором и вместе со всем губернским правлением поразился пояснительной записке к уставу, где черным по белому Толстой записал: *«Чем меньше в гимназии будет изучаться история, тем лучше»*. Для кого лучше? Вот и получается, что выходящий в жизнь юноша, если даже и слышал краем уха

про святого Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры, то наверняка ничего не знает о просветительской его деятельности и вдохновляющей роли в подвижении другого святого православной церкви, великого московского князя Дмитрия Донского, на смертельную битву с татарами пятьсот лет назад.

Тот же устав скостил учебные часы по славной отечественной словесности и даже географии, в каковой уж не усмотришь пищи для растления умов. Все эти науки, необходимейшие для общего развития русских юношей и девиц, заменены были латынью, языком, как считают знатоки, колокольного звучания, и сладкогласным, по той же тончайшей оценке, древнегреческим. Только мертвое это дело. Живая наша речь никакой не уступит по звуку да толку, не говоря уже о бессмертных страницах, начиная со Слова об Игоревом полку, сложенного истинно по-русски семьсот лет тому. Семь веков! Кстати, что бы ни писали сейчас, как бы ни спорили о происхождении Слова, только один человек мог тогда быть автором его — сам князь Игорь, знатно для тех древних времен образованный, муж зрелый политически, но вечный юноша по душевному складу, в котором поэт боролся с воителем и переборол!

Чарыков поймал себя на том, что мысли его, как хорошо было сказано семьсот лет назад, растекаются по древу. О чем он думал минутой раньше? Да, да, о латыни и греческом, иссушаюших мозги десятилетним мальчишкам. Вероятно, языки эти необходимы в каких-нибудь специальных гимназиях для будущих знатоков, но введение их повсеместно было мерой похуже розг в бурсе либо подзатыльников отставных солдат и пьяных дьячков в церковно-приходских школах.

Нет, Чарыков не желал мучить своих младших дочерей. На следующий год он отвез Надю с Олей в немецкий пансион, и таким образом вышло, что все его дети воспитывались за границей. Старшие Катя и Аделаида учились в Швейцарии, во французском пансионе...

* * *

Дом стоял обочь небольшой бедной деревеньки, вокруг которой смыкались увалистые степи. И она опять осталась в нем одна. Хлопотать по хозяйству, заниматься с детьми, вспоминать и думать о нем, снова уехавшем в туманную

столицу. Сердце предчувствовало, что оттуда он скоро не вернется. Вероятней всего, окажется где-нибудь в несусветной дали, влекомый своей мучительной и прекрасной работой, от которой одни мужают и воскрыляются, а другие — она это увидела своими глазами — стреляются и сходят с ума.

Стала ждать писем, как ждала их всю ж и з н ь, если его не было с ней, как ждала даже тогда, когда не знала, есть он или нет уже его для нее.

Все началось почти пятнадцать лет назад. Вернувшись в 1877 году из Штутгарта, где она провела четыре года в женском пансионе m-m Тайс, одиноко и тягостно прожила несколько долгих месяцев в минском доме отца.

Она боялась в этом доме.

Восемнадцати лет, ранней весною 1878 года, она впервые приехала в Заволжье. Нет, не сюда, в этот собственный их дом, а в родовое имение Павловку, которым владела старшая ее сестра и где все было таким чужим и холодным. Она не понимала, зачем оказалась здесь. Степи тогда зацветали буйно, пестро, незнакомо — она сроду не видела такого, потому что с той смутной поры, как начала помнить себя, жила в городах. В небе и травах стоголосо звенели птицы, прилетевшие из чужих стран. Странно, поначалу она не видела и не слышала степи, хотя каждый день уходила в нее — мимо конюшни, оттаявших и остро пахнущих навозных куч, по плотине заросшего ряской пруда, сквозь старый заглохший сад. Читать она ничего не могла в те дни. Раскрывала, случалось, какую-нибудь французскую книгу, чтобы легче было понять, но понимать она словно разучилась. А рисовальные свои принадлежности она оставила в Одессе, у сестры Дели, не захотела взять их с собою, чтоб не возвращаться к безвозвратному, чтоб разом покончить с мечтой, если отец так пожелал. Брала с собою т а л ь м у, к которой она так привыкла за зиму, и шкатулку, однако душа не лежала к рукоделью. Сидя в теплой траве, часами недвижимо смотрела на степь, на небо и на шкатулку, подолгу задумчиво срывала былинки, вздыхала и беззвучно плакала.

Эту шкатулку о н совсем недавно нес по крутой лестнице, ступая, как хорошо воспитанный юноша, несколько сзади и сбоку и, полуобернувшись, непринужденно и дружески что-то говорил, а у нее чуть-чуть кружилась голова, и ей хотелось, чтоб эти ступени так быстро не кончались. Прощался горделивым наклоном головы и продолжал

смотреть на нее, уже спускаясь, пока она звонила, вернулся с половины пути, смущенно сказал:

— Извините, j'ai l'esprit de 1'escalier.

— Ум лестницы? — рассмеялась она.— Лестничный ум?!

— Истинно так. Я иногда только на лестнице вспоминаю о том главном, что хотел сказать.

— Слушаю,— она замерла, выпустила из руки цепочку звонка, но Деля уже открыла дверь, и он ушел.

Что он хотел сказать? Наверное, надо было повременить у двери, не звонить сразу или же извиниться перед Делей, сказать, что они сейчас договорят...

Она провела неспокойную ночь. Просыпалась, силясь вспомнить тревожные сновиденья, и снова забывалась в чутком полусне. Утром пришла телеграмма отца, который отчего-то пожелал, чтоб она без отлагательств выехала в деревню. Они с Делей подумали, что случилось какое-нибудь несчастье у их старшей сестры Кати и там необходимо присутствие близкого человека. Сверх того, не было принято обсуждать любые решенья отца.

Где он сейчас? И если б он знал, что с нею! Что стоило богу наградить человека способностью издалека передавать свои добрые чувства другому человеку? Только добрые, иначе жизнь станет невозможной для всех. Она вспомнила, как они понимали друг друга, если были в одной комнате. Не мешало этому ни шумное окруженье домашних, ни любой разговор, ни музыка. Временами она задумывалась, потупив глаза и опустив на колено вязанье, а он, даже не глядя на нее, тут же рассказывал что-нибудь интересное или придумывал игру, и она отвлекалась, догадываясь, что это он затевает для нее.

А он, узнав назавтра о внезапном ее отъезде, сделался холоден и, ей даже показалось, презрителен. Вечером она, окончательно уложив баул, в растрепанных чувствах зашла попрощаться с соседями. Торопилась, а он почти непосильные для нее старанья казаться спокойной и ее растерянную и жалкую улыбку принял, очевидно, за что-то другое, сделался таким, каким она его еще не знала и не подозревала, что он может быть таким. Ей показалось, что он окинул ее оскорбительным взглядом, в ответ на который она, и без того убитая горем, отвернулась, ни разу более не взглянув на него. Она еще сильней заторопилась, боясь, что посмотрит на него ненароком и разрыдается. И он, против обыкновения, не пошел проводить ее по

лестнице наверх, а она об этом только и мечтала, только и видела, когда спускалась!

У Кати оказалось все в полном благополучии, она деятельно занималась семенами, упряжью, навозом, готовилась к севу и сама ездила под сырым ветром в дальние поля верхом. Софон Семеныч был неплохим управляющим, однако имение по каким-то причинам шло к обеднению, и заботливой Кате покойней жилось, если она все узнавала сама, не надеясь ни на управляющего, ни на мужа, который служил в Самаре, работал наездами дома и не слишком интересовался хозяйственными делами.

Катя была искренне рада ее приезду. За пять лет, что сестры не виделись, старшая вышла замуж, стала матерью двух детей, сделалась сущею степной помещицей, а гостья удивила ее тем, что сделалась совершенно взрослой девушкой, прекрасно, хотя и несколько хрупко сложенной и барышней уже по-взрослому сдержанной. Вспоминая ее почти болезненную детскую кротость, хозяйка при встрече затормошила гостью на радостях, но сестренка ответила лишь беззащитной полуулыбкой.

— Галчонок! Галчонок! Настоящий галчонок! — ласково приговаривала сестра, глядя в ее темные, грустные, чуть навыкате глаза и поглаживая рукой пышную прическу.

— Не устала в дороге? Как себя чувствуешь?

— Ничего,— протянула гостья и даже вроде бы отстранилась.

— А худющая-то! Ну, я уж тебя тут откормлю!

Вскоре Катя заметила, однако, что сестра часами пребывает в тихой задумчивости, плохо ест за обедом и, в отличие от остальных обитателей имения, не спит после него, а лежит вечерами в темноте с открытыми глазами и ни разу пока не подняла крышку рояля, хотя Деля еще осенью писала, будто сестренка вернулась из Штутгарта настоящей музыкантшей. Катя вместе с Делей воспитывалась в Швейцарии, тоже могла немного музицировать, но успела уже позабыть все. Домовитая и рассудительная с детства, она, как самая старшая в семье, частично заменяла младшим их рано умершую матушку, потом, выйдя замуж, как-то сразу нашла себя, и потеряла, растворившись в заботах о муже и детях, в хлопотах по имению и даже несколько огрубела и опростилась, общаясь с простым людом. Она в первые дни расспрашивала сестренку

о Штутгарте, где еще продолжала учиться Оленька, самая младшая в семье, о Минске, в котором жили отец с мачехой, об Одессе и Делином муже-генерале, по-матерински пыталась понять, что происходит с гостьей, но та отмалчивалась, отчужденно замыкалась.

Разве объяснишь кому-нибудь то, что сама не можешь понять? В чем была ее вина? И почему бы батюшке не посчитаться с ее будущим? Всю зиму она посещала одесскую художественную школу и, сделав определенные успехи, мечтала поступить в Академию художеств. Отец знал об этом и, судя по его письмам, не возражал и не выказывал ни малейшего недовольства ее увлечением. Отец ничего не мог знать о нем, если, конечно, Деля тайком от нее не сообщила в Минск об этом необыкновенно дорогом для нее знакомстве, которого батюшка, возможно, не одобрил бы. И до сих пор не верилось в тяжелую, полную неясностей, размолвку с ним, перед отъездом из Одессы. Единственный раз жизнь, казалось, раскрывала ей свои объятия, но все это нежданно изничтожилось, чтобы не повториться никогда.

Отцвели травы, сухая жара опалила степь. Из нее тянуло в усадьбу полынной горечью. Скосили луга. Она ездила на покос ворошить сено. Неумело поработала граблями до полудня, сожгла под ярым солнцем лицо и руки, сильно устала и выпила много квасу. Потом хлеба пололи — их сильно глушил сорняк. Катя совсем захлопоталась, собирала на прополку старух и девок из окрестных деревень, поручая сестренке вместе с кухаркой варить наемщикам даровой барский обед. Крестьянки тягуче пели во ржах, и сердце ныло от их пения. За обедом они во все глаза рассматривали юную барыньку-былиночку, какой сроду не видали, громко переговаривались насчет того, что пару ей нипочем тут не найти по нонешним временам, потому как молодые баре подрастают, бросают имения на пьяниц управляющих либо вовсе продают и разъезжаются куда ни то служить. А иные начисто проигрываются в карты, на цыганок треклятых без меры тратятся да на парижи всякие, сколько имений в округе с торгов пошло, не перечесть!

Она с трудом отвлеклась от печальных дум.

Никаких известий из Одессы не было, и никаких перемен не виделось. Летом Деля написала, что соседи всем семейством уехали на хутор в Херсонскую губернию и вернутся только к началу занятий в гимназии. Она ждала

теперь вестей только от брата Николеньки, который, едва начав службу в Петербурге, оставил ее и ушел добровольцем освобождать от турок единоверцев-славян. Отец с гордостью сообщил в деревню, что Коля уже участвовал в тяжелом сражении с турками, сильно тревожился, потому что не знал, где и что он сейчас. Единственного своего брата Николеньку она бы не узнала теперь наверное — ей было всего десять лет, когда он уехал учиться в Шотландию, а по возвращении уже не застал ее в России.

Наступила жатва. Она опять кухарничала в поле. Варила баранину, черпала косцам водку из ведра, слушала заунывные песни жниц и шутливые бабьи речи, от которых горели щеки, уши, даже шея, и хотелось куда-нибудь убежать.

Исполнилось ей девятнадцать лет, отец поздравил сдержанным, чуть ли не официальным письмом, и она ночью плакала от того, что больше ее некому поздравить! И вот с некоторым запозданием пришло письмо из Одессы. Нина поздравляла по-девически болтливо, с пустыми шуточками, потом подробно описала, как провела лето, смешно перебрала все семейство, но ни слова о брате. Неужели он запретил писать о себе? Или Нина не хочет напоминать о прошлом, не будучи уверенной, как это будет принято? Письмо было прочитано много раз, потом легло в ящик стола. Она так и не решилась ответить, потому что должна была непременно спросить о нем, но не могла этого сделать из боязни, что ее сочтут навязчивой.

Нет, она недостойна его, такого красивого и яркого человека с несомненным блестящим будущим. А ее будущее тоже как будто определяется — она поселится в деревне, вступит во владение своей землей, завещанной покойной матушкой, никогда не выйдет замуж, потому что не может себя представить женою кого-либо, если судьба не захотела, чтоб она принадлежала *ему*. Она силилась настроить себя на такой лад, чтоб не вспоминать о нем, но от этих усилий он отчего-то еще чаще вспоминался. Выпадали, однако, странные пустые дни, когда она сопровождала Катю в ее вояжах на поля, тока, мельницу, и, поглощенная разговорами и заботами сестры, лишь вечером со стыдом спохватывалась, что этот день прожила так, будто его нет на свете и никогда не было. Перед сном торопливо молилась, прося у бога прощения за свою забывчивость, однако грех непростимый и страшный лег на ее душу позже. В глухую дождливую пору пришло письмо от

Дели. Деля сообщала, что мужу ее Владимиру Евстафьевичу дали отпуск с начала мая и она ждет ее к первому числу, чтоб не потерять времени, а то среди лета начнется в Италии страшная жара и путешествие будет испорчено. Между прочих новостей она сообщала о том, что брат Нины, как и их Nicolas, находится сейчас в действующей армии, но кампания близится к концу. Значит, впереди много сражений и он там! Ночью ей будто въявь привиделся он, лежащий посреди поля брани, растерзанный свирепыми турками, изрубленный их кривыми мечами. Бездыханные турки в красных шароварах лежат вокруг, пучат неподвижные глаза, она смеется над ним, и он — о чудо — открывает трепетные веки, смотрит, как она перевязывает его раны, останавливает горячую кровь, хлещущую из-под рассеченного погона. Глаза у него светло-синие, под цвет болгарского неба, ласковые и благодарные...

С нетерпением она ждала газет. В них говорилось все о той же победе под Плевной.

— Как там Николенька наш? — сказала за обедом сестра, вздохнув глубоко и горестно.

— Эти турецкие мечи ужасны,— проговорила она, тут же подумав о н е м, а не о брате, быть может еще потому, что не могла представить теперешнего Колю. Он-то просто стоял перед глазами, вырисовывался живо и выпукло, хоть бери карандаш.

— Однако Николенька тоже при сабле,— высказала предположение Катя.

— Турецкие мечи страшней,— содрогнулась она, вспомнив сон н е г о в этом сне.

— Да о чем вы говорите! — поднял от газеты голову муж Кати.— Ятаганы в турецкой армии давно отменены.

— Разве? Но почему журналы рисуют?

— По привычке... С журналов какой спрос? Вооружают противника обычным европейским оружием, а сабли разве только для декору. Вот Скобелеву с саблей — импозантнее...

Но, должно быть, из-за ее страхов и предчувствований, которые она кощунственно связывала не с братом, а с ним, случилось нежданное — в сопровождении тетушки Варвары Ивановны московским поездом прибывал Николенька. В бинтах — левое плечо его было разрублено турецким клинком до ключицы. В Петербурге ему чистили и зашивали разверстую гноящуюся рану, и теперь он приехал в деревню поправляться. Вместе со всеми она ездила его

встречать на станцию Чарыковскую. Брат был неузнаваемо высок, худ и бледен. Глаза в желтом обводе выделялись больным своим блеском и неспокойствием. Николенька осторожно поцеловал сестер, и она почувствовала, как от его лица истекает лихорадочный жар и дышит он часто. Вечером она, стоя на коленях перед маленькой старинной иконкой, оставшейся ей от матушки, горячо молила господа ниспослать скорое выздоровленье брату, а ее наказать за страшный грех предательства сестринской любви.

Николенька поселился в отцовском имении Богдановке, и вскоре она переехала туда, чтоб вместе с тетушкой ходить за ним.

Она его совсем, оказывается, не знала. Всего на три года он был ее старше, но для него, наверное, они сделались большим и трудным сроком. Он был сдержан и молчалив не по возрасту, а в речах рассудителен и немногословен. Она каждый день доливала ему в лампу керосин, открывала и закрывала окна, носила из библиотеки тяжелые книги. Литературу он не читал, только иногда листал какой-нибудь английский роман. Она постепенно привыкла к нему,— беседовать с ним было хорошо, потому что он не любил лишних слов и всегда говорил что-нибудь такое, о чем потом приходилось думать.

— Опять ты, Коля, за цифры свои? — спрашивала она.— Зачем?

— Я бы, должно, математиком стал, сестрица.

— Отчего же не стал?

— Отец.

— А я мечтала художницей.

— Про живописиц мне ничего не известно.

— Ты полагаешь, не женское это занятие?

— Наверное, это самое трудное занятие на свете.

— Почему же?

— Копировать людей и природу не велика честь. Надо остановить такое мгновение жизни и сделать это так, чтобы в нем запечатлелась вечность.

Но лицо его ничего не выражало, когда меняли повязки, только лоб потел, глаза недвижимо останавливались на стене. Варвара Ивановна то и дело посылала ее за последним предзимним подорожником. Рана была всегда чистой и хорошо затягивалась.

— Страшно на войне?

— Очень.

— Но ты же удостоен двух Георгиевских крестов...

— Страх и трусость — понятия разные. Трусом я там не был.

Однажды она почему-то решилась на нелепый вопрос:

— А ты убивал там людей?

— Зачем об этом спрашивать? — он остановил глаза на стене.— Я выполнял долг, и пусть только военные знают подробности, а тебе они зачем?

— Так,— задумалась она.— Христианин, мусульманин — все равно человек.

— Да. Только этот мусульманин голову снес бы мне, если б я его не застрелил. И высшие интересы Отечества потребовали войны...

Брат не договорил, и она ни о чем больше не стала спрашивать, сидела подле него тихо, как мышь. Вдруг он попросил ее поднять лампу и долго, пристально рассматривал большой старомодный портрет матушки в тяжелой раме.

— Послушай,— сказал Николенька,— а ты ведь копия мамы!

— Я ее совсем не помню,— печально произнесла она.

— А мне было всего пять лет, когда ее не стало. Помню лишь что-то нежное и ласковое, будто ангел во сне прилетал. И в этом портрете отразилось то, о чем я говорил.

Чтобы не заплакать, она стала думать о том, как будет хорошо с ним его жене — просто и возвышенно. И тут же вспомнилось о н е м. Нет, он не хуже Николеньки, только другой по характеру и воспитанию. Николенька учился за границей и в лицее, работал в кругу дипломатов, был уже зван ко двору, не по летам серьезен и задумчив. А он после провинциальной гимназии окончил петербургский институт, на практических работах общался с мастеровыми, инженерами и подрядчиками, более ярок, чем Коля, порывист, иногда безудержно говорлив, и красив необыкновенно — статен, легок в походке, голову держит горделиво, с мужским достоинством. И он старше Николеньки на целых четыре года, а вернется с войны, если вернется...

— Николенька, война долго еще будет?

— Нет, заканчивается.

— А можно у тебя поинтересоваться одним деликатнейшим обстоятельством?

— Изволь,— он удивленно поднял такие же темные, как у нее, серьезные глаза.

— Тебя никто с войны не ждал? Ну, кроме нас.

— Нет, сестрица,— он впервые, как приехал, улыбнулся.— Но скажу от чистого сердца — там очень хотелось, чтоб, кроме вас, еще кто-нибудь о тебе знал. И ждал... Послушай-ка! А ты, случаем, никого не ждешь с войны? Что-то ты слишком задумчивая. Признайся! А? — И он совсем хорошо засмеялся, глаза его потеплели, и этой открытой, безо всякой сдержанности улыбкой он немного напоминал е г о .

— Совершенно никого не жду,— искренне сказала она.

Так уж получилось в ее недолгой жизни на родине, что на главные праздники в году — рождество и пасху — пришлись незабываемые события. Знакомство с прекрасным молодым человеком, первый, с божеского позволения, росток любви и размолвка с н и м, оставившая в душе тягостную неясность и запоздалое тайное раскаяние. Она с нетерпением и волнением вновь ждала рождества, каких-нибудь известий и, быть может, перемен. Не ошиблась. Под рождество получила сразу два письма. Отец сообщал из Минска, что дает свое согласие на поездку дочерей за границу и выделяет им для этой цели по сто пятьдесят рублей. Брат Николай из Петербурга прислал подарок — прекрасно изданный альбом сочинений Шопена и писал о том, что получил место второго секретаря, а служба его, несмотря на болгарский поход, не считается прерывавшейся. Она весь вечер разыгрывала ноктюрны на старинном рояле, и душа ее, полная тихой грусти, пела в унисон чарующим мелодиям.

В марте, когда начались бураны и она совсем перестала выходить из дому, переживая свою печальную юдоль, пришло письмо из Одессы. Катя разочарованно сказала, что не от Дели. Она вдруг побледнела, и Катя встревоженно спросила, что с нею. Письмо-то воистину не от Дели, а от подруги, от соседки, от Нины, от его сестры. Она, взяв письмо в руки, медленно начала понимать, что у них там большое событие — приезжал на несколько дней Ника. По окончании войны он, оказывается, отчислен был из действующей армии. Из-за своей вспыльчивости уехал из Болгарии со скандалом, который мог окончиться для него весьма нежелательно, однако все будто бы обошлось и Ника

даже представлен к ордену за сокращение сроков какого-то строительства. Сейчас он в распоряжении министерства путей сообщения и послан на Бендеро-Галацкую железную дорогу, где работал позапрошлым летом, будучи еще студентом. За это время у него что-то наболело, временами такой злюка-колюка, но остается все тем же деятельным и сумасбродом, очень любящим жизнь, людей и работу. Возмужал и похудел...

Она вдруг с удивлением ощутила, что ее охватывает тревога за него — незнакомое ранее чувство, очень похожее на жалость. Только он, конечно, никогда ничего не узнает об этом и совсем не нуждается в ней, слабом и смирном полуребенке, которого всякая муха безнаказанно обидит. Перевернула страницу, глаза быстро пробежали какие-то малозначительные слова не о нем и остановились на двух заключительных строчках: «Вчера мы весь вечер проговорили с Никой о Вас. Он просит передать Вам привет». Невероятно! Неужели он еще помнит о ней? И о чем они могли говорить? Передал привет,— значит, помнит! Не стал бы он ничего передавать, если б не счел это нужным, если б он был к ней совсем равнодушен и безразличен. Вдруг сердце, вспомнившее холодок их прощания прошлой весной, сжалось, но тут же потеплело при взгляде на последние строчки письма. Солнечный этот зимний день стал еще лучезарнее, синицы на голых сиреневых кустах за окном, к которым она успела приглядеться, показались необыкновенно красивыми твореньями божьей природы, захотелось ехать на тройке куда-нибудь в искрящийся снежный простор и смеяться.

И какое чудесное совпаденье! На дворе запрягали лошадей, по дому кричали, чтоб все потеплей одевались. Она закуталась в оренбургскую шаль, невесомую и пушистую, завязав ее концы за спиной, обула мягкие белые валенки, накинула шубейку и, будто на легких крылах, вылетела к слепящему солнцу и снегу.

Она послала письмо Нине в Одессу, попросила передать ее брату запоздалые поздравления с праздником рождества Христова.

И вновь наступили тягучие деревенские будни. Она сообщила отцу, что с запозданием получила из Одессы свои рисовальные принадлежности. Агент, отправлявший посылку, почему-то вообразил, что железная дорога доходит только до Сызрани, и пришлось посылать туда управляющего. А она спешит, чтоб к именинам отца закончить в каран-

даше портрет покойной матушки. Она задумала скопировать его с большого портрета, сделанного масляными красками, в тяжелой золоченой раме, что по распоряжению отца хранился в Богдановке и был поручен Коле. Вскоре после рождества докатился до Павловки слух, будто от Астрахани идет чума и достигла уже границ соседней Саратовской губернии, но потом успокоились, потому как в «Голосе» было сообщение, что слухи были сильно преувеличены и неизвестно еще было, чума или тиф начались под Астраханью. А Катя простудилась во время катанья на рождество, очень медленно поправляется, еще не выходит из комнат и кашель у нее не совсем перестал.

Отец в письме дал согласие на временную перевозку портрета в Павловку, только просил снять его с предельными предосторожностями и везти на кошевке в тесовом ящике. К горлу ее подкатил твердый комок, когда она прочла далее, что портрет можно ей не везти, а просто посмотреться в зеркало, рисовать — и выйдет копия матушки. Посреди отцовского письма расплылось пятно, и Катя сказала, что это папаша пролил чай или обронил слезу, а переписывать не стал из-за слабости глаз.

Вот и посылка пришла из Одессы с кистями, холстом, мольбертом, подрамниками, красками, и сундук с ее зимними вещами, и Деля написала, что летняя поездка за границу будет недешевой, потому что она не оставит Оленьку и, следовательно, ее няню, и муж тоже решил взять двухмесячный отпуск, чтобы вместе со всеми, а также чтоб похлопотать о билетах и гостиницах, в Штутгарте к ним присоединится наша Оленька — весело будет и хорошо, большим семейством. А писем от Нины не было. Нужно всего-то несколько слов: передала ли она поздравления и пожелания брату и как он отозвался, если отозвался.

Новый год сестры встретили не совсем одни. Приехал некто Умецкий, приглашенный Катиным мужем, замечательный в своем роде господин. Был ревностным участником сербской войны, уехал на нее добровольно, как и брат Коля, вернулся с тяжелой раной в ногу — от близкого разрыва турецкого пушечного ядра. До войны занимался хозяйством в небольшом своем имении, а сейчас служит в Самаре судебным следователем. Но это был, в известной

степени, и странный человек — замкнутый, малоподвижный, подолгу смотрел, не мигая, в одну точку, и поймать его взгляд было чрезвычайно трудно. В конце праздничного вечера она заметила, что Умецкий неотрывно смотрит на нее, но глаза его были какими-то пустыми, словно видели не ее, а что-то другое.

Нет, она твердо решила — никогда не выходить замуж. Как хорошо ей в этой светелке. Она развесила по стенам свои картины и эскизы, перебрала в этажерке книги, оставив на виду непрочитанные, шкатулку расположила на подоконнике перед собой, ту самую, какую совсем, кажется, недавно он нес по крутой лестнице.

Теплело к полудню на солнечной стороне дома, за ее окном, начинала звенеть капель. Писем от Нины не было, и от этого постепенно исчезала тягостная неопределенность и приходило желанное успокоение. Медленно, чтоб ушло время, она чистила и перекладывала свою долю фамильного серебра, а также посуду, принадлежащую Деле и хранящуюся пока здесь в их родовом имении. Кроила, строчила, подметывала и вышивала платьице маленькой своей крестнице Оленьке, чтоб отправить его вместе с серебром в Одессу. Взялась читать Шатобриана и никак не могла дочитать, все откладывала да откладывала за мелкими заботами и каким-то мечтательным безразличием. Ей понравилось говорить вечерами с Колей о своем хозяйстве, которое она решила непременно завести на своем наделе, что отошел ей на крайних пределах Колиных земель по завещанию покойной матушки. Написала об этом решении отцу, и тот охотно поддержал затею дочери. Только вот средств у нее не хватало. По всем расчетам выходило, что небольшой хутор с постройками даже из своего леса будет стоить рублей шестьсот — восемьсот. Она такими деньгами не располагала, а закладывать землю отец не советовал. Замыслила было продать десятины три спелого дубняка, однако Софон Семеныч огорчил, сказав, что лес по всей местности сбыта не имеет, весьма дешев и покупатели ищут больше, сверх сотни десятин, лесные деляны, чтоб канительные рубки, перевозки да сплав обернулись выгодой. К тому же путиловский лес далеко от реки, вырублен порядочно самим дедом, а молодняк не поспел.

В тех дальних семейных владениях Катя еще не бывала, доходы оттуда все уменьшались, и прежде чем строиться

и заводить свой посев, надо узнать леса, земли да поскорей поручить Катиному хуторскому приказчику навестить те места и следить за делами, чтоб привести все там в более систематичный порядок. Если не вести хорошо хозяйство, доходы совсем упадут, как вышло у Ильиных, чьи земли граничили с павловскими. Они всегда жили в Петербурге, а вот эту зиму проводят в деревне из-за нехватки средств. На крещенье, после обедни в богдановской церкви, она ездила к соседям поиграть в четыре руки с Ильиной, и та рассказала, что часть их имения продали с торгов за долги.

* * *

Коротая вечера, она доставала свою заветную шкатулку, которая все эти годы сопутствовала молодым при их бесчисленных переездах — в Петербург, Тифлис, Батум, Одессу, Самару, в деревню, в Уфу, Златоуст, снова в Петербург, снова в Самару и снова в деревню. В шкатулке хранились его письма, начиная с тех, самых первых, которые приносили на пароход в портовых городах Дуная...

Все это он, сумасшедший, тогда придумал. Отпустили его со службы ненадолго, он спешил и всех втянул в эту карусель. Съездил в Минск, получил согласие отца и привез его письменное благословение, окрыленно начал мечтать, как они устроят свою жизнь, и взялся уже ее устраивать по-своему — покупать, что надо и не надо. Роскошный семисотпятидесятирублевый рояль, очень неудобный в перевозке, так и остался потом в Одессе. Он не то чтобы не умел тратить деньги, он обладал способностью мгновенно избавляться от них, крупных и мелких. Поехали выбирать обручальные кольца. Одному извозчику на площади всучил золотой, чтоб тот перебрал в колесах разболтанные спицы, другого заставил подтянуть какую-то супонь и за это щедро дал на водку, третий получил на овес — очень уж скушно было глядеть на заморенного конягу.

Вскоре, однако, он удивил сестер своим необыкновенным пристрастием к счету. И несмотря на то что он потом не раз поражал ее фантастическими проектами извлечения экономии как бы из ничего, первое его предложение осталось недосягаемой классикой в летописях семейного бюд-

жета. Когда он заявил, что за свадебным платьем очень выгодно съездить в Париж, все весело рассмеялись. Тогда он принес путеводители, карты и справочники, бумагу и перо. Обстоятельства были таковы, что отец в письме просил старшую сестру и ее мужа привезти из пансиона младшую. «Через Минск и Варшаву едете?» — «А как же иначе!» — «Будем считать». Он быстро называл цифры, и все взялись подсчитывать пересадки, ожидания вечно опаздывающих поездов, билетные хлопоты, время на колесах, итожить расходы на стол, проезд и перевоз багажа этим долгим кружным извилистым путем. «Любые пути надобно спрямлять!» Потом он показал на карте Штутгарт. Оттуда, с верховьев Дуная, рукой подать до Парижа, где стоимость приличного гардероба по сравнению с одесской была такой-то и надо плыть Дунаем! Путешествие по морю и реке помимо экономии средств, если даже ехать втроем, сулит на этом пути удобства, безопасность, чарующие придунайские виды, встретятся интересные города и новые народы, в том числе с в о б о д н ы е б о л г а р ы. А сверх всего прочего, он проводит их до Валахии, этого ни на какие деньги не положить. Все снова весело рассмеялись, вояж в новом варианте был с восторгом принят, и она поплыла-поехала за белым свадебным платьем в Париж. И долгие годы вспоминала об этом путешествии, как о самой счастливой, почти сказочной поре своей жизни.

Пароход ласково баюкала бирюзовая черноморская волна, даже ночью на палубе было тепло, и он, красивый, умный и внимательный принц, стоял рядом, говорил о своей и ее любви, о железных дорогах и пароходах, о море и небе, о жизни и людях, которых она совсем не знала, о добре и зле, что вечно и повсюду бьются между собой, о Германии и России, о турках и болгарах. Предупредил, чтоб она не смущалась, если в Болгарии станут на нее с м о т р е т ь. Привыкнуть к такому нельзя, и он испытал это на себе, когда в прошлом году после выпуска из института был прикомандирован к действующей армии и работал в районе Бургаса. Болгар надо понять. Сама История тут обливалась кровью пятьсот лет. Пришли люди-звери, подымали на ятаганы невинных младенцев, живьем сжигали древних стариков, угоняли юных в гаремы, на галеры и перепродажу. Великая Россия вернула славянским братьям свободу ценой жизни десятков тысяч своих сынов. В бургасском порту он видел толпы провожающих и слезы

на их глазах, когда русская освободительная армия грузилась на корабли...

Сошел он в Рени, чтобы ехать железной дорогой через Троянов Вал на Бендеры, где его ждала трудная и пока совсем ей не известная служба. Она долго махала ему рукой, даже послала воздушный поцелуй, но сестра одернула невесту за такую бестактность, и хорошо, что он был уже далеко и, наверное, сквозь дым ничего не увидел, кланялся да кланялся уходящему пароходу. Дунай величаво катил свои зеленые у берегов и голубые на стрежне воды навстречу. Она закрывала глаза, вместе с морскими чайками кружилась над волнами, и невесть откуда являлись призрачные мелодии венских вальсов.

Причалов было больше на правом, болгарском берегу. Предсказание исполнилось — на них впрямь смотрели, только никак нельзя было понять, по каким признакам в пестрой толпе разноплеменных пассажиров болгары находили взглядами сестер. Временами ей даже казалось, что смотрят на одну ее, и тяжелая коса, уложенная на голове, становилась будто бы еще тяжелей. У первого же причала какая-то пожилая болгарка, с блестящими, как маслины, глазами, подала ей полную корзину красных роз, окропленных росой, решительно не хотела брать денег, лишь крестилась и шептала: «Русия! Русия!» Было нелегко сознавать, что ты, выросшая на чужбине, недостойна совсем этих молитвенных взглядов и благоухающих таких подарков, что не можешь принять на себя имени своей родины, которую тебе еще многие годы предстоит узнавать, чтобы почувствовать ее и полюбить, и что человек, чья судьба сольется с твоею, слишком восторженно думает о тебе, хотя успел достаточно изучить людей и многое понять в жизни, о чем он так искренне, благородно писал...

В Вене, где было решено пересесть на парижский поезд, она получила очередное его письмо. *«...Я всегда любил детей, немножко идеально смотрел на все и только к себе был недоверчив. Последние годы я чувствовал, что во мне начала происходить перемена. То же недоверие к себе, но зато стало вкрадываться и недоверие к людям. Прежде я старался делать зависящее от меня добро, твердо уверенный, что люди стоят, ценят и понимают деланное им, мало-помалу я продолжал делать добро, но все более и более убеждаясь, что люди не стоят этого и не ценят. Делал же добро потому, что зло делать не могу, и, когда бывала возможность сделать это иногда и*

заслуженное ими зло, мне жаль становилось этих жалких людишек, пошлость которых и негодный эгоизм — главные причины их страданий. Одним словом, я переставал верить в людей, а вместе с тем и в самого себя, и так как мстить, делать зло — все эти качества не в моей натуре, а сознательно делать добро при таких взглядах становится бессмысленным, то и выходит, что я обрекал себя таким образом на какое-то глупое, бессознательное существование человека, сознающего одно и продолжающего делать другое. Пожалуй, даже бесхарактерного. Ты снова, сильнее чем когда-нибудь, возвратила меня таким образом к жизни, потому что только сознательная жизнь есть жизнь, бессознательная же жизнь — прозябание. Мало того, ты дала мне веру в себя, чего у меня прежде было мало. Теперь я хочу жить для тебя, трудиться, делать добро и приносить пользу людям, любя и жалея их. Я верю в себя,— эту веру в свои способности к труду дал мне опыт, а веру в людей и в свои отношения к ним возвратила и дала мне ты...»

* * *

Михайловский ехал в Самару весенней подсыхающей дорогой, почтовую карету мотало в колдобинах, противно скрипело заднее колесо. «Смазать бы,— попросил он.— Сердце щемит».— «А ведро пустое,— равнодушно ответил ямщик.— И в деревнях ныне капли дегтя не сыскать, пра».

Нагие безлюдные поля тянулись по сторонам, слышался далекий печальный грай. Пахать подошла пора, только ни бороздки на виду и нетронутая земля заклякла, задохнулась. Глаз жадно искал хотя б клинышек зеленей, не находил ничего, лишь межевые травы по границам наделов тронулись в рост да вездесущий одуванчик вызолотил обочины. Печать великой беды проступала на всем. Безлюдные улицы деревенек, заколоченные избы, свежие, не успевшие потемнеть под солнцем и дождями кресты на погостах. Боже, сколько переселилось народу за зиму на вечное жительство в эти взгорки, сколько живых душ отлетело!

Пять лет Михайловский не был здесь. Он покидал тогда деревню, оскорбленный в лучших своих чувствах и помыслах, бежал, провожаемый злорадством и состраданьем, не думая, что когда-нибудь сможет все забыть и простить. Время, однако, усыпило боль, горький осадок старой обиды

растворился перед ликом смерти — теперешней хозяйки этих мест. Только нет, не забылось ничего, а лишь отстоялось главным, и о прошлом можно было рассуждать трезво, а не под влиянием того тяжелого момента, когда в дым обратились все его благие намерения и светлые надежды.

Повозка едва тащилась глинистыми низинами и песчаными косогорами, то вверх, то вниз, пустые нивы омрачали белый свет, и Михайловский не мог больше их видеть. И жизнь у него так складывалась до сих пор, все эти двенадцать лет бежала то вверх, то вниз переломистая дорога. Только скорость и характер движения были иными — он не умел жить медленно и размеренно, жал, дергал рывками, не загадывая далеко, не оглядываясь назад. Редко и невзначай выпадала возможность повспоминать, порадоваться, попечалиться или спокойно подумать о том, что миновало.

Жизнь была удивительной загадкой. Временами ему казалось, что он держит ее в руках, движет ею, тогда легко и радостно дышалось, но потом неотвратимо наступали другие обстоятельства, он изо всех сил сопротивлялся им, а они были сильнее, заставляли подчиняться себе, преодолевали его сопротивление постепенно, мягко и властно, а то и просто швыряли наземь своею грубой силой.

Жизнь состояла из цепочки случайностей, то удивительно непоследовательных, то будто бы закономерных, когда одно звенышко влечет за собой другие. Он не знал, каким бы сейчас сделался, о чем думал и чего добивался, если б не та давняя встреча с Надеждой Валериевной. Для него было счастьем, что любил это кроткое и чуткое создание, быть может, в ответ на ее беззаветную любовь, всепрощенье — в этот момент она вернула ему веру в себя и свое д е л о , но какая все же длинная череда необъяснимых совпадений привела его в эти глухие заволжские степи, куда он и не чаял попасть, однако попал вот уже в третий и, знать, не в последний раз!

Жил тут некогда помещик Путилов, владел тысячами душ, обширными землями и лесными угодьями, слыл на всю губернию большим оригиналом. Одни его называли озорником, другие своевольником, а то и похлеще, спорили, чего в нем заключалось больше — фанаберии или дури.

Обитал он большей частью в Богдановке своей, только и

в город езживал, где стоял его каменный терем с воротами вычурной кладки, пузатыми колоннами да балконами чугунного литья. Надумал он часом осесть в деревенской вотчине, уехал, сдал дом самому губернатору с неким обязательным условием, которое спустя несколько лет поставило сановного съемщика в безвыходно-унизительную позицию. В самый неподходящий для себя момент властитель губернии получил уведомление: «Извольте немедля съехать, завтра, препожалуйста». Верно, в соглашении аренды значилось, что хоромы должно освободить по первому сигналу владельца, однако губернатор не мог принять чрезмерный ультиматум ввиду разных и многих обстоятельств. Тогда Путилов осадил Самару — согнал к городу своих крепостных и приказал им перекрыть дороги. Последовала позорная капитуляция, самодур въехал в город на белом коне, но вскоре убрался назад в свои степи. И не то смертная тоска его снедала, не то с жиру он бесился, только не обладай этот барин столь неуемным нравом, неизвестно, как бы сложилась жизнь единственной его дочери Аделаиды, тихой болезненной девицы.

В чудаковатую башку его как-то пришла мысль выставить заслоны на дороге, проходящей мимо усадьбы, чтоб ни один путник не мог избежать принудительного путиловского гостеприимства. То купчишка, то офицеришка, а то целая труппа бродячих комедиантов представали пред глумливыми очами самодура, однако далеко не все обижались на него — он знал людей, умел обойтись с ними, угостить и приветить. Как-то раз дозор остановил нездешнего молодого проезжего. Напрасно возмущался и протестовал против такого произвола преуспевающий чиновник Чарыков, будущий минский губернатор и отец Надежды Валериевны...

Чарыков принял его сразу же, отправив с бумагами молодого, на цыпочках ступавшего по ковру чиновника, поднял штору.

— Простите, господин Михайловский, я же вас совсем не знаю! — рассматривая визитную карточку, холодно проговорил Валерий Иванович Чарыков, когда Михайловский заявился к нему в Минск этаким самонадеянным женихом и, одновременно, неловким сватом.

— Но меня знает ваша старшая дочь,— заторопился гость, предвидя неминуемый отказ,— и Ваш зять, ваше высокопревосходительство.

— Вполне достаточно,— одной щекой улыбнулся губернатор,— а как вы с ней-то познакомились?

— Чего в жизни не бывает! — воскликнул Михайловский и вдруг неожиданно для самого себя, как это с ним нередко бывало, ляпнул: — Мне рассказали, как вас познакомили с ее матерью!

Чарыков оторопело посмотрел на него и раскатисто захохотал, отыскивая пенсне на трясущемся животе.

— Силком! Силком! — приговаривал он.— Силком!

Потом успокоился, глубоко вздохнул, пробормотал:

— Эх, Адель! — и совсем насупился.

— А сможете ли вы содержать семью?

Ну, теперь гость был хозяином! За последний год у него отложилось пять тысяч, хотя текущие расходы немалые. Его служба особая, совсем не похожая ни на какую, в ней есть своя надежная прелесть! Однако и платят хорошо.

— Коллежский асессор, за год пять тысяч? Знаете!

— Да! — горячо вскричал Михайловский.— И все честные, до копеечки! Мог бы заработать и двадцать тысяч честных.

— Каким образом?

— На подряде... В Болгарии служил.

— В действующей армии? — с любопытством взглянул на него Чарыков.

— При ней.

Он принялся рассказывать, каким трудом эти деньги достаются, с какой ответственностью связан чуть ли не каждый его шаг, что ел он всякую дрянь и спал с артелью в телесной тесноте и грязи.

— Любая служба изрядно тяжела, если...— Чарыков не договорил и как-то деловито, заинтересованно поощрил гостя, небрезгливо взялся расспрашивать о подробностях: — Вши?

— Это еще что, эти перемещаются,— засмеялся Михайловский.— Гниды — это да! Так по рубчикам и сидят, и сидят, и жгут, и жгут, только их тоже не замечаешь, пока не закончишь дела... Фу, какие мы гадости говорим, ваше высокопревосходительство, извините!

— Ничего, ничего, Николай Георгиевич! — успокоил его Чарыков.— Мздоимство процветает?

— Больше лихоимство. Из казны сосут, как гниды. Фу, опять я не о том! Знаете, я невесте рояль заказал...

— Уже заказали?!
— Прекрасный беккеровский империал.
— Да, она музицирует,— рассеянно произнес Чарыков.
Задумался надолго, и Михайловский, наблюдая, как тот постукивает визитной карточкой о край стола, так и сяк покручивает ее, все еще не мог поверить, что это отказ. Он поднялся было, но Чарыков посадил его взглядом.
— Она была бы счастлива со мной! — проговорил Михайловский.
— И посоветоваться не с кем,— грустно протянул Чарыков и вдруг засмеялся: — Положение хуже губернаторского.
Во время пауз он рычал в усы — то ли кашлял, кашель сдерживал, то ли зажевывал невнятно какие-то слова. Усы его спустились, обвисли даже, он снова сделался подчеркнуто официальным, и Михайловский боялся его вопросов, задаваемых в этакой непринужденно-доверительной манере, однако весьма существенных, исподволь, будто бы ненароком, испытующих жениха.
— Вы из дворян или?..
— Потомственный дворянин.
— Батюшка ваш служит или на отдыхе? — спросил Чарыков.
— Скончался. Я еще в гимназии учился.
— Простите. Весьма соболезную... Особливо матушке вашей... У меня вот дети тоже сиротами растут... Нет горше доли...
— Да.— Михайловский живо увидел карие отцовские глаза Надежды Валериевны, полные боли и печали.— Надежда Валериевна рассказывала.
— В подробностях? — испытующе взглянул Чарыков.
— Ну, не знаю, как сказать...
— Да не надо говорить.— Чарыков понял и, держась за поясницу, с кряхтеньем разогнул спину. Прошелся по кабинету, приспустил штору.— Папиросу желаете?
— Не курю.
— Похвально.
— Еще на втором курсе бросил.
— А я первый раз бросил еще мальчишкой, в кадетском корпусе...
Он приблизился к высоким напольным часам, открыл их и подтянул гири.
— Однако и обедать пора,— заметил он.— Вы соблаговолите отобедать со мною?

Михайловский не знал, как ответить, покраснел и потерялся от смущенья. Губернатор огромного края, один из столпов державы Российской, у которого он приехал просить руки его дочери, приглашает на обед! Ну конечно же, отказываться нельзя — это явный знак расположения и приязни.

— Отчего вы молчите? Тут по-солдатски надо отвечать, Николай Георгиевич. Проголодались?

— Вроде бы и не до еды,— в счастливом волненье ответил Михайловский.— Но есть охота, как из пушки.

— Ха-ха-ха! — зарокотал Чарыков.— Это воистину по-солдатски. Тогда незамедлительно едем!

В гостиной губернаторского дома было прохладно — стены добротной старинной кладки не прогревались даже этим июльским солнцем. Лепной потолок уходил высоко-высоко и поэтому не казался тяжелым. Сквозь белые шелковые шторы в открытые окна лился ровный солнечный свет и делал скользкие вощеные полы совсем янтарными. Стол был накрыт на три персоны. Михайловский подивился простоте и домашности сервировки; как у них, серебряная посуда была очень старой, ею пользовалось, наверное, не одно поколение Чарыковых.

Явилась Мария Дмитриевна, и муж представил ей Михайловского.

— Какая погода стоит в Одессе? — лениво, врастяжку спросила Мария Дмитриевна, окинув гостя мимолетным взглядом. Какой-то странный он был у нее — верхние веки до половины прикрывали зрачки больших серых глаз, и казалось, что она смотрит на все со снисхождением либо презреньем. Не дожидаясь ответа на свой вопрос и не глядя на мужчин, она пригласила их к столу. Эта женщина, очевидно, была когда-то очень красивой и не могла о том безвозвратном времени забыть. Чарыков, усевшись, громко хлопнул крахмальной салфеткой, а Мария Дмитриевна вздрогнула и тихо сказала:

— О боже мой! Никак не могу привыкнуть.

Михайловский вынул салфетку из колечка, осторожно расправил ее на коленях. Чарыков залпом выпил стопку, и Мария Дмитриевна мельком взглянула на супруга. Михайловский сделал маленький глоток и отставил холодную рюмку — он никогда не любил водки, а тут вообще нельзя было пить, мало ли что о нем могут подумать. Чарыков закусывал с аппетитом, разговора никакого не начинал,

и гостю стало неловко и неудобно от молчания, воцарившегося за столом.

— Погода в Одессе хорошая,— вдруг с запозданием сказал он,— теплая.

Мария Дмитриевна удивленно и будто бы презрительно посмотрела на него. Михайловский покраснел и подумал, что такая действительно могла запереть пугливую девочку в темной комнате.

— Что там Надя? — спросил Чарыков.

— Музицирует, читает.

— Ей больше следует отечественную литературу читать,— промолвил Валерий Иванович.— У нее тут наличествуют пробелы. Представляете, Николай Георгиевич, она совсем — ну ни строчечки! — не прочла Салтыкова...

— Это поправимо,— пытаясь быть солидным, произнес Михайловский, как бы Чарыков не обнаружил, что и у него тут есть пробелы,— Салтыкова-Щедрина он всегда пролистывал в журналах.

— А ведь из наших! — с гордостью сказал Чарыков.— Из губернских бумажных крыс! Он знал Россию. Служил вице-губернатором в Рязани, Твери, управляющим казенной палатой в Туле, Пензе. В Вятке начинал. Когда я был еще губернатором в Симбирске, он сидел в Вятке. К тому времени как мне заступить там на губернаторство, он уже занялся журналом, презрев чины... Что ж — сатирик! Редкий в России дар...

— В публике я слышал,— поддержал разговор Михайловский,— будто Щедрин не любит Россию. Добавляют, однако, что он не любит ту Россию, которой нет.

— Понимаю, но это весьма спорное суждение,— возразил задумчиво Чарыков.— Салтыков любит Россию. Только, однако, ту, которой никогда не будет... Эх, Россия, Россия! Кто тебя после нас будет любить такой, какая ты есть?

— Сыны отечества,— сказал Михайловский.

— А такие есть? — спросил Чарыков.

— Всегда будут.

— Что же, можно любить в ваших... как их?.. Ну, местность, откуда вы прислали письмо? — соизволила принять участие в разговоре скучавшая до сего момента Мария Дмитриевна.

— Бендеры,— сказал Михайловский.

— Так что можно любить в этих Бендерах?

— Работу по устройству России, людей, которые любят эту работу! — горячо заговорил Михайловский.

— Золотые слова, Николай Георгиевич,— одобрил Чарыков.— А кроме того, любая точка России имеет историю. Ты же сама, дорогая, мне на днях читала о Бендерах, когда я полюбопытствовал. Расскажи, пожалуйста.

— История-то блистательна,— начала губернаторша.— Только прошу на веранду — там и сигары и десерт.

На веранде она охотно принялась рассказывать, какая жизнь кипела почти сто лет назад в этих самых Бендерах, где во время большой турецкой кампании располагалась главная квартира князя Потемкина. Мария Дмитриевна говорила увлеченно, вставляя иногда для шарма французские словечки, а Михайловскому надо было совсем немного, чтоб унестись воображением в те далекие годы, в сказочную обстановку, созданную в Бендерах прихотью всесильного фаворита Екатерины Второй.

— Это был двор! — то и дело восклицала Мария Дмитриевна.— Настоящий двор со всем его великолепием, но с азиатским антуражем.

Двор обслуживали шестьсот слуг, сотни золотошвеек, десятки ювелиров. Содержался кордебалет, комическая труппа, двести музыкантов. При дворе постоянно пребывали в своих живописных одеждах киргизские и татарские мурзы и ханы, персидские послы, паша-вероотступник, какой-то низложенный султан, испанцы, австрийцы, черкесы, турки. Среди блестящих кавалеров были португальцы де Фрейра и де Пампемоне, группа дворян из Пьемонта, граф де Дама, принц Нассау-Зиген...

— И прочая сволочь,— проворчал Чарыков, прихлебывая чай, но Мария Дмитриевна не расслышала.

— По рекомендации Андрея Разумовского из Вены,— с упоением продолжала она,— князь собрался пригласить недовольного своею судьбою Моцарта, но этому помешала внезапная смерть великого композитора. ...Для дам князь ничего не жалел. Когда наступила летняя жара, Потемкин начал устраивать приемы в подземных залах, обитых черным и красным бархатом...

— Для рытья этих залов были сняты с позиций два гренадерских полка,— вставил Чарыков.

— В доме у него был золотой зал, весь сверкавший утварью из драгоценных металлов и камней. Он ухаживал в то время за княгиней Екатериной Долгорукой, и чтоб она приняла подарок, он преподнес однажды презент всем присутствовавшим дамам двести кашемировых шалей из Индии. В день именин государыни за десертом разно-

сили хрустальные кубки, доверху наполненные бриллиантами. Дамы приглашались брать из них, и князь шептал своей избраннице, что все это в честь ее именин... Это был подлинно княжеский двор! И не спорьте, не спорьте! — воскликнула Мария Дмитриевна, хотя ей никто не возражал.— А хозяин его был пусть рыцарь на час, но рыцарь!.. Ну, вы тут курите, а я пойду распоряжусь.

Она вышла легкой походкой, а Чарыков смеющимися карими, похожими на Надины, глазами глядел на Михайловского и приговаривал:

— Вот история! Вот это история!

— Но это одна сторона ее,— неуверенно сказал тот.

— Верно, Николай Георгиевич,— Чарыков понизил голос, оглянулся.— Этот отставной ... императрицы был вонючим ... ! Не понимаю, как его история вытерпела?

Михайловский было отшатнулся, услышав срамные слова, но его тут же увлекло то, о чем говорил Чарыков. Потемкин, оказывается, загубил двадцать тысяч солдат, офицеров и столько же лошадей под Очаковом оттого, что запоздал с началом операции — развлекался. Прихлебатели г е н е р а л-ф е л ь д м а р ш а л а съедали в Бендерах большую часть средств, выделяемых для экипировки и пропитания армии. Он посылал майоров и полковников в Париж и Флоренцию за духами и бриллиантами для своих наложниц, которые доводились ему родными племянницами. Князь увлекался оргиями с цыганками и медвежьей травлей, а перед неприятелем стояли генералы Суворов, Долгорукий, Селетников...

— Да, ведь там же Суворов был,— вспомнил Михайловский.

— Если б не это счастливое обстоятельство, не видать бы Потемкину Измаила! Он и на позиции-то выезжал в карете. Я еще в кадетском корпусе слыхал, как его взволновали первые услышанные им пушечные выстрелы. Он послал спросить, почему стреляют. И Суворов будто бы ответил: «Передайте светлейшему: стреляют потому, что русские и турки воюют между собой».

На громкий хохот вошла Мария Дмитриевна, заулыбалась вопросительно.

— Это мы так, мужской разговор,— сказал Чарыков, вытирая слезы.— А знаете, отчего этот генерал скончался... объелся соленым гусем, не смог переварить.

Михайловский совсем изнемог от смеха, закрывал ладонями разгоревшееся лицо, но не мог успокоиться, а

супруги, не в силах устоять перед этим заразительным молодым смехом, тоже смеялись, любуясь заезжим женихом. Постепенно все успокоилось, и Михайловский поднялся, чтобы откланяться. Он снова стал серьезен.

— Значит, Валерий Иванович, я могу подать своему начальству рапорт о женитьбе и пригласить вас с супругой на свадьбу?

— Можете, Николай Георгиевич. Вообще-то, вам неплохо в министерстве послужить. Оттуда все увидится в другом ракурсе.

— Как раз я это и собрался сейчас узнать. Ну, мне пора на петербургский поезд.

— Интересно, какая погода стоит в Петербурге,— протянула на прощанье Мария Дмитриевна.

А губернатор тем вечером сделал запись в своем дневнике, который он регулярно вел многие годы: *«Надя стала невестою Николая Георгиевича Михайловского, который 4 августа был у нас в Минске — очень понравился».*

Никто не ожидал, что он приедет на свадьбу. В тот день, 22 августа 1879 года, Одесса праздновала годовщину основания. С утра звонили колокола и трепыхались под морским ветром флаги. После крестного хода по улицам и парада войск на Соборной площади заиграли на бульварах оркестры, двинулся по городу пестрый, шумный карнавал. Михайловский заранее дал извозчикам денег на ленты и колокольцы, а когда свадебный кортеж тронулся по Михайловской улице, на первую коляску, в которой ехала Надежда Валериевна, посыпались с балконов цветы. Перед венцом он прошептал: «Как интересно и странно — встретились мы на Михайловской улице, венчаемся в Михайловской церкви, и замуж ты выходишь за Михайловского».— «Значит, судьба»,— счастливо рассмеялась она. Родители не должны присутствовать при венчании, однако неожиданно прибывший отец невесты почему-то не посчитался с обычаем. Дома он строго сказал молодоженам: «Николай Георгиевич, вы держали себя под венцом достойно, серьезно, как подобает жениху, а ты, дочь моя, легкомысленно улыбалась». Михайловский попытался защитить ее, Чарыков скептически слушал, потом торжественно вручил приданое — гербовую нотариальную бумагу на право владения наследственными землями в Самарской губернии...

Неожиданно и странно — землевладельцы! Зачем им это? Для нее все, что вне города, было чужим, а дикая заволжская глухомань виделась в несусветных монгольских далях, населенных каторжниками и зверьем. Он тоже никогда в деревне не жил, крестьян видел только на базарах да картинках, а наемный лапотный люд в экспедициях — какие же это крестьяне, когда кормились уже сторонним заработком, хотя все самые душевные разговоры, как это заметил Михайловский, сводились к земле. Конечно, они вместе с ним работали тоже на земле, но перед ним выступала она в ином назначении и новой ценности. А земля плодоносящая представала перед ним как далекая terra incognita, полная серых, тяжелых, неинтересных будней, которую он в силу своего воспитания, образования, обстоятельств жизни, рода занятий никогда не узнает, да и вряд ли захочет узнать.

Не вышло так, однако. И трех лет не пройдет, как обстоятельства изменятся, под их влиянием обновятся и его взгляды. Он сядет на землю, да так, что потом всю жизнь будет время от времени возвращаться в свою губернию, чтобы страдать и радоваться, проклинать и благословлять, мечтать и учиться уму-разуму, а она, земля-то, в ответ раскроет перед ним глубины жизни, в какие заглядывают редкие, лишь особо отмеченные судьбой люди.

Но тогда, в 1879-м, молодые и не думали вступать во владение своими самарскими землями. Медовый месяц, а может статься и год, они решили провести в Петербурге, куда Михайловского соизволило пригласить на службу ведомственное начальство, успевшее оценить его отношение к делу. Большой знаток этого дела Данилов, известный в министерских кругах как человек порядочный и чрезвычайно скупой на похвалу, будто бы назвал его орленком, у которого быстро отрастают маховые перья, и с этакой рекомендацией можно было начинать чиновничью карьеру. Говоря строго, Надежда Валериевна не ведала, за кого только что вышла замуж,— слишком молода была и не подготовлена к жизни. Узнавать это она будет обречена до самой его смерти и много лет еще после, до самой смерти своей. Услышала, что друзья называют его между собой «орленком», на свадьбе в этом смысле даже был предложен тост «за счастье того, кто любит кого», и тут же комплиментарно поименовали невесту «голубкой», но мимолетная неловкость растаяла в музыке и праздничном веселье, а она так и не уразумела, с чем следует свя-

зывать эту, очевидно, лестную для него характеристику. Он был старше ее на целых семь лет, все на свете понимал, только ему недоставало сдержанности, к которой так долго приучали ее. Его ветреное для такого возраста мальчишество поразило в незабвенный день первого признанья. Объяснение произошло у могилы его отца. Стоя на коленях и вся трепеща, она молилась, а он стоял подле. Когда исторглись и просохли слезы волненья и счастья, они пошли по тропинке, ведущей к полуразрушенной каменной стене. За нею, по соседству с кладбищем, зарастал и дичал старый сад Михайловских. Цепляясь за выступы, они влезли на стену, чтоб осмотреть с высоты усадьбу, и здесь он предложил вполне безумный план: спрыгнуть вниз вместе, по команде, только он, обнимая ее, сделает это чуток пораньше, чтоб таким способом облегчить ей приземление. Они упали, конечно, испачкались и расшиблись. У Надежды Валериевны сильно болела рука, бок, по щеке текла кровь. Домашние с шутливой серьезностью бранили их, его называли сумасшедшим, удивлялись, как она могла согласиться лезть на эту стену. Смеясь, подруга при всех сказала о брате, что за этим господином опасно слепо следовать. *«Именно с ним и надо всегда и за него и за себя все обдумывать, а иначе он заведет вас в жизни в такие круги, из которых и выхода не будет».— «Куда он пойдет, туда и я пойду, и всегда будет выход»,*— ответила Надежда Валериевна, не подозревая о том, что слова подруги окажутся пророческими, но, вспоминая их, она всякий раз станет мысленно повторять и свой ответ.

Они уезжали на следующий день после свадьбы. Шумная толпа провожающих ввалилась на пустой перрон с багажом и цветами. Ничего не понимая, Надежда Валериевна смотрела, как он достает из кармана билеты и, с улыбкой наблюдая за ней, рвет их на мелкие кусочки. Через минуту, под общий смех и шутки, все разъяснилось — дома кто-то нарочно перевел часы, поезд ушел. Свадьба продолжалась, и больше всех был доволен, кажется, отец.

Остановились в «Англетере». Прямо перед окном номера громоздился Исаакиевский собор. Главный кафедральный храм России не уступал ни венскому Стефану, ни Парижской Богоматери, был даже торжественнее и строже. Положительно, Петербург выдерживал сравнение с городами,

какие она знала. Нева с ее величавым простором и мостами, с ротондами и классическими благородными зданиями по набережным, с Петропавловкой и Адмиралтейством в таких сравнениях не нуждалась.

А у него на все было свое соображенье. Исаакий он осматривал тщательно и совсем другими глазами, чем она, хвалил Монферрана как инженера за гигантский металлический купол и самые большие в мире гранитные колонны, но добавлял, что чуток тяжеловато наружное убранство собора, что дороговато все это вышло, и вообще-то могли б обойтись без иностранца. Она восхищалась Петром и его решимостью построить такой город в таком месте. Он, соглашаясь, широко разводил руки, показывая, какой лоб был у Петра, однако заметил, что русские и раньше закладывали города бог знает где — то Обдорск, то Мангазею, то Якутск.

И он не любил Петербурга, хотя родился в нем и провел здесь свои лучшие годы, студенческие. Вскоре после приезда провели они веселый вечер в кругу его институтских друзей. Пили вино, много пели, заставляя ее аккомпанировать без нот, и она покорно бренчала, стараясь поймать мелодию, и совсем не вслушивалась в слова — то бесшабашно разудалые и как будто бы даже чуток нескромные, то с политикой, когда певцы сближали над инструментом головы и понижали голоса. А ночью он горячо прошептал ей в ухо, что ненавидит столицу. За что же? — удивилась она, и он возбужденно, сбивчиво, но складно, как в романе, принялся говорить, что меж золотым детством и взрослостью кипят в тебе нерастраченные силы, манит неизвестность, кажется, что жизнь бесконечна и ты никогда не умрешь, а люди вокруг живут только для того, чтоб ты делал их счастливыми, но этот большой казенный город отравил его душу первыми серьезными сомнениями, и горький яд последующих разочарований имел тоже здешние источники, и только особый нравственный настрой, освященный их любовью, помог ему возродить в себе лучшее из того, чем одаряет человека юность...

Первое время она очень плохо ориентировалась в городе — отойдя на две улицы от набережной, уже не могла с достаточной уверенностью сказать, в каком направлении сейчас Нева. Он смеялся над ней и однажды набросал на чертежной бумаге изящный и простой план города, показал, где север и как ходит солнце, пометил главные петербургские ориентиры. Теперь в затруднительных слу-

чаях она останавливалась, закрывала глаза и, мысленно представляя чертеж, вспоминала, куда течет Нева, где стоит Исаакий, а он снова смеялся над ней.

Очень долго искали квартиру, и все из-за него. Приходили по объявлениям, осматривали комнаты, по общему согласию давали задатки, но на улице он вдруг начинал сомневаться, подхватывая и раздувая до чудовищных размеров ее робкие сомнения, которые она высказывала, лишь поддакивая ему. Деньги пропадали, в новом месте они вручали следующий задаток, хотя сразу было видно, что п р и н и м а т ь тут нельзя и от министерства далеко, а когда подсчитали, что на одни задатки они б могли спокойно жить по крайней мере до середины зимы, подвернулся случай — съезжал его товарищ и порекомендовал свою квартиру, не слишком просторную, но очень милую.

Службой он был недоволен, но не говорил об этом, а она еще не научилась угадывать по его поведению, что там у него вне дома, была поглощена новым для себя состоянием жены и хозяйки и все сводила к их отношениям, которые, как он вдруг начал настаивать, якобы нуждались в прояснении. Молодую красивую пару наперебой приглашали в гости, круг их знакомств расширялся. Он свободно чувствовал себя в любом обществе, а она не умела сразу найти нужного тона с малознакомыми людьми: отнюдь не чураясь их, она вела себя беззащитно и стеснительно, жалея себя и больше всего на свете боясь, что ее примут за простушку, какою, наверное, она и выглядела в их глазах, компрометируя мужа, мучилась, не зная, как истолковать взгляды молодых женщин их круга на него и на нее, когда он изящно и вдохновенно танцевал с другими или с нею. Однако же скрепя сердце принимала приглашения его товарищей, тело ее словно деревенело, и во время танца она, чувствуя на себе его взгляд, зная уже, что дома он будет молчаливым и отчужденным, она будет невыносимо страдать за свое ответное молчанье. Однажды он огорченно сказал ей в коляске: «Все видели, что я тебя люблю, но никто не скажет, что ты меня любишь».

По обыкновению, она не нашлась, считая свою любовь к нему очевидной, не требующей каких-то доказательств и, главное, слов.

Вскоре принес он ей «Что делать?» Чернышевского, сказал: «Прочти этот роман внимательно, и тогда тебе станет ясно, любишь ли ты меня и как любишь».

Она с интересом читала эту книгу, нелегкую, однако,

в чтенье, исполненную ищущей мысли и душевного благородства. Она радовалась за мужа и жену, живущих счастливо, устремленных к большим целям. Ощущая большую разницу между собой и «проницательным читателем», Надежда Валериевна не все поняла в романе. У мужа был друг, очень хороший человек, в которого героиня постепенно влюбляется. Узнав об этом, муж уезжает куда-то и, чтоб не помешать их счастью, симулирует свою смерть — теперь они могут пожениться.

Надежду Валериевну поразило политическое настроение автора, его смелый взгляд в будущее, хотя и мечтательный. Однако ей, совсем еще юной, недавно вышедшей замуж, оказалось не по силам разобраться в тонкостях любви жены к мужу, а потом к другу. Считая, что психология этих сложных отношений в романе изображена не совсем определенно и ясно, она не могла с достаточной решимостью оправдать или осудить кого-либо из троих.

А он, узнав, что роман прочитан, спросил: «Вот теперь скажи, как ты меня любишь — как героиня любила мужа или как она любила друга?» Откровенно и чистосердечно Надежда Валериевна ответила: «Не знаю»,— с тревогой заметив, что он вдруг помрачнел. «Значит, ты меня совсем не любишь,— решительно заявил он.— В таком случае мы можем разойтись». Она в отчаянье зарыдала, и он кинулся к ней; целовал, просил прощенья, уверял, что не сомневается в ее любви к нему и никогда больше не будет ставить такие жестокие вопросы. Однако вопросы эти по его вине встанут между ними спустя много лет, и тогда она не раз вспомнит, как он в самом начале их супружества произнес не «развестись», а неопределенней и горше — «разойтись»...

На петербургские мостовые просыпался первый снежок, и помягчел грохот ломовых телег под окнами. Надежда Валериевна сидела за рукоделием, пока не затемнивало, и тут приходил со службы он, обнимал ее, а она поцелуем снимала с его лица озабоченность и раздраженье; там, в министерстве, с ним происходило что-то такое, о чем она смутно начала догадываться, но ничего не знала наверное и не стремилась узнать, чтоб хоть дома он отвлекался.

Вскоре после покрова дня она, истаивая от счастья неведомой тревоги, сообщила ему, что у него, кажется, будет наследник. Николай Георгиевич по-мальчишески подпрыгнул, растрепал ей прическу, празднично уложенную к этому случаю, взялся целовать руки ее и коленки,

нежно жевать мочку уха, она смеялась, беспомощно и тщетно пытаясь отвести его щекотные горячие губы. Сами собой уменьшились визиты и вечеринки, стало им интересно дома, вдвоем, он писал что-то вечерами и рвал исписанную бумагу, она вязала шапочки и тапочки, было хорошо. В театры ходили, но ему было трудно неподвижно высиживать весь спектакль, кресло под ним вечно скрипело. Открыл он ей русскую поэзию, которую она, оказывается, почти не знала. Впервые читала Пушкина, Лермонтова, Некрасова и плакала, и произносила строчки вслух, упиваясь звуками родной речи, и учила наизусть, и жалела, что так много дней прошло без этих умных, сладостно-горьких и чистых, как слеза, стихов, строем и духом своим совсем непохожих на французские.

Гулять они стали чаще и все больше по местам, означенным в книгах. Однажды он, вечный выдумщик, решил найти мраморного льва, на котором спасался от наводнения Евгений. Она негромко прочла у памятника Петру:

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые...

— Подожди, подожди! Где же это? — остановил ее Николай Георгиевич озираясь.— Площадь Петрова — вот она, Сенатская, но никакого угла у нее уже нет, давно застроили все. А дом тот, если он был, стал старым.

И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне...

Он оживился: «Обращен к нему с п и н о ю » — это уже проще, дорогая, сейчас найдем!» Но за спиной у Петра стоял узкий дом-утюг безо всяких львов и возвышенного крыльца, а за домом этим высился златоглавый Исаакий. Неужто снесли? «У того дома еще колонны были»,— заметила Надежда Валериевна, тоже увлеченная необычной задачей. «Откуда ты взяла про колонны?» — «А как же!»

Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые...

К ее радости необыкновенной, нашли они этот дом чуть в сторонке, сокрытым большими заиндевевшими деревьями, и колонны, и львов нашли; Николай Георгиевич, оглядевшись по сторонам, взобрался на льва. «Верно! Казалось бы, сбоку, а верно — спиною!» — пытаясь разглядеть медного всадника сквозь пушистые белые ветки, крикнул он. «Неужто Пушкин так же, как мы, стоял тут и смотрел?» — восторженно спросила она. «Конечно! Ах, чудо — Пушкин, молодец Пушкин!»

В одно из воскресений съездили они на Сенную — ничего не покупать, а просто побыть среди людей, пройтись по морозцу да подышать. Просторная и тихая по будням рыночная площадь в базарный день делалась тесной, пестрой, многоголосой. Народу битком, товару навалом. Сенной подвоз был давно запрещен, и нынче тут шел бойкий торг мясом, валяными сапогами, квашеной капустой, горшками, дровами, домоткаными половиками, салом и крупами, свежей рыбой и вязигой, резной деревенской посудой, курами, топорищами, скобяным товаром, мочеными яблоками — всем, что потреблял хваткий петербургский простолюдин, для которого зеркальные магазины на Невском и Лиговке были не по карману, не по рылу, а купля-продажа без добродушной ругани, шутки-прибаутки да запросу — хуже наказанья.

Николай Георгиевич держал себя на базаре заправским хозяином. Едва сдерживая смех, она прислушивалась, как он шутливо торгует то визжащего поросенка, то совершенно ненужный ему нагольный полушубок, спрашивает у цыгана, за сколько рублей тот согласился бы уступить своего облезлого жалкого медведя. Было холодно, она прятала руки в соболью муфту, а он мял перчатки на студеном ветру, купил на грошик ржавого со следами печной золы солоду и, к ее удивлению, тут же съел, потом, обжигаясь и кряхтя, долго пил самоварный чай с ноздрястыми толстыми блинами.

Они уже подвигались к извозчикам, когда Надежда Валериевна вспомнила вдруг:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую...

«Неужто это было?» — спросила она. «Да,— сумрачно отозвался он.— Я-то не помню, но говорят, что действительно на этой площади публично секли крепостных».

Она содрогнулась, живо представив себе, как при людях обнажают девушку и бьют кнутом. «Неужели нельзя было это варварство запретить?» — «А кто запретил бы?» — «Царь!» — убежденно сказала она. «Царь? Ну, не знаю... Милая, ты же замерзла! — спохватился он.— Пока доедем, совсем закоченеешь...»

Он увлек ее в церковь, что стояла на краю площади, там было людно, тепло и душно, служба шла, пел хор, вокруг истово крестились. Он-то давно уже был равнодушен ко всему церковному — еще в юности представил себе однажды, что это все ложь, и не мог уже смотреть по-другому, а она сейчас думала, как могли сечь людей у храма, а потом заходить в него и молиться богу.

Погрелись, вышли наружу, раздали подаянье нищим. Николай Георгиевич накупил целый ворох раскрашенных погремушек, она, улыбаясь, журила его, а он оправдывался: «Запас карман не трет. У нас же детей будет тоже куча... Ты лучше послушай, сердце мое, что я тебе скажу...» — «Да, милый?» — «Ведь я крещен в этой церкви».

Она оглянулась на сгрудившиеся маковки, высвободила руку из муфты, перекрестилась и, взглядом лаская мужа, прошептала, что своего первенца они сюда тоже принесут... «Это будет видно,— почему-то возразил он, а уже у самой коновязи спросил: — Сказать тебе, кто у меня был крестным отцом?» — «Скажи, милый».— «Царь!» — «Как — царь?!» — она расхохоталась так звонко, что лошадь прянула. «Да, его величество Николай Первый, император Великия, Малыя и Белыя Руси, великий князь Польский, Курляндский и прочая, и прочая...» Он проговорил это с шутливой торжественностью, а она, пока ехали, время от времени взглядывала на него, представляя себе, как величественный император в ослепительном мундире принимает из купели его, махонького, красненького, захлебнувшегося в мышином писке, и, заливаясь смехом, никак не могла удержаться; он будто бы даже обиделся, замолчал и только у дома спросил также полушутливо: «Ты, значит, не веришь, что меня крестил самодержец всероссийский?»

Она, совсем как горничная, прыснула, спрятав лицо в его воротник, а он вдруг надулся, словно дитя, и ей стало еще смешней.

Ко времени, когда она точно услышала в себе новую жизнь, степенной сделалась, пополнела, даже чуток оплыла, и часто с недоумением разглядывала свое отраженье в большом трельяже. Пятна, вроде непомерно больших вес-

нушек, появились на лбу, не запудришь; дурнушка. Ему б переждать все это временное, преодолеть незаметно возникшее отчужденье, которое она безошибочно уловила, ошибочно, однако, обратив поначалу вину на себя и его. Нельзя было сказать, что он сделался другим,— нет, Николай Георгиевич был по-прежнему открыт и доверчив, искренне делил с нею тихую радость ожиданья, и ее огорчало лишь, что иногда он, приходя со службы, становился излишне предупредительным, а она очень тонко чувствовала, когда он не был, но становился таким, очевидно, подавлял в себе, отстраняя на время то, чем действительно жил. Ее догадки подтвердились однажды. Он пришел в тот день поздно, отказался от ужина и, пробормотав: «Прости меня, радость моя»,— бухнулся в мундире на тахту. Повернувшись к стене, тяжело вздыхал, сморкался в платок, будто бы даже плакал беззвучно.

Она осторожно присела подле, запустила пальцы в его волосы, он это всегда любил. «Обман! Подлость! — навзрыд закричал вдруг он.— Какая подлость! И, люди, люди. Боже, что с ними делается!.. Здесь нельзя быть честным. Уедем отсюда куда-нибудь, счастье мое, а?» — «Уедем, милый»,— с готовностью согласилась она. «А куда?» — обрадовался он. «Куда ты, туда и я».

Поначалу он наивно полагал, что со временем здесь, куда сходятся все нити разветвленного, очень важного для благоденствия России, хозяйства, можно будет влиять на события, улучшать общее течение дела. За полгода, однако, иллюзии развеялись. Все тут было плоше, грязнее и бесчестней, чем там, где он начинал свою службу.

* * *

Недовольный собою и более того недовольный жизнью, Михайловский пересек наискосок всю Россию со своим семейством и вновь оказался у границ необъятной Азии. Невдалеке тут громоздился Урал, распирая земные недра богатыми рудами и дорогими каменьями, теснимые уже пашнями, стояли нетронутые пока леса, текли прозрачные реки, дикая оренбургская степь расстилалась, по соседству жили башкиры и киргизы — все было другим, новым, а главное, что другой и новой должна была сделаться его, Михайловского, жизнь. Он мечтал в этих свободных просторных местах отдохнуть от людей, которые, как пока-

зывал опыт, не могут, собираясь вместе, не тратить сил на борьбу друг с другом.

Во время долгого, с двумя пересадками, пути к Самаре он не смотрел в окна — были столь ненавистны эти рельсы и семафоры, черные паровозы и красные вагоны, насквозь прокопченные кирпичные депо и деревянные, невыносимо казенные помещения железнодорожных служащих, шлаковые отвалы на экипировочных путях и жалкие станционные буфеты с неизменной белугой и морсом.

А звуки-то, звуки, хоть уши затыкай. Пусть бы эта черная машина в голове состава изрыгала огонь и дым, рассыпала искры и золу, отфыркивалась густым паром, скатывала с себя жирный мазут, и пусть бы она лязгала дышлами, чавкала насосом, сипела сальником,— лишь бы так надоедливо не гудела. Она гудела перед станцией и на выезде из нее, гудела, трогаясь с места и останавливаясь, гудела на подъемах и спусках, сигналя тормозильщикам, гудела у переездов, туннелей, на мостах и кривых. От этих железных голосов, то басовитых и хриплых, будто простуженных, то пронзительных до тошноты, никуда нельзя было деться. Михайловский пробовал защититься от них и отвлечься, но гудки пронизывали подушку и ладони, путали молитву и стихи, сквозь паровозный визг думалось: «Павловский подл-е-е-ец!»

На станциях в паровозное разноголосье вплетались другие звуки. Стрелочники дудели, это несколько напоминало дуденье пастушеских рожков, но на железной дороге применялись рожки железные, издающие какие-то неприятные остервенелые звуки. Свистели кондуктора. В горлышки их полицейских свистков были вложены костяные шарики, которые перекатывались-прыгали в воздушной струйке. От пронзительного верещанья болел висок. А еще вокзальный колокол звонил. В сыром весеннем воздухе печальный звук его медленно растворялся, и ноющее сердце всякий раз отзывалось. Успокаивался Михайловский только глубокой ночью, когда слух черствел и ухо привыкало к лязгу вагонных буферов, стяжек и перебормоту колес на рельсовых стыках. Иногда только грубо будил толчок набегающего состава или рывок паровоза, и он долго прислушивался к колесной скороговорке: «Пав-лов-ский-под-лец! Пав-лов-ский-под-лец!»

Нет, никаких железных дорог — в глушь! Туда, где по-весеннему восторженно поют сейчас лесные птицы, ржут в степных далях полудикие горячие кони, тихо плещут в

речных омутах рыбы. К тому же в Батуме Надежде Валериевне был не климат — слишком сыро. Соленые, пахнущие йодом черноморские ветра собирали тучи по необъятным небесам и сгоняли их к Батуму, где они проливались библейскими дождями. Белье в шкафу становилось тяжелым и влажным, на французской мебели, которой Надежда Валериевна никак не могла налюбоваться, капельками выступал пот, а блестящие обивочные кнопки начали тускнеть и ржаветь. Как-то вроде потускнела и хозяйка дома, ходила скучная, хваталась за голову.

— Опять? — участливо спрашивал он.

— Пустяки...

— Болит?

— Да это у меня, наверное, наследственное,— силилась улыбнуться Надежда Валериевна.— Папа говорил, что мама всю жизнь мучилась мигренью... Опять дождь? Должно, сегодня так и не погуляем с Кокой...

Она выглядывала в окно, за которым сливала свои тяжелые теплые воды очередная туча, спрашивала:

— А ты помнишь, как пахнет летняя степь?

— Конечно. Восхитительно! Под Херсоном у деда я не раз гостил...

— Чем это она может так пахнуть?

-— Да всем — полынью, сурочьей норой, сухим конским навозом.

— А у нас под Богдановкой чудесный кумыс делают из кобыльего молока... Ты пил когда-нибудь кумыс?

— Нет...

— И просторно там. А тут горы прижимают к морю, и я себя чувствую как в мышеловке.

— Слушай, Надюрка, уедем отсюда в Россию! — вскакивал он и тоже бросался к окну.

— А служба? — широко открывала она глаза.— Ты сядь, сядь! Ника, ты же любишь свою работу!

— Ты ведь многого не знаешь, дорогая.

— Почему же ты не рассказываешь?

— Зачем тебя огорчать...

Да, надо было непременно уезжать! От обмана, подлости, корыстолюбия, от Павловского. Павловский получал солидное содержание, снимал хороший дом, завел лучшую в Батуме обстановку. И, знать, оставалось еще про черный день, но ему все было мало. Он беззастенчиво присваивал казенные средства, ужимал десятников и рабочих. Когда Михайловский заявил ему, что не сможет мириться со

снижением качества постройки, Павловский поручил ему повторную, никому не нужную съемку дальнего участка. Это унижение делало невозможным их дальнейшую совместную работу. Последний разговор был резким и недвусмысленным. Михайловский принес рапорт. Павловский отодвинул его, не читая.

— Николай Георгиевич, позже вернемся к этому, а сейчас прошу выехать на трассу.

— Нет уж, увольте.

— Даже так?

— Именно так.

— Не советую вам нарушать свой служебный долг.

— В советах не нуждаюсь. Вы же его нарушаете ежедневно.

— Вы человек крайних точек зрения.

— Попрошу свое мнение обо мне оставить при себе. Я не поеду в горы. Не могу делать бессмысленную работу.

— Ну хорошо, хорошо. Отложим это.

— Нет, не отложим. Или вы придумали другой способ устранить свидетеля?

— Николай Георгиевич! — Павловский изо всех сил старался сохранить достоинство.— Вы забываете, что сейчас идет девятнадцатый век!

— Этого я не забываю... Прошу принять рапорт.

— Видите ли,— протянул Павловский.— Признаться...

— Вижу,— отрезал Михайловский.— И прошу принять отставку.

— Отставку? — удивился Павловский и даже приподнялся в кресле. Михайловский заметил радостный блеск в его глазах, и страх, и надежду.

— Да, полную отставку. Вам трудно поверить в это.

— Признаться...— Павловский подвинул к себе рапорт, бросил на него быстрый взгляд.— Признаться, я все время думал, что мы найдем с вами общий язык. Но боюсь...

— Не найдем! — Михайловский уже без стеснения перебивал его.

— Боюсь, что вы все же не поняли меня, и это непонимание... Как бы... отразится,— он искательно заглядывал в глаза Михайловскому и видел, что тот знает, чего боится Павловский. Мести. Связей Михайловского в министерстве, влиятельных знакомств его тестя — тайного советника в отставке, неизбежных встреч с многочисленными однокашниками этого безумца, рассыпавшимися по всем железнодорожным стройкам России. Он боялся придир-

чивой инспекции по приемке участка, бухгалтерской ревизии из Тифлиса или самого Петербурга, серьезных осложнений по службе.

— Боюсь, Николай Георгиевич.

— А вы не бойтесь,— усмехнулся Михайловский, не скрывая омерзения.— Я бросаю железнодорожное дело совершенно.

— Если так...— обрадовался Павловский.

В тот же день Михайловский по телеграфу заказал в Тифлисе на все семейство билет до станции Чарыковская Оренбургской железной дороги.

* * *

Старик Путилов жил необузданно и скандально и так же умер — в номере у француженки. Оставил своей единственной дочери имение в полном разоре, от которого Валерий Иванович Чарыков счел за благо избавиться скорой и легкой продажей. И еще у него была земля в Бузулукском уезде, не приносящая почему-то никаких доходов. Аделаида Дмитриевна перед смертью распорядилась, чтоб эта земля перешла в собственность Наденьке, когда та вырастет, а Валерий Иванович, свято исполнив наказ покойной еще до женитьбы на Марии Дмитриевне, переделал у нотариуса документы и потом вручил их в качестве приданого Николаю Георгиевичу. Надежда Валериевна, как, впрочем, и ее мать, никогда не бывала в тех местах, где втуне лежало ее наследство, довольно обширное, если судить по документам.

Надежду Валериевну тянуло в Павловку, где она враз ожила и похорошела, не только потому, что здесь было сухо и просторно. С этими местами связаны ее первые детские впечатления, да и девичество к ней пришло тут же. Вспоминалось, как гуляла она по окрестностям имения, мечтала, находя в себе некоторые черты тургеневских девушек, грустила, явно осознавая свою ординарность. Тогда, два года назад, она тут начала писать маслом портрет отца и не кончила, лечила раны Николя — не долечила, допустила почему-то ухаживанья Умецкого, но тут же пресекла. И думала каждый день о Николае Георгиевиче. А сейчас он, ее Ника, рядом с нею,— высшая награда, которую она еще должна заслужить.

Было ей здесь тревожно, немного страшно, оттого что с этим переездом в жизнь ее семьи должна была войти

новизна. Какая, она еще не знала, только чувствовала, как приближается что-то неизвестное и важное.

Стало ей хорошо и оттого, что здесь, больше чем где бы то ни было, она чувствовала себя дома. Губернаторский дом в Минске никогда не был ей родным, даже в самом раннем детстве. Наоборот. Словно в кошмарном сне видела она себя там крохотной, жалкой, содрогающейся от страха и рыданий, запертой в темной комнате, полной таинственных жутких шорохов. Пансион мадам Тейс в Штутгарте напоминал не то казарму, не то монастырь,— и скорее не дисциплинарным своим распорядком, против которого девочки ничего не имели, потому что не знали другого, но казенным бездушием взрослых. Мадам Тейс, похожая на пожилого тощего дядю, улыбалась, когда разговаривала с детьми, но лучше бы она не делала этого — гувернантки и учительницы менялись лицом, когда она появлялась, и дети тоже замирали. В часы отдыха ученицы из разных стран веселились, конечно, как умели, только взрослые их никогда не оставляли без внимания. Это разрешенное веселье было строго регламентировано и упорядочено, как занятия музыкой или физическими упражнениями. В Одессе полюбились ей море, свобода и еще, самое главное, то, что она почитала за сказочный подарок судьбы — Ника. Однако у сестры она была как-то вроде нахлебницы генерала Фридерикса, при всем его добром отношении к ней, а у Михайловских — гостьей, пусть и всегда желанной. В Петербурге, Тифлисе, Туапсе она чувствовала себя по-разному, хорошо и плохо, но везде временно, непрочно, томясь ожиданием скорых перемен и грядущей неизвестности.

Конечно, Надежда Валериевна и тут, в Павловке, не была хозяйкой — имение принадлежало теперь ее старшей сестре Кате и старшему брату. Тот в нем, правда, не жил уже почти два года, на лето приезжал сюда отец с Марией Дмитриевной, и, следовательно, надо было уже думать о новом переезде. Но все же родовое имение было в некотором смысле и ее домом, потому что она принадлежала к этому роду. Надежда Валериевна втайне гордилась тем, что в губернии уже не осталось такой старинной дворянской фамилии. Когда Николя возвратился с турецкой войны и вступил во владение, то в семейном архиве нашел бумагу 1675 года, подтверждающую права Чарыковых на здешние земли. Подумать только — больше двух веков назад, еще при отце Петра Великого ее предки посе-

лились в этих степях! А еще она любила Павловку за то, что именно здесь она получила повеление отца снова ехать в Одессу, где новая встреча с Никой закончилась объяснением, определившим ее судьбу.

В первые дни она никак не могла нарадоваться весеннему, нежаркому еще в этих местах солнцу, свежей зелени, дочери. Она хорошо перенесла дальнюю дорогу, не простудилась, слава богу, от вагонных сквозняков. Каким все же крепким и смешным человечком незаметно росла на ее руках Кока! Родилась Кока голубоглазой, в отца, но вскоре чарыковская чернявость взяла верх, и сейчас этот лягушонок смотрел на мать ее же глазами — карими, чуть навыкате, такими блестящими и живыми, только у матери смотрели так, что казалось, вот-вот на них навернется слеза. А дочь была хохотушкой. Путаясь ножонками в высокой мягкой траве, нарочно падала и тут замирала, ожидая, когда ее найдут. Мать ходила вокруг и причитала: «Где же моя дочь. Господи, куда делась моя дочка?» Она приподнималась, хитро смотрела сквозь траву и заливалась таким смехом, что Надежда Валериевна опасалась за свое сердце — как бы не остановилось от счастья.

— А где же наш папа? Идем искать папу, обедать пора,— призадумываясь, говорила мать.— Куда спрятался наш папа?

Кока снова заходилась в смехе и тащила ее в дальний конец сада, к густому терновнику, где обычно в эти дни находили они отца. Пробирались к нему, прячась за кустами, пугали криками...

Михайловский с утра приносил сюда в домотканой поневе охапку запыленных книг из библиотеки. Разрезал и пролистывал старые журналы, сочинения, сортировал, откладывал книги о садоводстве и земледелии, намереваясь прочесть их с карандашом и тетрадью. Досадно только, что многие изрядно устарели со времени Николая Павловича, писано было с расчетом на несчитанный и немеренный труд крепостных, безо всяких экономических расчетов и рекомендаций, но кое-что в этих домашних земледельческих рецептах показалось ему интересным, и он, постепенно увлекаясь, начал мечтать о современном высокодоходном хозяйстве, которое он, молодой землевладелец, во что бы то ни стало создаст в этой местности, на добрых здешних землях и сочных травостоях. Это лишь в поезде Михайловский дал себе волю — попереживал и помучился... А тут следовало начинать новую жизнь, гото-

виться к деятельности новой и совсем незнакомой. Неизвестность отнюдь не страшила его, а только распаляла воображение, и лишь временами, откладывая книгу, он задумывался над тем, что с ним, в сущности, произошло.

Накануне своего тридцатилетия — совсем незаметно подошли годы полного возмужания! — он вдруг и окончательно бросил инженерное дело, хотя отдал ему лучшие годы жизни. Пусть один год пропал в юридическом — бог с ним, но потом пять лет железнодорожного института, который вместе со студенческой практикой дал довольно основательные для его узкой профессии знания, легко прилагаемые к д е л у. И он начал работать, забывая, не жалея себя, потому что придавал этому д е л у особое значение.

В своей профессии он видел лучшее для него средство быть полезным обществу. Пути сообщения не адвокатская говорильня, а очень реальное, живое и нужное д е л о. Построенная им железная дорога вызывает движение товаров, средств, людей, поднимает общий технический уровень страны, вовлекаются в хозяйственный оборот нетронутые леса, земли, минеральное сырье. Общие выгоды от железной дороги трудно поддаются оценке, особенно если считать не только материальные прибыли, но и блага духовные — развитие просвещения, образования, наук, гуманистических идей, и связанное с этим открытие и вовлечение в полезную деятельность новых талантов из народа. Он мечтал встретить людей, исполненных благородного бескорыстия, надеялся увидеть меняющуюся к лучшему жизнь.

Нет, жизнь и люди оказались чрезвычайно далекими от идеалов. Каждый, даже самый респектабельный с виду, хотел поживиться за счет казны и рабочих. Главный подрядчик, в принципе, не мог не видеть в постройке железных дорог удобного средства обогащения, а так как пределов роскоши, корыстолюбия и скопидомства не существует, то злоупотребления сделались правилом. Инженеры должны были честно отдавать свои знания и труд за жалованье, однако почти все коллеги Михайловского сами становились мелкими подрядчиками и неизбежно —- соучастниками преступлений.

Михайловский не мог пойти по этому пути. Испытывая непреодолимое отвращение ко всяческому криводушию и цинизму, он по-юношески, как норму, исповедовал совестливость и правдивость, полагая, что горькие разочарования и болезненные удары судьбы, неизбежно связанные с такими взглядами, все же лучше, чем подчинение обстоятель-

ствам, в основе которых лежат обман и корысть, недостойные звания человека.

Коллеги смеялись над его мальчишеством, а он ничего не мог поделать с собой. За три года инженерной работы он сменил пять мест и отовсюду уходил неудовлетворенным, оскорбленным в лучших своих намерениях.

Решив расстаться с Павловским, он подал было заявление на Бакинский участок, но работать там не собирался — понял, что на этом, шестом месте, потом на седьмом, десятом он встретит одно и то же. Изменить общие порядки он был не в силах, а соединение в одном лице, с точки зрения его правил и морали, специалиста, государственного служащего и предпринимателя-хозяйчика, казалось ему совершенно невозможным.

Только отставка! Решительный поворот судьбы, неизвестность искания.

Временами в нем оживала прежняя жажда деятельности, а иногда до смерти хотелось забраться в несусветную даль, в глушь, чтоб забыть обо всех прежних треволненьях, о Поляковых и павловских, о сонмище административных и железнодорожных чиновников, рвачах-офицерах, о бесчисленных жуирах и развратниках, бездельниках и бездельницах, об отцах в рясах, усыпляющих народ молитвами и проповедями. А как о них забудешь, если он здесь ничем не занят, кроме этого забывания? Дело нужно в руки, дело! Правда, ему уже под тридцать и лучшее время упущено, но ведь ему еще нет тридцати и многое можно успеть.

Надежда Валериевна видела, как он временами отбрасывал книги, вскакивал и метался по саду, не находя себе места. Она уже умела точно улавливать его настроение, почти всегда угадывала, что с ним происходит, только еще не могла в нужный момент найти для него нужного слова.

На этот раз в руках у нее белело письмо, а он был рассеянным, невнимательным к ней и дочери.

— Папа пишет, что на лето они приезжают сюда.

— Пусть не беспокоятся — мы отсюда скоро уберемся.

Нет, у Михайловского не было охоты встречаться с тестем, возлагавшим такие надежды на его железнодорожную карьеру. И вообще не хотелось никому ничего объяснять, признавать какие-то свои ошибки и оправдываться. Он сам должен был еще многое обдумать и понять.

После паузы, которую Надежда Валериевна не знала чем заполнить, она произнесла:

— А папа пишет, что Николя произведен в камер-юнкеры двора.

— Это большая честь?

— Не иронизируй, пожалуйста,— попросила она.— Ему же надо начинать карьеру.

— Конечно... Пушкин тоже был камер-юнкером.

— Что-то с тобой происходит... Николя же готовится к большой дипломатической работе.

— Г офмейстеры, фрейлины, камер-юнкеры. Триста штук одних камер-юнкеров!

— Ну и что?

— Ничего. Жужжат.

— Ты несносен сегодня, но я прощаю тебя,— кротко сказала она, и Михайловскому стало стыдно — она так беззаветно любит его, а он занят только собой.

— Прости меня, дорогая,— он обнял ее.— Прости, ради бога. Я уважаю твоего брата, но дело не в нем. Прости.

— И ты меня прости за неловкое слово. Я все понимаю.

Охваченный вспышкой нежности к ней и жалости к себе, он начал целовать ее волосы, пряча глаза, полные слез.

Это было живое чудо — наследство Аделаиды Дмитриевны. Михайловский не думал не гадал, что оно таким странным образом подействует на него.

И дело было совсем не в рублях и десятинах, в коих испокон веков исчислялись главные ценности этих просторов. Совсем, впрочем, недавно, какие-то двадцать лет назад, изничтожилось тут и повсеместно еще одно мерило состоятельности и благоденствия — право единовластно и безотчетно распоряжаться человеческими душами, продавать, покупать, дарить их, проигрывать в карты, менять людей на собак, и представлялось оно Михайловскому столь диким и противоестественным, как если бы кто-нибудь мог сейчас продать или купить его самого. Судя по рассказам, Дмитрий Азарьевич Путилов все это делал с безудержным размахом, присущим его натуре. До новых времен он не дожил, но старый псарь, лечивший в Богдановке своими снадобьями запаршивевшую свору, чуть ли не с гордостью поведал Михайловскому, как старый барин купил его у соседа вместе с прародителями этих

меделянских псов, редких по вязкости и паратоети, а за двух щенков сей золотой породы, вывезенной еще при Николае Павловиче из самой Италии, сосед старого барина отдал когда-то много земли и сверх того уступил после долгих торгов старика-повара из пленных французов.

Михайловский опасливо разглядывал собак, греющих на весеннем солнце свои облезлые бока. От них несло псиной, скипидаром и дегтем. Псарь мазал каким-то своим составом очередную собаку, бил ее ладонью по слюнявой зубастой морде и ласково приговаривал:

— Лежи, дура, лежи, а то вся обчешешься и даже рукавицу из тебя не сошьешь... Сера да деготь, барин, сейчас им первое дело. Особливо березовый деготь. Ить в энтой березе — сила. Что в дегте, что в венике, что в березовом соку, что в грибе. Он, энтот гриб-то, ежели его пить, нутряную хворь сымает...

Собаки лежали неподвижно, только чуть шевелили кончиками мохнатых хвостов. Они не спускали с чужого человека угрюмых глаз, на каждое его движение свирепо скалились, топорщили на холках шерсть, словно ждали момента вцепиться в этот черный пиджак с раздражающе блестящими пуговицами. Но под рукой их повелителя лежал черный гибкий арапник, хорошо им известный, и они с уважением косились на него.

— Этим собакам цены нет! — восторженно кричал псарь, получивший за свой рассказ на косушку.— Сколь медведей мы ими затравили, счету нет! А ноне пошли не те охоты — леса свели, зверя повыбили, баре отстали от дела, по Петербургам лётают...

Псарь отказался сопровождать Михайловского.

— Страсть как желаю, да только не могу — собаки на мне. Они же, опричь меня, никого на дух не подпущают! Жрать не станут, порвут кого ни то. Нет, я уж к ним приставлен, возля них и помру. Да ты чего? Там наш егерь обитает по сю пору, этакий леший, он тебе все покажет-расскажет.

По дороге к наследным владениям Михайловский с горечью и состраданием проезжал через деревни. Щелястые риги, полегшие наземь прясла, изможденные бабы и мужики, бесштанные золотушные ребятишки, худой, мосластый скот, покосившиеся избы, часто лишь наполовину покрытые соломенными крышами, а то и вовсе без крыш. Крыши были черными — под цвет дороги, перепревших навозных куч, не распустившихся еще ветел, аспидно-

черная вода в прудах, черная полоска горизонта. Будто жирным карандашом кто-то водил, и ладно еще снег сошел, зелень взялась пробивать, а то черно-белая самарская явь выглядела бы совсем печально и даже трагично.

— Отчего это избы не покрыты? — спросил он в деревне Богдановке у встречного мужика, с любопытством рассматривая обшарпанную деревянную колоннаду барского дома.

Мужик подозрительно оглядел всадника, вздохнул:

— От нужды, барин.

— Соломы не хватило, что ли?

— Кому чать не хватило, кто в печах пожег, кто скотине скормил,— мужик равнодушно ковырял землю мокрым растоптанным лаптем.— От нужды...

Михайловский расспросил дорогу и поехал дальше... Он старался ехать напрямик, держась главного направления. Степь зацвела уже, наступило ненастье, кратковременное весной и нетягостное, если б он был в другом настроении. Хорошо бы дорогу в этих местах.

Имение несколько лет назад было продано Чарыковым и, видно, приходило в запустенье.

Вдали ему чудились обширные земли на покатых возвышенностях Заволжья, распаханные и засеянные его заботами и стараньями, новые деревни со свежими тесовыми крышами, приветливый и трудолюбивый народ, весело и охотно работающий на справедливых началах. В своем стремлении объединить к общей пользе он не пожалеет для этих освободившихся от рабства людей ни трудов, ни денег, ни доброты...

Да, путь к обоюдному жизненному благополучию, очевидно, этот единственный — трудовое дружество земледельцев с землевладельцами, да новейшая агрономическая система, к тому же — сельскохозяйственные машины, о которых в России пока не слыхивали, а они уже работают на заграничных полях, а сверх всего — горячее его желанье найти новую стезю в жизни для себя и содеять что-то большое и полезное для людей.

Назавтра мечты эти растаяли, как весенний снежок,— земли у него не оказалось. В собственности молодого помещика числился только лес. Не то егерь, единственный страж, не то лесник, хранитель родового наследства, обсказал, что земля у Михайловского наличествует по границам владений, но и там надо корчевать пни, вырубать мелколесье. Однако народ туда на поселенье не поедет,

потому как в округе изрядно степных угодий, свободных и дешевых.

Разговору предшествовала неожиданная смена впечатлений и настроений. Весь во власти недавнего прошлого и полный смутных надежд на будущее, въезжал он в старый Путилове кий лес, принадлежащий теперь ему, Михайловскому. С равнодушием смотрел на свежие пни по опушке, на деревья, образующие своими стволами сплошные стены, на подлесок, откуда тянул знобный ветерок, будто снега в нем растаяли только вчера. Под пологом леса было сумрачно и тихо. Копыта лошади вязли в сыром неперепревшем листу. С утра солнце пряталось в тучку, будто бы на дождь проглядывало временами, однако до земли не пробивало.

Михайловский не знал и не любил леса. С самого детства он жил в городе. Вокруг дедовского хутора на Херсонщине стлались необозримые сухие степи. Горный лес над Бургасским заливом был чужим, колючим, неприютным, и он в него почти не заходил, не до леса было. Вдоль Бендеро-Галацкой дороги тянулись однообразные кукурузные поля, сады, про леса там никто и не помнил — либо они в тех краях испокон веков не водились, либо вырублены были в стародавние времена. Буковые древостой на Кавказе только мешали пользоваться изыскательским инструментом и подвозить щебень. Рабочие по указке Михайловского подряд валили могучие дерева, отпиливали и скатывали по склонам толстые тяжелые чурки, которые на глазах пропадали от червя и сырости.

И еще один лес встретился ему в жизни. Это было под Петербургом. Среди лета студентов вывезли на военные лагерные сборы. Учили рыть траншеи, ползать по-пластунски, разворачиваться в атаке в пешем строю, стрелять и колоть соломенных манекенов. Михайловский, помнится, прекрасно поражал мишени, клочья только летели. Зачем-то взвинтив к концу сборов темпы обучения, офицеры чуть ли не каждую ночь начали устраивать ложные тревоги, дальние броски под холодным дождем, заставляли ползать в полной солдатской амуниции по лужам и грязи. «Швыдше! — дико кричал в темноте какой-то младший офицер из хохлов, будто пинков поддавал.— Стюденты!»

Вокруг палаточного лагеря стоял мелкий осинник, дрожа под ветрами и дождями. Лес этот всегда вспоминался такой изнурительной усталостью, что Михайловский до

сего дня удивлялся, несколько даже гордился, что смог выдержать все тогдашнее.

Чувство тесноты и неприветливости, охватившее было Михайловского при въезде в свой с о б с т в е н н ы й лес, порассеялось, когда он увидел заколоченный охотничий домик на лесной поляне, избушку егеря, большую пасеку над ручьем. Дело шло к полудню, небо очистилось, по-весеннему яркое солнце слепило глаза, играло в блескучей струйке. Поляну кучно и поодиночке окружали старые кряжистые липы, пустившие первый, ослепительной свежести лист. Лес, полчаса назад казавшийся чужим и тягостно недвижимым, чудесным образом ожил в глазах его, гостя и хозяина. Михайловский увидел желтых бабочек, прядающих над весенним разноцветьем, уловил тонкие ароматы, над которыми царил приторный липовый дух, услышал нестройные птичьи пересвисты, исчезающе далекое буханье кукушки. Округлые маковки лип зыбились-ходили под легким ветерком, а ниже, в кронах, деревья трепетали робко, чуть заметно, будто от пчелиных крыльев или птичьих голосов.

Столь долгая, трудная и какая-то невидная, бессолнечная весна предстала вдруг таким обилием света, движения и тепла, что Михайловскому захотелось увидеть в этом предзнаменование. Хорошо бы тут, среди пчел и птиц, поселиться навек, заняться скромным хозяйством, а на досуге литературою, ежели господь бог поможет ему выражать словами то, что он знает о жизни, что его трогает хотя бы в природе, в детях, в родных ему людях.

Он почувствовал в себе прилив энергии и обрадовался этому, как нежданному щедрому подарку судьбы.

Он даже отказался отобедать с дороги, как ни молил его лесник, до ушей заросший густыми русыми волосами человек неопределенных лет. В горячем нетерпенье попросил скорей показать ему имение. Лесник понимающе поддакнул, бесом бросился с уздой на край поляны, где гремела боталом его спутанная лошадка. За долгие годы он тут отвык от хозяев, и новый владелец ему вроде приглянулся, хотя молод, горяч и, видать за версту, много о себе понимает. Но понимает ли он чего-нибудь в лесе? Навряд. Два года тому на покров день приезжал павловский управляющий Софон Семеныч и объявил, что леса теперь за каким-то инженером, который женился на молодой барыне. Инженер этот будто бы увез ее куда-то далеко строить железные дороги, и от них ни слуху ни духу. «Одно

слово — беспризорный лес, а ему цены нет. Уж покажу я инженеру лес, как самому господу богу показал бы, может, чего и выйдет из этого показу».

— Глянь-ка! Вот...

Лесник повел рукой, и день будто прибавил в свете и радости. Березовый лес обступал их — добрый, без подмесу березняк, полный чистых запахов и сладких весенних соков; от его белоствольного хоровода кружилась голова, легчало на сердце, и когда уже выехали на просторную порубку, заросшую густым мелким дубняком, Михайловский все оборачивался, вертелся в седле, с трудом отрывая взгляд от глубокой синевы, тающей за спиной.

На порубке стояли могучие дубы поодиночке. Резной их лист только что вышел и не разлапился еще, был нежно-зеленым, с младенческой желтизной. Дерева раздались вширь под солнцем, оплыли у корневищ, нагрузли, заматерели.

— Почему оставили этих? — поинтересовался Михайловский.— Кривоваты?

— Семенные,— отозвался лесник.— Взяло-ось! Я уже тут который год хожу пешком, раскидываю желуди. Желаете спелые дубки посмотреть?

Большая дубовая роща нетронутой стояла за старой лесосекой. Деревья тянулись вверх, подгоняемые густым подлеском из липы, рябины, лещины и черемухи. Лесник называл эти породы, Михайловский послушно поддакивал, и ему стало казаться, что он начинает узнавать и любить свои владения. Спросил:

— Значит, вы говорите, что толку нет от этого леса? Почему?

Они поехали молодым липняком, смотреть пока было нечего.

— Тужить не след, что земли у вас нет...

— Совсем нет? — спросил Михайловский.

— Некая толика наличествует, доложу, по ближним хуторам. Однако вышла она из-под леса и против степной, подтравной, не стоит — бедна, с песочком да глинкой, родить не родит, а силу берет.— Знать, наскучило леснику тут без людей, говорил и говорил: — Запашной клин, доложу, можно будто бы задаром приобрести, вырубкой мелколесья да раскорчевкой в натуре, только накладно выйдет, убытошно —назмить ее надобно годами. Однако вы не тужите. И на лесе можно озолотиться, ежели с умом. Клад...

— Ты тут так один и живешь?

— С семейством.

— Давно?

— Еще старой барин меня тут поселил. Наезжал на охоты, привозил коньяки-ликеры, соседских бар, девок, собак, музыкантов. Я ему тут последние медвежьи берлоги числил, барсучьи да лисьи норы, а той порой кондовые, самые крепкие леса в рубку шли за долги. Потом барин преставился, а новый был только раз, когда вступал во владение. Тайком от властей отпустил он меня на волю до общего сроку за год и послал на свои средства под Екатеринбург лесное дело перенимать.

— Перенял?

— Кой-чего перенял, да толку-то?

Михайловский отметил, что речь лесника течет гладко, складывается грамотно — хоть пиши следом. Интересный мужик, видать, наделенный соображеньем и русским толком в нужной мере.

— Почитай двадцать лет новый барин все мимо ездил, в больших губернаторах служил. Это их, конечно, господ, ума дело, только лесу верный хозяин нужен, земной.

— Это как понимать — «земной»? — спросил Михайловский.

— Небось видали свежие пни на опушке,— лесник придержал коня, пропуская Михайловского вперед.

— Видел. Кажется, Петр Великий учредил вас, лесников.

— Вы это к чему смеетесь?

— И жалованье положил маленькое — дескать, лесом прокормятся.

—- Зря обижаете — это мужики самоволюют. Оно верно, у них нужда, и, ежели я их ружьем пужану, убьют при первом случае. Мужик — от он полагает, что лес божий.

— В некотором роде он прав,— проговорил Михайловский, оцепенело рассматривая золотую стену, вздымающуюся над пригорком.

— В этаком роде, выходит, лес — общий? — живо обернулся лесник и увидел, что лес, на который он незаметно, за разговором правил путь, захватил этого дотошного барина-инженера.

Ишь его приподняло на стременах, будто Скобелева,— сейчас кинет вместе с конем, только глаза светятся не воительно, а наподобие как у младенца либо Иисуса Христа!

Не грех было засмотреться. Колоннада желтых сосновых стволов так плотно уставила взгорок, что издалека чудилось, будто на лошади невозможно проехать сквозь — не пустят деревья, остановят незваного пришельца. Михайловский впервые в жизни видел лес такой красоты, мощи, прямизны — не иначе, по какому-то сверх идеальному ватерпасу возводились эти гладкие колонны, а верней сказать, божественным промыслом природы, что не уступает, знать, самому точному инженерному расчету. Двухобхватные кряжи над корневищами были затемнены понизу, словно в пыли, а выше светлели, бронзовели и желтели, растекались совсем золотыми ручьями у вершин, под зелеными куполами. Сосны величаво ходили вершинами, небесные щели приоткрывались, и солнце то зажигалось, то погасало в этом храме природы. Михайловский перевел дух.

— Под Бузулуком еще стоят,— тихо сказал лесник,— а в наших местах это последнее.

Через несколько дней Михайловские на трех телегах перевезли домашний скарб, нехитрый гардероб, книги, запас непортящейся снеди, но много чего позабыли, и Надежда Валериевна часто просила лесника привезти то одно, то другое из Павловки, куда уже пожаловали отдыхать ее отец и мачеха. В большом, выложенном кирпичом погребе под полом, куда Михайловский спустил кое-что из еды, было прохладно и сухо. В древесной трухе нашел он какую-то темную бутылку. Крикнул Надежде Валериевне:

— Тут от деда подарок!

— Что такое? — склонилась она, принимая бутыль.— Французский шартрез! Отпразднуем переселенье!

В охотничьем домике вполне можно было жить. Только стены отмыли от многолетней грязи и пыли, сменили в окнах лопнувшие от осадки дома стекла, хорошо просушили помещение. Михайловский полдня провозился с заклиненными дверьми, неумело орудуя стамеской и рубанком. Ему все тут, на липовой поляне, хотелось сделать непременно своими руками, он вдруг начал находить в самых простых занятиях несказанное удовольствие. Долгие годы потом его будет согревать воспоминание о том первом вечере в охотничьем домике Путилова. Михайловский запалил дрова в камине. Тяжелые, пересушенные до звону поленья взялись сразу. Громадный камин со

сложным дымоходом хорошо грел, мятущиеся по темным бревенчатым стенам отсветы пламени создавали непривычную обстановку не городского и не деревенского жилища. Одесса и Петербург, Бендеры, Бухарест, Тифлис и Батум казались отсюда в такой несусветной дали, будто их совсем не было. Дочка уже спала, Надежда Валериевна сидела рядом притихшая и задумчивая. Он посмотрел ей в глаза.

— О чем ты думаешь?

— Так странно,— слабо улыбнулась она.— Словно только вчера я была в Париже и Неаполе.

Михайловский сбил с горлышка бутылки сургуч, вынул пробку. Вино оказалось восхитительным, с роскошным вкусовым букетом. Тепло вина и огня, соединившись, навевали тихую радость и умиротворение.

Он засмеялся, вдруг с пронзительной ясностью поняв, что не случилось ничего такого, о чем стоило бы горевать, что у него есть с кем и с чем начать все занаво и что, в сущности, жизнь впереди.

Им овладело какое-то новое, незнакомое дотоле чувство благодушия, умиротворения и преклонения перед простой мудростью жизни. Только временами он словно бы уставал от бесцельного любования природой и ловил себя на мысли, что все это блажь, бегство в пустоту, что русские литераторы перевели немало чернил, живописуя в лирических пассажах будни молодых помещиков, а жизнь с ее неотступными нуждами и вопросами шла и идет мимо. Зачем он здесь? Чтобы жить для себя? Создать рай в нищем краю? Как сделать что-то полезное для людей? Он чувствовал, что его натура требует срочного перехода от любования природой к познанию ее и затем к действию.

Впервые в жизни Михайловского приоткрылась природа срединной России, он с любопытством ребенка наблюдал самые мелкие проявления ее, удивляясь тому, что раньше, в сумятице дел и переживаний, не замечал ни красок, ни птиц, ни цветов, ни хитрых приспособлений, ни переплетающихся связей всего живущего. На липовой поляне и окрест ее отцветали, осеменялись ранние травы, тут же зацветали другие и жухли, чтоб уступить новым краскам и ароматам. Быстро отошли золотистый одуванчик и фиолетовая медуница, пчелы полетели в глубь леса,

разыскивая пышные гроздья черемухи, упругие зонтики рябинового цвета, потом вернулись на голубой шалфей, потянули к старым лесосекам, где, буйно тесня дубовую поросль, прянули выше головы розовые кипрейные кущи. От их стойкого медвяного запаха болела голова.

Лето вступало в вершинную пору. Птенцы отлетали от гнезд, неприметно прирастал лес. Дубы распускали свой узорчатый лист, он с каждым днем густел и темнел, нагружая сучья и стволы малахитовой тяжестью. А в день летнего солнцестояния, при полном безветрии, когда прогретый еще со вчерашнего лес млел в сладкой истоме, зацвела липа. Ее нежные бледно-желтые цветы, сросшиеся в пазушных соцветиях с прицветным листом, выманили, казалось, чу.ть ли не все летучее население деревянных колод. Михайловскому было видно в бинокль, как неутомимые крылатые работницы торопливо снуют на самых вершинах столетних лип, как понукают друг друга, встречаясь в цветках, как, перегруженные пыльцой и нектаром, срываются в плавный и одновременно стремительный полет. На нижних же ветках, где распустились самые крупные и пахучие цветы, творилась настоящая толкучка — сюда дереву легче было доставить по тонким протокам густые приторные соки, и пчелы старались вовсю.

— Интересно, сколько в такой день они берут меду? — спросил он у лесника, возившегося с дымарем.

— Хорошо берут.

— А сколько?

— Бог его знает.

— Безмен есть?

— А что вы, барин, затеяли?

— Тащи безмен!

Он тихо брел по лесу. Толстый слой из перепревшего листа мелко пружинил над ногой. Вот тоже еще хранящее снежную свежесть удивительное приспособление леса, который сам себя кормит и поит, падающий лист и хвоя, сучочки, птичий помет, семена травы перемешиваются в этой подушке, сгнивают и питают корни. И вода хорошо держится у корней, потому что прошлогодний лист к тому времени, когда наступает жара, еще держится коркой, не дает влаге испаряться и не пускает к корням горячий воздух. Потом наступает полное облиствение дерева, которое тенью своей придерживает влагу. А потом травы пронизывают, разрушают верхний пласт, пропуская в рыхлое

нутро воздух — наверное, нужный для корней, для роста дерева в толщину и высоту. Подушка эта впитывает дождевые капли и медленно, экономно отдает их лесу. Осенью снова падает лист, слипается, при бесснежье не пускает к корням первые морозы. И в этой подушке тьма червяков и букашек, они пережевывают в труху лесной отпал, превращают его в землю, и сами, умирая, становятся землей. И грибы на этой подушке живут, знать, необходимые лесу, иначе бы он их давно уничтожил...

Наметанным глазом инженера, имевшего дело с земной поверхностью, он отметил в своих владениях особенности рельефа, почв и в зависимости от них расселение деревьев по видам и породам. Липа росла в понижениях — на склонах старых лесных оврагов, под взгорками, спускалась к ручью по всей его довольно просторной долинке. Она почему-то любила темно-серую землю с глинистой основой, всегда влажную и тяжелую. Таких участков, к сожалению, было больше всего. Возвышенности занимала сосна. Наверно, ее корням нужен был хороший дренаж, потому она и выбирала супеси. Только Михайловский никак не мог понять, откуда в песке берется сила, способная поднять к небу эти божественные золотые колоннады. Сухие места с хорошими, хотя и не черными почвами властно, должно быть зная себе цену, забирал дуб. Береза белела там и сям, чураясь одних лишь песков, и совсем хорошим лесочком сбегалась к светлому приметному месту. Это был не старый корявый березовый лес с грибом, стволовой чернотой, наплывами, и не порослевое криволесье, не нужное никому, и не жиденький, молодой, годный разве только на жерди да оглобли, а добрый березняк, в самой что ни на есть поре.

А однажды лесник, все время сторожко наблюдавший за Михайловским, обмолвился, будто у хозяина есть еще запасец, некая золотая закраинка в дальнем лесном острову.

— Седлать,— сказал Михайловский.

Дорогой лесник со слов своего покойного батюшки поведал, что в стародавние времена приезжал будто бы к Путилову лесной инженер заграничной выучки да насоветовал с три короба. На осветленье леса старый барин пригнал три деревни. Изымали старые дерева, больные да квелые, таскали на руках и на лошаденках из лесу, пилили, складывали в дровяные сажени. А этот, будто назьму напхали под корни, взялся рость гоном, и взялся так, что теперича, через тридцать годов почитай, взошел в самый

сок... Двух-трех мужиков насмерть задавило на лесоповале, потому как ветра дули, сколь ни то поувечило, кто их по тогдашнему времю считал?

Взгорками и низинками они приехали в лес, не раз перебродили прихотливо петлявший ручей, попили из родника, дающего ему начало, подпустили также лошадей, и за старыми вырубками взяли через поле — к густому темному окоему.

— Вот он, красавец! — крикнул Иван.

Это был молодой, набирающий силу сосняк, настолько плотной посадки, что пришлось оставить лошадей. Ах, что это за лесок! Он уже сомкнулся поверху, а у земли в тенистой прохладе из белесого мха гнездами лезли маслята — верный признак того, что лес окреп и пошел. Выстроенные по ниточке стволы были обтянуты тонкой кожей, они уже начали очищаться от нижних, затененных сучьев и встречали спутника сухими острыми поторчинами. Судя по рассказу Ивана, это первый в губернии саженый лес. До Путилова и этого заезжего лесного инженера тут никто и не слыхивал о подобном. Давным-давно в этих местах кочевали калмыки со своими стадами, островерхими кибитками. Когда их изгнали отсюда в дальние степи, они будто бы закляли эту землю и со всех концов подожгли большой лес вдоль Волги. И не то от диких калмыков осталось, не то позже с гиблых низовьев пришло в эти места поверье, будто человека, посадившего лесные дерева, покарает бог. «Дуролом» самого бога не побоялся, говорили в округе, и ждали, когда над грешной головой старого барина грянет беда. Ан нет — собрали и прорастили сосновое семя, посадили рядками от края леса, и всходы хорошо прижились; крепостные мужики и бабы драли с корнями траву вокруг них, окучивали саженцы, будто картошку, лесок на глазах поднимался, а с Путиловым ничего такого не происходило. И когда этому лесу стало ровно десять лет и он приобрел вид юного лесочка, божья кара постигла Путилова. В него вселился сатана. Правда что, как сатану, барина носило по губернии с девками и музыкантами; сколько лошадей загнал, сколько мужиков перепорол. И вот прослышал будто бы про все это царь, затребовал Путилова к себе и сказал...

— Надо же такое придумать! — восхитился Михайловский, все оглядываясь да оглядываясь на саженый лес. Непременно надо будет еще приехать сюда, побродить по сосннячку — уж очень он хорош! Дружный, стрельчатый

аршинный прирост верхнего стебля, густые, тесно обнявшиеся кроны, строгий ритм в рядах — как он привлекателен, этот порядок, внесенный в стихийную природу человеческим трудом!

Они возвращались полями, кривыми опашками, кустарником и лиственным мелколесьем. Клен, осина, ива и ирга прочая росли тут и где ни попадя по лесу. Михайловский ими не интересовался, полагая, что эта мелочь в его расчеты все равно не войдет. Впрочем, лесник говорит, что горькая осина, при всем презрении к ней, как к дереву квелому, непрочному, незаменима при строительстве бань, колодцев, покрытии церквей лемехом — тесаной осиновой дощечкой, которая не гниет и не трескается. Осиновую лучину помногу раньше щипали, а нынче пошел керосин, меняются времена. Вот выписать бы у шведов машин да наладить выделку спичек, на которые тоже идет осина, потому что легко загорается и дает ровное, не чадящее пламя.

В сумерках, когда на поляну пал легкий туман и липы, казалось, запахли еще сильней, осторожно подвесили одну колоду на крючок безмена. Назавтра Михайловский то и дело бегал к улью, сдвигая ползунок на мерном стержне. Весь день воздух над поляной вибрировал от бесчисленных крылышек. Спеша в тихую и сухую погоду взять главный взяток, пчелы летали густо, натыкались на Михайловского и больно жалили. И подопытная семья чуяла неладное, тревожно гудела, когда он приближался.

Пятнадцать фунтов! Это было поразительно! Если считать, что некоторая толика привеса шла на переработку и корм, на воск, пчелиный клей и молочко, все равно около трети пуда чистого липового меду за день! От одной семьи!

Когда Михайловский вернулся к ужину с безобразно распухшим лицом, Надежда Валериевна звонко рассмеялась — ей вспомнился вдруг тощий молодой священник Богдановской церкви, раздобревший от безделья и щедрых подношений прихожан. И тут же она пожалела, что высказала это нелепое сравнение, потому что муж вспыхнул и заметался по комнате, изо всех сил стараясь подавить внезапный приступ стыда и гнева. Нет, она же должна понимать его состояние! Он не бездельник и не нуждается ни в каких подношениях, у него есть руки, которые не боятся никакой работы, деятельный ум, воля, способная преодолеть любые препятствия. Он никогда не был и никогда не будет паразитом! Ему только надо сейчас войти в

новую жизненную колею. Узнать, понять, рассчитать, и он покажет, на что способен...

— Опять я что-то не то сказала, Ника? — виновато произнесла Надежда Валериевна.

«Нет, это я виноват! Собственно, почему она, разговаривая с ним, должна взвешивать каждое свое слово? Не слишком ли многого я хочу от человека, одарившего меня счастьем своей беззаветной любви? Она не может знать, что у него на душе во всякую минуту. Как он все же мерзок со своими претензиями и переливами настроений, как мнителен, эгоистичен и мелочно придирчив. Конечно, она сказала это по простоте душевной, безо всякой задней мысли, а он действительно смешон. Эти оплывшие глазки и отвисший подбородок, эта почти детская несдержанность!»

— Ничего, Надюша, ничего,— пробормотал Михайловский, постепенно затухая.— Это я так. Нервы.

— У тебя нервы, у меня мигрень. Стареем, что ли?

— Да нет — бездельничаем. Тебе, впрочем, забот хватает с дочуркой и стряпней. Это я хожу цветочки рассматриваю.

— Но тебе надо отдохнуть, Ника!

— Я сам вначале так думал — отдохну и успокоюсь, хотя отлично знаю, что успокоение ко мне приходит только тогда, когда я что-то делаю.

В Михайловском вызревало новое отношение к своему лесу, и все теперь виделось через эту новизну. Да, наследство Аделаиды Дмитриевны Путиловой, перешедшее к молодым Михайловским, оказалось редким по красоте и сохранности, в нем таилась такая ценность практическая, денежная, что полезностей не могла, очевидно, учесть никакая бухгалтерия.

Увлечение им вытесняло тяжелые мысли, замещало их другими, долгожданными и плодотворными, вновь прикрепляло к д е л у .

Вначале ему представлялось, что основой хозяйства станет л и п е ц — янтарный мед превосходнейшего вкуса и аромата. Русский человек — и простолюдин, и высшие сословия — любит и ценит мед, а липовый особенно. Михайловский живо представлял себе артельные чаепития, бесчисленные самовары в деревенских избах и городских квартирах, в заезжих домах и монастырских трапезных. Миллионы русских людей гоняют привозные чаи с медом,

лечат им все болезни, варят из него хмельные и сладкие напитки. Славяне знали мед еще в рассветные потемки своей истории, он в крови и здоровье наших предков. Впрочем, татары, башкиры, черемисы, прочие поволжские народности тоже охотно употребляют мед — свежий в сотах и засахаренный из бочек, делают на непременной медовой основе восхитительные домашние сласти. Другими словами, за легкий и близкий сбыт меда Михайловский не беспокоился, а при должном развороте дела и заграничный спрос, глядишь, обнаружится. Попутно воск можно продавать на свечи, липовые ульи готовить на дальний вывоз, в безлесные южные места, где мед берут с полей, лугов, с бахчевого и садового цвета.

Липняков было изрядно в лесу, возраст их приближался к пределу, за которым дерева начинают стариться, терять свои стати, дешеветь, и пора было прореживать чистые липовые древостой да пускать их в дело. Михайловский объехал окрестные имения и узнал, что никто из соседей-помещиков лесного дела не вел — многие давно попродавали свои куртины, пораспахали их закраины, а на месте бывших дубняков откуда ни возьмись полезла сорная осина и кустарники. Некоторые осторожно приценялись к путиловскому лесу, надеясь на дешевизну и неопытность в торговых делах железнодорожного инженера, скептически улыбались, слушая горячие речи наследника о его намерении завести постоянное интенсивное хозяйство на лесной основе. Обнаружился весьма скромный спрос на лесной товар, и только среди сельских бондарей да столяров Михайловский нашел некоторую поддержку, и замыслы его начали обретать конкретность и влекущую широту.

— Липа, она ж только с виду против сосны аль дуба не стоит,— толковал ему один старик, ловко работая топором-звонариком, и на глазах Михайловского из прямоугольных липовых чурок являлись аккуратные сапожные колодки различных размеров и форм.— Она руку любит, руку слушается. Ей лишь усохнуть хорошо, а потом гляди-ка: легка, будто пена, мягка — чистый воск, и слой к слою в ней ложится, потому и струганок стружку с нее прямо сливает. И не ведет ее дале, не растрескивает, и гвоздь в ней вязнет-залипает — не выдернешь. А дух какой! Не, ты понюхай, барин, понюхай! Чисто пахнет, будто из родника. Без никакой кислинки и смолинки! Ты верно говоришь — улей, пчела, она знает, где ей жить. А бочка под мед? Аль под засол любой? На Волгу, барин, гляди, там энтих

бочек липовых тыщи нужны. Рыба, икра, соль, коровье масло, арбуз. А чашки-ложки, а игрушки ребятишкам, а кружева из доски, чтоб дома глядели весело,— это ж все липа! Нет, барин, на лесном товаре можно и народу пользу сделать, и себе...

А он только этого и хочет — и народу, и себе! Считай, половину года крестьянин не у дел, лежит-полеживает зимой на лавке, тащит в кабак последнее, детей опивает. С весны начинает надрываться в тяжком труде, к осенним дождям завершает сезон, и снова безделье на полгода. Михайловский полагал, что мужики ухватятся за лесное ремесло — коромысла и дуги гнуть, топорища тесать, корыта долбить, телеги да сани ладить, этот товар должен хорошо пойти в заселяющихся местах самарской дали, в Оренбургской губернии. На залежные земли тронулся российский мужик из бедных и тесных мест, бросал свои жалкие, до звонья выпаханные наделы. Деревянным товаром он поможет хозяйственному обзаведенью переселенцев, а местный мужик получит твердый зимний приработок, и никакой недород ему будет не страшен — уж как-нибудь прокормится ремеслом, не пошлет семейство по миру. Только установить ему справедливую оплату за труд — это уж будет по Михайловскому забота, народ он не обидит... И смотря как развернуть дело, а то и летних работ набиралось порядочно даже при первом расчете: пчельни — мелочь, а вот о мочальном производстве стоило подумать. Нет, лапти плести он не собирается, хотя эту обутку носило все окрестное население. Он задумал заняться товарным лубом, а для этого нужны были рабочие руки в летний сезон. Ни одно липовое дерево без снятия лыка не пускать в распил! Потом собирать окорье, замачивать в мягкой проточной воде, чтоб хорошо забродило, а когда склеивающая камедь в лубе разрушится, готовить мочало на мешки, тонкую рогожу, веревки, белильные кисти. Дешевый рогожный куль на Волге только покажи — с руками оторвут, идет под всякий сыпучий или мягкий товар — крупную соль, мел, овес, древесный уголь, вяленую воблу и вязигу, везут в нем и паклю, и орехи.

Проходило лето, Михайловский вдохновенно изучал возможности лесного промысла и готовился к нему. Расчеты показывали, что при широком развороте дела хорошего леса хватит едва на десяток лет. Дешевизна простого неошкуренного бревна требовала обширных и разновозрастных лесных массивов, а путиловский лес представлял

собою довольно внушительный, но все-таки остров в бескрайних степях, и площадей его явно не хватило для постоянного возобновления леса, если ориентировать хозяйство на коммерческую вырубку. Выход был в углубленной переработке сырья и повышении за счет этого его товарной цены, в ориентации на специальный спрос. Казалось выгодным пилить и пропитывать железнодорожную шпалу, раскряжевывать березу, сосну и дуб на домостроительные и корабельные заготовки.

Специфическая и обширная область знаний раскрывалась перед Михайловским, и он все глубже погружался в нее, охотно подчиняясь своей увлекающейся натуре. Не скрывая жгучего интереса, он подолгу беседовал в деревнях со старыми лесниками, плотниками из крестьян, дегтегонами и углежогами, бывшими хранителями вырубленных по округе лесов, просил разрешения соседей порыться в пропыленных библиотеках их отцов или прежних владельцев. Из устных народных и книжных знаний откладывались в голове простые и, как ему казалось, очень нужные истины, каждая из которых имела свое объяснение в природных законах и практическое значение для Михайлове кого.

Оказывается, каждая порода дерева и всякая часть ствола имела свой вес, крепость, прочность, свою тепловую отдачу, зольность, влажность. На качество древесины влияло и время рубки, и способ перевозки, и возраст, и почвы, и климат. Иногда Михайловский даже жалел, что пошел в железнодорожный, а не лесной институт — так захватила его бесконечно расширяющаяся и углубляющаяся сложность жизни леса. Вот простая будто бы вещь — тяжесть дерева, но на нее чудесным образом проецируется вся пестрота природных и хозяйственных условий. Дерево не тонет, хотя удельный вес его больше единицы. Оно погружается в воду только тогда, когда из сосудов древесины вода вытеснит воздух и заместит собой. Старое дерево всегда тяжелее молодого, а при равном возрасте лесина, срубленная в соку, легче взятой во время зимнего лесоповала. Тощие сухие почвы взращивают более тяжелые дерева, чем плодородные и сырые. Тяжелее всех пород зимний дуб, потом идет береза, дуб летний, сосна, липа, а легче прочих осина, ива да ель. Древесина ствола обычно тяжелей, чем выпиленная из веток, но бывают у хвойных столь смолистые сучья, что перетягивают ствольные заготовки. Михайловский думал, что мокрое дерево

всегда тяжелее сухого, и он не поверил книге, где было черным по белому написано, будто сплавленное бревно легче вывезенного посуху. Не то явная ошибка прошла в книгу, не то он совсем уж ничего не понимал в деревьях — надо проверить следующей весной, когда сплотки леса он, бог даст, пустит по воде к Волге. Впрочем, он не решил еще, где наладит распиловку — на месте или у волжского берега. Это зависело от многих технических, рыночных и транспортных условий, которые предстояло изучить.

К реке тяготела вся хозяйственная жизнь губернии. Главные грузы шли отсюда на Волгу и поступали сюда с Волги, а Сызраньско-Оренбургская железная дорога, недавно протянувшаяся вдоль реки Самары, многоводной и бурной по весне и пересыхающей среди лета, еще больше усиливала традиционное направление для товаров и капиталов. Оно и понятно — вдоль Волги проживало густое коренное и пришлое население, дешевый водный путь связывал воедино половину державы, и главный торг Российской империи шел на берегах этого великого пути. В иных местах становилось уже тесно и дымно — на глазах поднимались трубы фабрик и заводов, мастеровщина заполняла окраины растущих городов. Среди хлебных, мануфактурных, рыбных, кожевенных, скобяных и прочих товаров лесные по своему значенью занимали особое, только им принадлежащее место. Необозримые северные леса как бы сами просились на попутные, просторные и глубокие волжские и камские воды, а ненасытный безлесный юг с каждым годом пожирал все больше дерева. Костромские дрова и обские плетеные корзины, вятские, пермяцкие и хохломские расписные изделия были мелочью в общем лесном обороте. Нескончаемой вереницей плыло с верховьев дешевое деревянное сырье — бревна в плотах, полуфабрикатный пиловочник в неошкуренных сухогрузных б е л я н а х , и нечего было даже мечтать о конкуренции с этим неистощимым потоком лесного добра.

Возраст, состояние и расположение путиловского леса, как Михайловский понял, ставили его, начинающего промышленника, в особое положение, определяли реальное равнодействующее направление его усилий между желаниями и возможностями. Нет, количеством он не возьмет — мало лесу, а срок поспевания молодняков слишком долог.

Михайловский должен был так поставить дело, чтоб его продукция удовлетворяла высшему спросу по качеству

и специализации. И путиловский лес годился для такого хозяйственного замысла. Стоял он в средней географической зоне, к ближнему и дальнему югу раскинулись сплошные степи, а на севере начинались бесконечные леса. Не богатые и не бедные, не заболоченные и не иссохшие почвы, некоторая нехватка атмосферной влаги и солнце чуть выше умеренной силы наслаивали в стволах древесину, какую не могли родить ни северные, ни южные места.

Очевидно, главной ценностью был дуб, быстро исчезающий в округе и совсем не растущий на севере. К тому же, по всем признакам, в путиловском лесу рос дорогой переходной дуб с едва заметными отклонениями — в зависимости от рельефа и почвы — к боровому и водяному типам. Древесина борового дуба соломенно-желтая, мелкослойная, чрезвычайно тверда, но малоупруга. Узнается по грубой, толстой, почти черной коре и седым лишаям. Водяной дуб крупнослоен, бледно-розов на срезе, с белой оболонью, очень упруг, но при сушке сильно подирается трещинами. Его легко отличить по синевато-серой тонкой коре. Михайловский подолгу бродил по большому величественному дубняку за старой вырубкой. Толстые стволы над корнями были покрыты растрескавшейся серо-бурой корой в красноватых пятнах по окружности и жестких зеленых мхах с северной стороны. Этот переходной дуб был, несомненно, чрезвычайной крепости и нужной упругости. Он пойдет на самый дефицитный распил.

Посещая, уже как старого знакомого, свой сосняк, Михайловский всякий раз по-новому радовался, потому что открывал в нем не замеченную ранее переменчивость в мелочах и постоянство в главном, неисчезающем, то есть он начал сознавать его.

Смущенно озираясь, будто за ним могли подглядывать, он гладил шероховатые округлые пластины. Жестким красивым панцирем они поднимались примерно до трети ствола, где резко переходили в желтопленочную кору, перед непогодой, когда сюда пробирался ветер и, обтекая стволы, доносил смешанный смоляной и хвойный дух, отделившиеся пленки трепетали под струйками воздуха, свербели в ушах, отрывались и редкой золотой порошей опускались на буро-красную подстилку, из которой точными цилиндрами, без корневых подставок и вздутий, стремительно вдруг вздымали беспорядочные плотные колоннады. По всем статьям, это была элитная рудовая сосна. А се-

верную, мендовую, Михайловский видел в самарской замани. Темная до половины ствола, с глубокими продольными трещинами по коре, она, судя по лесным руководствам, была намного хуже его сосны, идеально прямослойной и прочной, намного смолистее, кроме того, рудовая сосна не так быстро сгнивает, посему пользуется хорошим спросом у кораблестроителей и артиллеристов. Уже далеким воспоминанием наплывала Болгария, Бургасская бухта, источающая тепло только что укрывшегося солнца, и костры в сумерках, невнятные солдатские голоса вокруг них. Он, помнится, подивился однажды прочности пушечных лафетов. Солдаты пилили разбитые и брошенные в целости лафеты на дрова. Тяжелые дубовые детали тупили саперные пилы своей костяной крепостью, давали ослепительный жар под котлом березовые, знатно горели дышла, оглобли, правила и ящичные ваги, лоснились плотными гладкими срезами, сосновые же были мягки, свелси и пахучи, пыхающие высоким коптящим пламенем.

Судя по адресам, нацарапанным на станинах, иные полевые и осадные лафеты прошли Кавказ и Крымскую кампанию, но ни солнце, ни дожди, ни смазка, ни раскаленные орудийные стволы, ни едучий пороховой дым не смогли вытравить из добрых рудовых штук стойкого лесного аромата...

Михайловский планировал снестись зимой с военным ведомством и гарантировать ему постоянную поставку первосортного и разнопородного бруса на лафеты, наметил также непременно съездить в Нижний Новгород, выяснить размер спроса и технические условия на древесину для коммерческих и пассажирских речных судов, барж и катеров. По справочникам он узнал, что условия будут чрезвычайно строгими, особенно если дело коснется военных заказов, и ему следовало с высоты высших требований отревизовать путиловский лес.

Белое августовское солнце дожигало желтеющую траву в прогалинах, опалило, должно быть, метелочки густого соснового самосева; поврежденные птицей-листоверткой или тлей, нет-нет да падали уже одинокие листья. На кустах и деревьях зрели семена, споры и соки образовывали по концам приросших молодых веточек едва заметные завязи будущего года. Лес имел вполне здоровый живой вид, и если не трогать его, он, очевидно, мог быть бессмертным. Стояли тут дубы, сосны и березы да липы многие тысячи лет до Михайловского и, постоянно

обновляясь, через тысячу лет предстали бы перед его далекими потомками той же благодатью!

Все пристальнее вглядываясь в свой лес, Михайловский, однако, видел, что деревья, как люди, своим видом переживали время младости, возмужания и дряхлости, рождались и умирали, вредили и помогали друг другу, болели, заражая соседей, и лечились лекарствами извечной природной фармакопеи.

Болезни деревьев, проистекающие, как и у человека, от одной или многих причин, разделялись на очевидные, наружные и скрытые, внутренние; часть дерев были связаны между собой общей порчей, а многие хворали всяк на свой лад. Михайловский просил лесника спиливать на топку сомнительные дерева, подолгу разглядывал их вершины, кору, заболонь, сердцевину и даже завел памятку их тайных и явных пороков.

С трудом отдирались от коры престарелых дерев твердые губки — какая все же была сила у этого черного вампира, пьющего живой сок. Он намертво срастался со своим кормильцем и упруго отбрасывал обух топора. А рыхлые грибы неприятных ядовитых оттенков, найденные у ручья, в низинном сыролесье, дожирали валежины, взбирались по корневищам и мягко присасывались к стволам. Может, они, уничтожая отжившие особи, делали для леса благое дело, но эти грибы и губки могли расползтись по крепким древостоям, а из лесины с этакими присосками уже нельзя было выпиливать сортового кряжа. В отбраковку назначались и суховершинные дерева, особенно те, что от пропавшего стержневого корня иссыхали по сердцевине насквозь.

Михайловский быстро научился отыскивать дупловатые деревья — переходная шейка у них деформировалась наплывами и толстыми подпорными корнями, под обухом топора слышался глухой утробный звук...

А однажды Михайловский поразился всеобъемлющей и несколько странной связи, с какою в жизни одно переливало в другое, более интересное, существенное и поначалу весьма будто бы далекое от исходного. Каталог древесных пороков, заведенный им с чисто практической целью, обернулся вдруг ему сокрытой ранее стороною и наградил нежданной радостью, посеяв в его душе семена, что прорастут спустя много лет... «Р о з з ы б ь,— записал как-то он,— есть трещина или щель на отрубе дерева поперек годичных слоев». На живой сосне роззыбь прячется внутри, неви-

димая, образуется не вдруг, постепенно, годами — от расшатывания вершины ветром и просекает ствол до корневища. Если роззыбь изворачивается, то дерево теряет ценность и для кораблестроения, скажем, неприменимо. Но бывает и строго продольная, иным словом — согласная роззыбь.

Согласная роззыбь... Что ж это за чудо великое — русский язык! Как он точен и живописен! Бесподобно колдовски,— роззыбь...

А вот дряблая, негожая древесина образовалась от сырости, попавшей под кору, обозначенная узкой полоской желто-красного цвета на заболони. Называется ли она как-нибудь? Да, и очень выразительно,— зяблина. Или эта весьма тонкая и длинная полосочка с прозеленью и едва заметной трещиной? Морозобой. Ошмыч или обдир, заросший правильными, но несколько рыхловатыми слоями,— прорость. Бескорое, не загнившее пока, но влажное и податливое уже зеркало на комле — подпар. А дале косослой, отлуп, червоточины,— да есть ли конец этому словотворенью и смыслоемкости! И больные сучки всяк по-своему именуется — зримо и естественно просто, будто невзначай. Дерево неблагонадежно, ежели в нем сидит крапивный сучок — белая либо зеленая пыль в гнезде. Нетерпимая болезнь в корабельных и артиллерийских штуках также табачный сучок с пылью, похожей на нюхательное зелье, образовавшийся из сучка рогового, сухого и крепкого поначалу с едва лишь тронутой сердцевиной. А сучок ивлевый мягко утопает при надавливании, а потом возвращается в прежнее положение — верный признак сильного гниения дерева...

Как это его народ, задавленный смертной нуждой и нарастающими потерями, сохранил этакую зоркость и незамутненность взгляда на самые малые проявления окружающего мира? Он тщательно записал, откуда эти слова, нужные, может статься, для иной практической цели, высшей, что временами грезилась ему в смутных мечтаньях. Не встретив ранее подобной словесной живописи ни у одного из журнальных беллетристов, Михайловский робко пытался найти в своем, должно быть, сейчас мимолетном интересе к ней крохотное зернышко будущего. Но суждено ли ожить и расцвесть сему свеженькому цветку? О чем писать? С какою целью? Да и его ли это дело? Пусть обладает он некоторыми знаниями и опытом,

неподдельностью чувствований и грамотностью, но если нету от бога таланта, который один только и важен в данном случае?.. Внимание! Опять он забылся в бесплодных грезах? Как все же неорганизованно и хаотично его мышление! Нет, не следует разбрасываться и отвлекаться — ближняя цель перед ним, он должен ее достичь во что бы то ни стало.

В лесу ничего не должно пропадать. Остаток от специальной раскряжевки пойдет на строительный и поделочный лес, а вся выбраковка — на дрова. Общее состояние его леса весьма благополучно, из этого и следует исходить, но есть небольшие низинные участки, где по каким-то причинам деревья несколько угнетены, плохо растут, суховершинят,— должно быть, вода застаивается у корней или кислота в почве образовалась излишняя. Для пользы леса же следовало убрать всю дровяную его часть.

Несколько дней он ходил с топором, отыскивая и затесывая усохшие и криворастущие деревья, побитые и ободранные соседями, совсем затененные, потерявшие надежду выбиться к солнцу. Дуплястые перестарки также пойдут под топор и больные, затянутые мхами и плесенью. В поволжских городах, особенно по безлесному низовью, каждое полено в цене. Он тут понаставит саженей и после усушки сплавит сухогрузом...

В Заволжье пришло знойное лето. В зеленых заслонах оно было не так заметно — лес утишал и увлажнял горячие ветра, ручей и попутная ему сырая долина источали прохладу, старые липы давали густую тень. После полудня жарко и душно становилось даже в лесу. Недвижимый воздух сушил губы, обильный пот лил с лица, особенно если попить чаю с медом, голова тяжелела, и ничего не хотелось делать. Однако на степной дороге, которою Михайловский ехал, направляясь в уезд, было того плоше. Из киргизских степей тянул обжигающий поток воздуха такого постоянства и силы, что накалялись железки на сбруе, дышать было тяжело, и Михайловский удивлялся, чем дышат хлеба — совсем уже зажелтевшие, низкостойкие и жидкие. На горизонте пылевой вал катился, будто гнали там несметные стада. Пыль скрипела на зубах, гриву и бока лошади постепенно покрывала серая опушь.

Попутные деревни поражали запустеньем и бедностью. Ни деревца, ни садочка. Скособоченные избенки, полегшие плетни. Он захотел напиться, выбрал избу — не богатую, с

тесовой крышей и крашеными воротами, и не стоящую напротив жалкую сгнившую хижину, безо всяких надворных построек, а самую обыкновенную, каких больше всего было в этой деревне, с голыми стропилами, распахнутой кучей навоза у хлева, с ригой на задах, колодцем под окнами и несколькими курами, пурхающимися в горячей пыли на дворе. Взрослых не было в доме. Две девочки, в застиранных донельзя ситцевых платьицах, таращили на него синие и ясные, как у его маленькой Наденьки, глаза, на грязном полу ревел голый золотушный мальчонка с торчащим черным пупом на вздувшемся животике. Шибал в нос застойный кислый дух, мухи ползали по небеленому потолку и мутным стеклам. Ворох каких-то тряпок в углу, печь на пол-избы, грубый стол, две скамьи.

— А где ваши родители?

— Тятька ступу из дому снес,— выдержав долгую паузу, тонко протянула старшая девочка.

— А мать?

— Побегла-а...

— Где ж вы тут спите? — спросил Михайловский, ища Глазами кровати либо, на худой конец, лавки.

— На полу-у-у,— тоненько протянула девчушка, со страхом разглядывая гостя.

— А что вы ели на завтрак?

— Мамка зажинок щас будет варить.

Михайловский хотел дать ей рубль, но девочка потупилась и губенки ее задрожали, а парнишка от страха совсем зашелся в крике. Михайловский поспешил убраться. Людей на улице не было видно, только у кабака спали на вытоптанной земле несколько разомлевших мужиков. У головы одного из них сидела изможденная, нестарая еще баба и отгоняла травинкой мух. Михайловский вошел и дал целковый кабатчику, чтоб тот вернул ступу. Услужливый мальчишка бегом вынес ее наружу. Михайловский выпил ковш теплой воды, спустился с крыльца к коновязи, краем глаза видя, что баба растерянно приложила руку к подбородку, смотрит на него недоуменными, светлыми, будто выцветшими на этом солнце, глазами. Чугунная ступка с медным пестиком стояла поодаль, будто ничья.

В Бузулукской уездной управе ему порекомендовали одного гласного, из мелких местных купцов. Он был примерно одних лет с Михайловским, без традиционной бороды

и полукафтана, говорил грамотно, с достоинством и очень внимательно слушал.

— Знаете, я и сам поторговываю, да только вы затеяли такое, чего по нашим местам сроду не бывало.

— И поэтому вы сомневаетесь в моем успехе?

— Не только. Вы человек молодой.

— И вы не старый.

— Да, но тут такие тузы живодерничают...

— Они лишь безлесят губернию, а я хочу по-другому.

— Похвально, однако соединить в одном лице лесовладельца, лесопромышленника и лесоторговца... Мы прослышали, что вы изволили оставить государеву службу?

— Да... Вы хотите сказать — «в таком возрасте»? — засмеялся Михайловский.

— Решили заняться хозяйством у нас? — купец был серьезен, и Михайловский постепенно проникался к нему уважением.— Настоящих хозяев из дворян тут нет. Ждем вашего участия в наших делах. Нельзя ли на первый случай разжиться у вас леском для поправки уездной больницы и сиротского приюта? Сгнило все...

— Ну почему же нельзя?.. А я бы хотел получить от вас первые советы.

— Господин Михайловский, каким капиталом вы располагаете для начала такого дела?

— Продам часть леса.

— Кому? Когда? По какой цене? Дуб? Сосна? Дрова? Мы знаем, чего стоит ваш лес, но надо суметь его продать! Много тут добра пошло почти задаром... Мне-то вашего леса не купить...

Предупредил, однако, что своих коммерческих будней не станет касаться — они малозначащи для посетителя, и ничего полезного из них не извлечешь. «Не масштаб!» — выговорил он нерусское слово. Кажется, хитрит — подумал Михайловский, заметив, что купчик поспешно отвел глаза в сторону.

— Что будет, господин Михайловский? — спросил купец, исподлобья глядя на посетителя.

— В каком смысле?

— Ну вот, ежели так оно дальше пойдет — чем кончится?

— А как оно идет?

Купец задумался, глядя в окно.

— Вы знаете, господин Михайловский, мы с вами в некотором смысле родня.

— Не понимаю,— сказал Михайловский, наблюдая на лице собеседника какую-то медленную, первую за весь этот разговор улыбку.

— Поясню... Местные дворяне-степняки до самого последнего часа не могли поверить слухам об отмене крепостного права. Кутилов, первый владелец леса, богатый да бычливый человек...

— Путилов? — уточнил Михайловский.

— Он, он, Кутилов,— подтвердил купец.— Дмитрий Азарович. Дед то есть вашей супруги. А свою-то он раньше срока во гроб вогнал... Да... И вот по осени перед волей послал он одного своего толкового и оборотистого мужика в Самару. На торжище с товаром.

— С каким же? — поинтересовался Михайловский.

— С медом да воском будто. Да... Мужик привез достоверное известие с выручкой о скорой воле. Надо б затаиться, а он — соседу, тот — другому, третьему, до дворни донеслось — и повели мужика на конюшню! Не засекли до смерти беднягу только оттого, что Кутилову всхотелось, чтоб собаки его дотерзали. Кобели, однако, были на медведя приучены.

— Дикость какая! — вздрогнул Михайловский, вспомнив меделянских собак на богдановской псарне.

— Кутилов их арапником, арапником, а они только нюхтят и рычат. Я-то был мальчонкой, а отец сам видел, он тогда в наши с вами года взошел...

— Но при чем тут, как вы сказали, родство?

— Этот мужик, господин Михайловский, был мне дедом... А Кутилов-то — может, слышали? — тут же на конюшню, приказал закладывать лошадей и в Петербург к царю-батюшке. Царь вроде сказал ему, что воля неминуема — на то воля божья. Кутилов схватился за сердце и упал замертво.

— Ну, это чистая легенда,— возразил Михайловский,— он по-другому кончил.

— Не буду настаивать, однако зело любопытно.

— Как родственнику скажу — в номере у заезжей мадам.

— Царство ему небесное,— жестко заключил купец.— Однако к жизни. И дед мой вскорости иссох и умер, воли не дождался. А мы в уезд. Отец в приказчики, я в мальчики...

С крестьянской волей старинные дворянские роды в Заволжье начали распадаться, будто ржа их ела. Великие

грехи предков, знать, отозвались и отзываются доселе. На той неделе в управе только и дела было, что говорить о графе Толстом, уездном предводителе дворянства в соседнем Николаевске. Оставив ему троих детей, ушла из дому беременная жена и тут же сошлась с каким-то молодым красавцем-либералом. Она-то урожденная Тургенева, в каком-то отдаленном родстве с писателем будто бы состоит и сама, говорят, пописывает, только граф Николай Александрович Толстой... Нет, нет, это другие Толстые. А о знаменитом графе Льве Николаевиче Толстом в прошлом году об эту пору тоже разговоров было по губернии не передать сколько. Он тут вота на этом самом месте сидел с сыном. Глаза острые в бороде, будто шилья, аж мороз по коже, и небольшой такой — как он сподобился «Войну и мир» написать. Читывали, как лее, отойдя от лаптей-то, да...

Они, дворяне-то здешние, больно плодливы были, это Кутилов изо всех — одной дочкой обошелся, а у Чарыкова, тестя-то вашего, никак пятеро, у других того боле. И вот пришли сроки дробить поместья, леса да земли. Это нашему брату ничего за так, а дворянские сынки да дочки не приучены были головы ломать, где взять копейку, наподобие своих родителей — гуляния да карты, да кураж по городам да заграницам — однако прибытку прежнего не стало от дарованных в старину земель. Одно дело выпаханы они изрядно, подтощали, другое — недороды, смертная сушь через год да через два, третье — земля будто бы ничья оказалась.

— Как — ничья? — заинтересовался Михайловский.

— Да так, натурально ничья. Владелец сдает ее в аренду, не хозяйствует на ней, она по труду для него чужая, а крестьянину назмить господскую землю нет расчета, в перелог на отдых кому-либо оставлять совсем не выходит —- на своих отрезках он живет от зажинка до зажинка. Так и покатилось все на общее обедненье. Дворяне от долгов стреляться зачали, их прежние богатства с торгов пошли, леса на сплошной сруб, земли на перепродажу и новую арендную сдачу местным и переселенцам. Издалека едут иные покупатели, даже сам Лев Толстой приобрел у нас имение на гонорары за «Войну и мир», аж из Тулы прикатил с сынком Сереженькой...

— Толстой — слава и гордость России,— вставил Михайловский.— Надо поуважительней.

— Да я это к слову, господин Михайловский,— остро

взглянул купец,— об жизни думаю, что с нею будет? Не верю ни во что. Он пишет о высшем слое, а тянется к низшему, землю покупает, а о простой жизни мучается. И всякому о жизни думать позволительно; гляжу — новая в ней сила появилась, местная и повсеместная. Изо всего своего выгоду делает.

— Что за сила?

— Богатеющий мужик и земельку-то не упустит, и соседа в кулак зажмет, и подторговывать приспосабливается. Того злей — туз денежный, самарский да симбирский. Не глядя скупает земли по дешевке, совсем цену сбил. Господин Шахобалов на полгубернии сеть раскинул — и стерлядь дворянская в нее сама плывет, и целыми стаями мелкий пескарь, крестьянство. А с казенными землями какое беззаконие! Узнает Россия — содрогнется!

— Что вы имеете в виду?

— Годов десяток тому вышли льготы отставным чиновникам при покупке пустых казенных земель. Чтоб заселенье пошло побыстрей. Под эту оказию подстроились враз всякие шахобаловы, скупщики-перекупщики, посредники да маклеры. А на востоке и далее, в Оренбургской губернии таких земель тьма-тьмущая была. И вот слушайте дальше, господин Михайловский,— о беззаконии. В тех местах казна выделила степные пустыри для безземельных башкирцев. Тоже народишко мается — не приведи господь. Дак через чиновников ли контрольных, через денежную ли мзду, а все тамошние земли оказались сегодня в руках богатых покупщиков. Считай, полмиллиона десятин!

— Невероятно! — вскричал Михайловский.

— Еще как вероятно-то,— усмехнулся купец.— Написал я, как умею, в одну петербургскую газету — ни ответа ни привета. Вот вам жизнь, господин Михайловский!.. А кутиловский лес, ежели хотите знать мое мненье, отберут у вас.

— Как отберут? — удивился Михайловский.— Кто?

— Верней, сами отдадите. Попомните мои слова. Сведут его под корень и сплавят.

* * *

А через несколько дней неожиданно приехал Чарыков. Один, без Марии Дмитриевны. Михайловский приготовился было выслушать любые упреки тестя, однако тот был

предельно доброжелателен и спокоен, никаких вопросов зятю касательно его службы не задавал, говоря этим, что он полностью вверил ему судьбу своей дочери и не считает ее брак неудачным. Отставной губернатор сильно сдал — посутулел, походка его сделалась неверною, совсем почти стариковской, и торжественно пышные усы как-то даже неряшливо обвисли. Привез свою заварку, целыми днями пил чай с медом, то и дело прижимал к сердцу ладонь и не расставался с каплями Боткина. Надежда Валериевна была чрезвычайно рада приезду отца, который, однако, ласково поговорив с нею при встрече, ушел куда-то в свои мысли. Она счастливыми и тревожными глазами следила за каждым его движением, ловила скупые слова, но тот занялся внучкой — часами ползал с нею по вылинявшей траве, что-то объяснял ей, ломая на детский лад язык. Теплым тихим вечером, когда над лесом догорала в облаках светлая заря, нашла она его у ручья. Он одиноко сидел у воды, смахивая со щеки мутную слезу.

Михайловский попытался ввести гостя в свои планы относительно леса, но, увидев, что Чарыков слушает рассеянно, вполуха, оставил его в покое. И то подумать — в этой части фамильных владений Чарыков никогда не бывал, никакого хозяйства здесь не вел, вечно был занят государственными делами — что ему лес? Через несколько дней тесть уехал, и Надежда Валериевна даже не успела сказать ему, что у нее, наверное, будет второй ребенок, Ника надеется, сын. Чарыков увез с собой бочонок свежего меда, прислав вскоре с нарочным ответный подарок — трех молочных поросят, закопченных каким-то способом. Михайловский не удержался и тут же попробовал шоколадную ножку. Поросятина просто таяла во рту, и даже косточки были мягкими, будто стерляжий хрящ. И еще какой-то ящичек лежал в рогожной обертке. Михайловский недоумевающе осматривал легкую продолговатую коробку, обернутую поверху тонкой кожей с короткой шерстью, облезшей по углам и сгибам. Разрезав ее ножом, обнаружил под нею еще одну шкуру, совершенно целую. Швы по серому шелковистому меху были наложены вперебой со швами наружной упаковки.

— Тут Валерий Иванович нечто занятное прислал! — позвал он жену, спускавшую поросят в погреб.— Не пойму. Две шкуры снял — дальше какая-то плетенка.

— Никогда не видала.— Надежда Валериевна недоуменно пожала плечами.— Что это может быть?

Жесткие пересохшие прутики не поддавались ножу, их было легче сломать.

— Острая, словно рыбья кость,— сказал Михайловский, рассматривая желтую полую палочку.— Разве бамбук?

Пришлось снять еще одну плетенку, потом три слоя плотной полупрозрачной бумаги. Закрыв глаза, Михайловский с наслаждением похрустел ею над ухом — она живо напомнила ту, милую его сердцу китайскую бумагу, которая, кажется, недавно служила ему для калькирования продольной профили железной дороги Батум — Самтредиа. И словно терпко запахло тушью и вест-индской сигарой Павловского, и послышались клекочущие голоса кавказцев. Как далеко все это — и вдруг так близко!

— Что там? — нетерпеливо заглянула через плечо Надежда Валериевна.— Не заснул ли ты, Ника?

Под бумагой оказалось многослойное и плотное лаковое покрытие — нож его тоже не брал, пришлось бежать за топором.

— Не иначе — Кащеева смерть,— сказал Михайловский, осторожно отрывая деревянные дощечки какого-то белого, чрезвычайно твердого дерева.— Этак упаковать!

Показалось что-то тускло-светлое, вида старого серебра. Нет, олово. Михайловский отогнул мягкий, чисто прокатанный оберточный лист, и по дому поплыл едва уловимый, необыкновенно стойкий аромат дорогого чая.

— Ну, дед! — только и сказал Михайловский.

— А тут еще какая-то книга с запиской,— воскликнула Надежда Валериевна, перетряхивая рогожу.

«Дети, примите подарки,— писал Чарыков.— *Поросят надобно кушать с хреном. Кяхтинский караванный чай насушен из почек чайного листа, отменно тонок, извольте рассыпать его в бутыли под плотные пробки, дабы не выветривался. Заваривать надлежит водой вашего ручья, когда она возьмется на огне белым ключом. Николаю Георгиевичу презентую также книгу о лесном хозяйствовании. Наслышан, что автор ея весьма неблагонадежен, однако же в молодости, будучи служащим министерства государственных имуществ, он слыл знатоком лесных дел России, бывал в нашем лесу*».

Это была не новая уже книга в шероховатой густо-зеленой обложке с золотым тиснением по переплету, изданная в Санкт-Петербурге комиссионером императорского Казанского университета издателем и книгопродавцем Вольфом. Рядовые фамилии ее составителей Шелгунова

и Греве ничего не сказали Михайловскому. Шелгунов? Шелгунов. Николай Шелгунов! Вспомнилось. Давным-давно, как бы не в университете еще, Михайловскому попалась на глаза старая журнальная статья о фабричных работницах за границей. Он ее, конечно, не мог дочитать до конца, однако фамилия автора всплыла сейчас в памяти определенно — Шелгунов. И позже, когда Михайловский стал свидетелем долгого ночного спора на квартире у приятеля по курсу каких-то лохматых теоретиков, смешивающих политику и литературу. В их речах назывался Чернышевский и Боков, Добролюбов и Писарев, Герцен и Серно-Соловьевич и снова Писарев, Михаил Михайлов,— помнится Николай Шелгунов, отбывающий долгую ссылку где-то на севере, и опять Дмитрий Писарев. Уже под утро Михайловский шел пустой улицей к себе. Был крепкий мороз, извозчики со своими лошадьми куда-то подевались. Меж больших, в сером инее домов гулко били его ботинки, ноги окоченели, а голова горела. Ни разу не вспомнились той ночью предсмертные слова отца: «Против государя пойдешь — из гроба прокляну!» и напутствие матери: «Больше всего опасайся кружков...»

Чтобы другой раз не хлопать глазами в обществе умников, назавтра Михайловский решил посмотреть, что это за Писарев. Начал читать и увлекся, забросив чертежи, руководства и книги по технологии металлов, сопромату, проектированию мостов, изысканиям трасс. Статьи поначалу захватили его обнаженной логикой, почти скандальной непочтительностью к авторитетам, словесной искрометностью.

Михайловский поражался тому, как многие мысли, воспаляя воображение, поначалу звали к спору с автором и с самим собой, потом как-то незаметно склоняли на свою сторону. Вдруг начинало казаться, что они всегда были твоими, только ты не мог их выделить из хаоса, царящего в твоей голове, придать им нужное значенье и выразить словами. Иногда Писарев бил наотмашь, и все в тебе сопротивлялось до конца, но какая-нибудь коренная мысль совершенно покоряла, и все остальное, даже слишком неприемлемое, выглядело второстепенным. Можно было не простить автору взгляда на Пушкина — трепетное сердце России, но когда он говорил, что конечная цель всего мышления нашего, всей деятельности каждого честного человека, состоит в разрешении одного неизбежного

вопроса, вне которого нет ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать,— вопроса о голодных и бедных... Казалось, Писарев размышлял вслух, обнажая перед читателем свою трепетную ищущую душу, и словно звал к тому, чтоб так поступали все. Это оставалось, а все остальное исчезало и в пылу заразительного отрицанья заплеталось в паутине литературных и политических взглядов. Да и всегда, конечно, страстная поддержка Писаревым реалистов, людей точного знания конкретного дела, и, главное, поддержка реалистов, к которым Михайловский, естественно, тут же причислил себя, едва прикоснувшись к знаниям и еще не ведая всей сложности будущих своих дел, в которых позже забылся и Писарев, и совсем, считай, бесследно — Шелгунов...

На титульном листе «Лесной технологии» Михайловский с удивлением прочел аккуратную дарственную надпись тушью: «Дмитрию Азарьевичу Путилову от автора». А между этих слов было вписано тем же почерком, только помельче: «владельцу леса» и «который мог бы стать хорошим», причем нельзя было понять, к чему или к кому относится последняя сослагательная приписка — к лесу, к его владельцу или даже к самому автору. Было как-то странно держать в руках эту зеленую, под цвет леса, книгу, уводящую мысли назад, в глубь времени, к середине века, и, как вскоре выяснилось, направляющую в неизвестное, куда-то к концу столетия. Из полузабытой дали Шелгунов сумел увидеть, как должно пойти лесное дело, и даже теперешнее, часто обращаясь к новому слову и понятию — промышленность.

А Михайловский, оказывается, воистину за деревьями не видел леса! Знания о нем уходили в глубину, простирались вширь, давно стали предметом науки, на которой только и могло основываться правильное хозяйствование. Выходило, что любой лес надо прежде всего учесть, протаксировать и определить меры для приведения его в порядок. После такого лесоустройства шло исполнение этих мер и рекомендаций — лесоводство. Он же поспешно взялся с конца, наскоком пытаясь примитивно расчислить наивыгоднейшее употребление леса. И все же Михайловский порадовался тому, что своим умом дошел до начал лесной технологии. И Шелгунов тоже настоятельно советовал углублять переработку, чтоб в лесу ничего

не пропадало, только не знал многих приемов извлечения дополнительной хозяйственной выгоды.

Вот любимый его сосняк стоит. Светло-радостный, словно позлащенный, а всего лучше назвать его, наверно, этим крепким емким словом — рудовый. Можно, конечно, враз свалить этот чудо-лес, чтобы выпилить, как он задумал, самые дорогие кряжи, только Шелгунов рекомендует прежде подсочить его. Свежая желтая смола есть бальзам или терпентин. Затвердев, бальзам становится живицей, иначе серой. При сухой перегонке на сильном огне можно получить скипидар, а в остатке будет вар. Совершенное отделение скипидара на медленном продолжительном жару дает гарпиус — ту самую канифоль, какою натирают скрипичные смычки.

Весь лесной отход он поспешно думал употребить на дрова, однако ему имеется лучшее назначенье. А бересту он употребит на сидку дегтя, по губернии он дорог и в большом спросе. Вот вроде бы совсем помеха в лесу — пни сосновые, а их надобно корчевать, готовить чурки, верней сказать, осмол, и тоже пускать на перегонку. Перегоняя древесную кислоту над жженой известью, можно получать спирт. Лиственные породы, взятые с его сухих почв, дадут уксусную кислоту, нужную для приготовления белил венициаиской яри, свинцового сахара. И древесный уголь найдет себе применение, и сажа, и поташ, углекислое кали то есть, и едкий креозот, если пустить часть леса на шпальный распил. И его шпала собственной пропитки будет самого высшего качества. Уж он-то знает, какой они должны быть, а за потребителем дело не станет — еще во время службы в министерстве Михайловский слышал разговоры о скорой прокладке самаро-уфимского направления, которое безусловно продлится на Урал, потом несомненно выйдет к Челябе или же Троицку...

Он уже видел себя зачинателем необыкновенно громкого дела в губернии, единственным промышленником, полностью удовлетворяющим розничный и оптовый спрос на любой лесной товар. Работникам, очевидно из тех, у кого не идет крестьянствование, он назначит за их труд справедливую плату. И вообще, рабочими он станет заниматься особо — это важно со всех точек зрения, недаром такой ученый муж, как Шелгунов, пристально интересовался положением фабричных. Чтоб к нему шли охотно, он

построит им больницу и откроет школу, которые не могут здесь иначе появиться, кроме как возле большого промышленного производства, где в одном общем деле соединены будут исходное сырье, лучшая техника и технология, капитал и труд... Народу и себе — в этом соединении целей он видел главную направляющую идею. Народу,— потому что никто и ничто здесь не предлагает, все стоит и заболачивается, и верней — течет стихийно, богатства края изничтожаются на глазах или, преобразуясь в деньги, исчезают в бездонных карманах степных нуворишей, а народ, крестьянство то есть, опускается все глубже в безысходную нужду. А себе, в частности, для того, чтобы в полезной для общества деятельности обрести чувство достоинства, утерянное было в обстановке лжи, эгоизма и стяжательства.

Осень подкралась и, едва сделалась заметною, как лес — должно быть, от сухого лета — весь вдруг зажелтел, запламенел ярым багрянцем. Осветляясь, редея, он отворял себя для степного ветра, который рвал в продувах, счесывал с дерев легкий лист. Вот дубрава взялась сереть и коричневеть, а с первыми утренниками дубы уронили свой летний убор, заломили сучья в вышине и замерли недвижимо, презрев свирепеющий ветер. Лес чернел, мрачнел с каждым днем, отчуждая себя от солнца и неба, птиц и пчел. Да и от людей тоже. Временами Михайловскому становилось неуютно, скучно и хотелось в город. Однажды, сидя вечером у камина с блокнотом, он впервые засомневался в успехе своего дела. Конечно, лес может восполнить себя и вечно питать производство. Но какой нужен непременный запас его, замещающий постоянную рубку, как соотнесутся столетний цикл лесовыращивания и ежегодное изъятие технологической древесины? У Михайловского не было ни опыта, ни методики экономических расчетов, ни специальных лесных знаний. Куда проще вести дело на земле! Весной посеял, осенью убрал урожай. Ежегодный ясный результат. И есть опорная база в виде многолетнего опыта соседних землевладельческих хозяйств. А на лесное дело надо приглашать знающего инженера с дальней стороны, знакомого с промышленностью и коммерцией. Главное, однако, было в другом. Для начала крупного лесного дела надо иметь немалый капитал, а где его взять? Продать часть лесных угодий?

Но что останется? К тому же, цены на лес, словно перед крупным предложением, упали к осени, хотя этого Михайловский никак не ожидал. В последние годы леса по северным границам губернии тощали, а местные вырубались на дальний и ближний вывоз. Уже немало дворянских лесных дач пришли в полное запустенье, а от некоторых знаменитых дубрав и званья не осталось — новые владельцы, сплошь сняв вековой лесной урожай, сдали их в аренду под распашку. По предположению Михайловского, в этой полустепной уже местности лес на корню перед зимней рубкой должен был дорожать, а он дешевел и не было спросу. На погашение долгов владельца совсем за бесценок пошел под топор хороший липнячок в соседней волости, а в уездной управе сказали, что приезжал в экипаже некто из Самары и мимоходом поспрошал о путиловском лесе — на случай ежели кто в губернии поимеет интерес, самому-то заезжему без надобности. Услышав, что молодой наследник будто бы сам намеревался завести лесное дело, раздумчиво покачал головой, поджал губы и уехал...

Верно, знобко стало в сквозном лесу. Лунными ночами изрядно прихолаживало. Михайловский продолжал умываться утрами в ручье, это бодрило, но дочку приходилось уже кутать и Надежду Валериевну следовало пожалеть — беременность ее сделалась несовместимой с неудобствами охотничьего домика. Камин почти не обогревал, сколько ни топи, все тепло тут же улетучивалось через прямоход большого сечения и по полу сильно тянуло от двери.

— Переезжать! — решил Михайловский, возвратившись однажды поутру с ручья.— Журавли потянули...

В Самаре Михайловские сняли довольно дорогую квартиру с меблировкой — просто не было возможности другую искать. По настоянию домовладельца, моментально учуявшего, с кем он имеет дело, заплатили аж за полгода вперед, по рекомендации взяли горничную, кухарку и увидели, что денег хватит на зиму, но не более того. И только-только все устроилось и улеглись обычные переселенческие треволненья Надежды Валериевны, как заявился к Михайловскому посетитель, словно караулил. Это был старый грузный еврей с белой трясущейся бородой и мелко дрожащими сизыми озябшими руками. Долго и униженно суетился, никак не соглашался присесть. Нет-нет, я зараз уйду, господин Михайловский, позвольте представиться вашей милости — Платков или просто Мойша, меня в горо-

де знают Мойшей. Только спросите — Мойша-самоварник, и я тут.

— Садитесь, садитесь, Моисей...

— Яковлевич! — обрадовался старик.— Да, Моисей Яковлевич, но если вы так скажете, никто не поймет, меня тут двадцать пять лет Мойшей знают. Мойша я, Мойша я и есть! Это Семена Илларионовича вся губерния величает, прошепчи «Семен Илларионович», и достаточно.

— Что за Семен Илларионович? — поморщился Михайловский.— Впрочем, простите, чем могу служить?

Старик уже освоился несколько, тяжело сел на стул, подвинутый Михайловским, вздохнул глубоко и облегченно, утвердился.

— Да-а-а,— задумчиво протянул он.— Ах, Дмитрий Азарович, Дмитрий Азарович! После него уже таких людей тут немае.

— Вы знали Путилова?

— Застал еще... Только приехал и сразу попал в его дом по случаю — вся губерния до сего помнит.

— Что за случай? — из вежливости полюбопытствовал Михайловский.

— А госпожа, значит, будет внучка Дмитрия Азаровича?! — восторженно воскликнул Платков, увидев в дверях Надежду Валериевну.— Доброго здоровья желаю и счастливого прибавленья семейства! Рассказать за вашего дедушку попросили, вот я и...

— Рассказывайте, рассказывайте,— смущенно разрешила Надежда Валериевна.— Да вы садитесь, садитесь...

— Только приехал в Самару с Волыни — не знаю никого, в правах лишен, денег нет, дела никакого нет. Иду по улице, никого не трогаю. Тут выбегают из ворот и тащат. Кричу и плачу: «За что, люди добреньки? Я ж ничего не зробил!» А они тащат. Затащили на веранду, там господа сидят, чай пьют с вином. «А, жида привели»,— говорит такой громадный и толстый господин, дедушка ваш то есть, глядит на меня, и моя душа — в пятки, хотя знаю, что по закону мне ничего не должно быть, я никого не трогал и в Самаре по закону. Дмитрий Азарович пальцем указует на пол, где стоит самовар, да как рявкнет: «Ложись и дуй!» Испугался, однако стою. Хоть и ссыльный, а гордость свою хочу показать, человек я или кто. Бить, думаю, за что меня, да и могут по закону ответить. Тогда дедушка ваш достает четвертной билет и дает мне: «Дуй!» Вы полагаете, я взял? Нет, хотя

денег ни копеечки в припасе, а мне ссылку начинать. Дальше такое было! Я бы не говорил, да все одно узнаете, по губернии-то помнят. Путилов смотрит на меня и четвертной этот билет в самоварную трубу — шусь! Достает второй, подает мне. «Дуй, жидюга, носом дуй!» И обратно деньги-то в трубу. Подносит к трубе третий билет. Я стою как мертвый. Дворня меня толкает в спину: «Дурак, лови свое счастье!..» А я стою и думаю: «У меня же трое детей». Нет, дальше рассказывать не стану. А госпожа простит меня за такой мой язык...

Сменившаяся с лица Надежда Валериевна поворотилась и ушла. Михайловский проводил ее встревоженным взглядом и, грешным делом, подумал, что, быть может, обнищавший старик пришел просить что-то вроде отступного за старое надругательство над собой, потянулся было к бюро, чтоб закончить побыстрей этот странный визит, спросил:

— Собственно, вас привело..?

— А землица, извиняйте, ваша, верней сказать, лесочек...

— В чем дело?

— Слух прошел — продавать будете. Нет, не я, мне уже ничего не купить... Есть покупатель, долго вас ждал. Еще говорят — сами хорошего покупателя шукаете.

— А вы тут, простите, с какой стороны?

— Мойшу послали — Мойша пришел.

— Почему же не пришел сам покупатель?

— Так у нас не бывает, господин Михайловский. Покупатель платит, а дело ведет Мойша. Что остается бедному еврею?

— А что ему остается? — поинтересовался Михайловский.

— А что ему остается! Ничего ему не остается. А вы деловой человек, если так спрашиваете! — старик хитро прищурился.— Конечно, Мойша имеет свой интерес, берет за комиссию, а что ему остается?.. Так как же, господин Михайловский, насчет лесочка?

— Пока я еще ничего не решил. Прикидываю,— сказал Михайловский.— Возможно, часть продам.

— Часть — не выйдет,— замотал головой гость.

— Отчего?

— Не возьмут на сруб, скажут, выгоды нет. Скажут, много лесу нужно свалить, чтобы оправдать наем, рубщиков и сплавщиков. А какой у них процент с затраченного

капитала в банке осядет — николи не узнаете, господин Михайловский... Ну, я пойду пока себе, вы, господин Михайловский, думайте на какую-нибудь сторону.

Платков приезжал еще раз, но Михайловский все еще не решил, что делать со своим лесом. Когда он думал о нем, саднило в груди, но трезвые расчеты показывали, как наивен был Михайловский, так увлеченно мечтавший открыть в губернии обширное лесное дело. Постройка даже небольшого хутора обошлась бы в восемь — десять тысяч рублей, а ему надо было строить производственные, конторские, бытовые помещения. Побывал он у нескольких торговых агентов Самары. Нужные ему машины легко было выписать даже из-за границы, однако вложение капиталов тогда превысило бы все его мыслимые возможности.

* * *

В управление Сызрань-Оренбургской дороги он вошел с волнением, несколько неожиданным для себя. Вот ведь, казалось, и окончательно бросил службу, и увлекся уже новым делом, а стоило увидеть этих людей в кителях, уловить в их разговорах знакомые термины, на час оказаться в привычной железнодорожной суетне, и все прежнее вспомнилось, зазвучало.

В большой, но все равно тесной, сплошь уставленной конторскими столами комнате, где Михайловский устроился на стульях у окна с тарифными справочниками и таксами, разгорелся спор о сызранском мосте через Волгу. Михайловский, с утра отыскивая в бесконечных столбцах цифири нужные ему сведения, потом заинтересовался совсем ненужными общими показателями грузооборота, потом решил упростить и упорядочить стихию данных, подведя ее под «формулу Николая Чарыкова», чтоб уловить перспективы дороги, и даже не заметил, как комнату наполняли эти люди, и сейчас с интересом прислушивался к голосам, испытывал тихое удовольствие от того, что понимает точки зрения спорящих и улавливает оттенки мыслей каждого. Совершенно ясна и слишком знакома была общая ситуация — приехала какая-то инспекция из Петербурга, важный и острый разговор выглядел чересчур запоздалым — сейчас все, по известной железнодорожной традиции, крепки задним умом.

— Это не мост, а пробка в гигантской бутыли!

В роли оппонента выступал крупный господин с массив-

ной головой над квадратными плечами. Он был в немалом чине, держался подчеркнуто солидно, и малоподвижное лицо его не выражало ни волненья, ни досады, ни внимания. Равнодушно выслушивал горячие тирады, самоуверенно и как-то неохотно ронял слова, будто делал одолженье присутствующим. Он изо всех сил старался не поставить себя в положенье оправдывающегося. Михайловскому со стороны было видно, как умело скрывалось это старанье, и он даже позавидовал такой выдержке.

— С самого начала было видно, что это не просто переход Волги, а первый мост из Европы в Азию и обратно!

— Мост строила Европа, исходя из своих расчетов и возможностей! Азии же он еще долго не будет нужен.

— Нет, Константин Яковлевич, давать вашему мосту имя государя-императора...

— Прошу не касаться августейших имен, это лишнее. Давайте о деле.

Вот оно что! Это же Константин Яковлевич Михайловский, строитель первого моста через Волгу! Проезжая весной через Волгу, Николай Георгиевич не удержался и загодя высунулся из окна, чтоб лучше рассмотреть самое крупное мостовое сооружение России. После Сызрани, тесно забитой товарными составами, дорога вырвалась на волжское побережье, пошла под уклон, машинист начал торопливо притормаживать, потому что беспорядочно залязгали буферные тарелки. Показался просторный серо-грязный разлив, поезд вошел в плавную тысячесаженную кривую, и мост сделался виден. Красив он был, однако, ничего не скажешь! Непривычной длины пролеты казались гигантскими по сравнению с крохотными мостовыми переходами, которые строил он в Молдавии и на Кавказе. И вот мост гулко загремел. Полноводная весенняя Волга текла глубоко внизу, сжимаемая массивными каменными быками,— ясно, без тяжелых и дорогих работ не обошлось. Широкие полотна несущих ферм пестрели тысячами аккуратных заклепок, и ему, помнится, тогда стало весело, хорошо от басовитого грома, от вида этого крашеного железа, столь красиво организованного трудом сотен инженеров и тысяч рабочих. Тогда еще он обратил удивленное внимание на очень узкий мостовой проезд. Да, как ни странно, разъездные пути располагались на станциях далеко перед мостом и за ним, а движение осуществлялось в одну колею. Стало понятно, почему Сызрань была забита крытым и платформенным порожняком. А мост был тем не

менее на редкость красив и прочен! Правда, он быстро выбросил тогда из головы мимолетное впечатленье, а сейчас все вспомнилось красочной и озвученной картинкой.

— Кто именно исходил из имеющихся в то время возможностей — это открытый вопрос,— услышал он голос Константина Яковлевича, подчеркнуто спокойный, уверенный, с некоторым даже поучающим прижимом.— А что мост еще десятилетия будет справляться со своей функцией, бесспорно.

Неожиданно для себя Николай Георгиевич вырвал из блокнота листок с цифрами, вскочил и положил его на стол, за которым сидели руководители управления, приезжие инспектора и Михайловский. Чиновник, любезно подобравший посетителю коммерческие книги, в ужасе приподнялся и не спускал с него расширенных глаз.

— Что это? — поднял квадратные плечи Михайловский, бросив взгляд на записку.

— Динамика хлебных и мясных грузов! — выпалил Николай Георгиевич.— На десятилетия и перспективу, исходя из сегодняшнего годового оборота.— И вышел, провожаемый недоуменными взглядами.

Чиновник выскочил следом.

— Ах, как нехорошо! Как вы посмели, господин э-э-э...

— Михайловский.

— Михайловский?

— Да, да. Только другой, так сказать.— Он засмеялся.— Еще неведомый, избранник... Простите меня, ума не приложу, как получилось.

— Но вы прежде сказали, что помещик, а в нашем деле, как я понял, ориентируетесь свободно.

— Нет, я инженер путей сообщения. Вернее — бывший, и когда-то специально занимался увеличением пропускной способности.

— А сейчас?

— Не служу... Еще раз простите. Благодарю вас.

Дома Николай Георгиевич рассчитал, что круглогодовая подвозка лесной продукции до станции Чарыковская и доставка ее сухогрузом в Самару будет накладной. Сызрань-Оренбургская железная дорога, проложенная по дикой степи и еще более неосвоенным и безлюдным просторам, была пока убыточной. Перевозя в основном сезонные грузы, она находилась в тяжелом и противоречивом финансовом положении — установленные высокие тарифы, частично окупающие дорогу, сдерживали развитие

обширного края, льготный же тариф, привлекательный для клиентуры, лег бы бременем на ее финансы. Как же хорошо, что он решился навсегда бросить всю эту неразбериху!

Несколько дней, однако, Николай Георгиевич нет-нет да вспоминал о своем посещении железнодорожного управления. Только досадно, что состояние дороги задевало его будущие интересы.

Но не только в нем дело, будь он проклят вместе со своими химерическими планами! Впрочем, зачем уж так о себе? У него в руках потенциальное богатство — золотые леса, которые можно при его энергии обернуть на промышленное развитие этого края, на пользу общества. Хватит, как при Владимире Красное Солнышко, брать у леса только дрова. Однако не получится, видно, из этих планов ничего практического, и одна из косвенных причин — большая погрузочно-транспортная стоимость лесных товаров. И неужто богатство, редкое по здешним местам, взращенное природой, будет пущено на ветер, пойдет по дешевке вульгарным бревном, полностью изничтожится там, где природа и труд человеческий могли бы неопределенно долго снабжать просыпающийся к жизни край нужными продуктами? Почему естественно-необходимый процесс развития государства должен протекать столь мучительно? В чем причина таких чудовищных просчетов, как, скажем, этот одноколейный Александровский мост? Величественное и дорогое сооружение впервые связало в среднем течении великой реки надежным непрерывным путем два берега. Правда, что главный путепровод круглогодового действия между Европой и Азией! Такой мост строился на века, но через несколько лет после его пуска он оказался тесным. Едва разбуженный паровозными гудками, край уже не проходит своими грузами в это сужение. Что за тупые головы придумали такую затычку? Земляную выемку можно расширить, скалы разломать, но стальные фермы не скопаешь и не взорвешь! Что за страна Россия — этакая губительная узость при ее-то просторах и силах!

— Ника,— услышал он мягкий голос Надежды Валериевны,— Ты присядь...

Зима припоздала, и Михайловский, поотвыкший от нее на Кавказе, с нетерпением ждал первого снега и мороза. Они всегда входили в его душу очистительной свежестью

и в нем подымали какие-то новые силы, должно быть, из запасов не растраченной еще юности: с началом зимы хотелось куда-то шагать и делать что-то большое. А эта осень слишком уж затянулась, сырые, сумеречные будни ее становились тягостными.

Нежданно-негаданно порадовал покров — последним бликом жаркого лета явилась запоздалая сухая погода. Волга прояснела до самых дальних заводей, над степью разошлась мгла, и Михайловского потянуло туда — к вилючему, донельзя разъезженному в непогоду проселку, к редким золотым скирдам, к четкой, словно прочерченной рейсфедером, линии горизонта. Он решил навестить свой лес и окрестные деревни попутно, чтоб окончательно подтвердить решение, медленно и неотвратимо зревшее в нем.

Лес давно сбросил свои осенние наряды, только на вершинах подростковых деревцев в чем душа держались последние листочки. Не просохшие после дождей липы стояли совершенно неподвижными, черными, будто охваченные дремой и печалью. Из глубины липняка, где сгущался растушеванный по чернолесью мрак, тянуло холодной сыростью погреба. Дубы выглядели как-то обреченно. Казалось, их становые, под стать иным деревам, сучья вот-вот обломятся от собственной тяжести, а жесткие узластые разводы на будущий год уж не выдержат нового олиствения. И березняк, осыпавшись, враз убрал свой веселый нрав, помертвел. Аспидные просечки на меловых стволах ранили глаз контрастной и трагичной черно-белой пестротой. Кроны берез, словно проштрихованные чертежной тушью, были так легки с виду, что чудилось, будто их может сдуть первым порывом ветра. Даже сосны зябко сжались под стынущим небом и ровно похужели в своих статях. А может, и лучше, что этот безмолвный лес отчуждался постепенно, собираясь уйти из жизни, прощаясь с травами, землей, ветром, небом и хозяином своим?

Все еще надеясь на невозможное, Михайловский заехал в ближайшую деревню. Староста в ответ на любое слово, скривив рот и щеку, отчего один глаз его совсем прикрывался, другой еле глядел, твердил свое:

— Не до лесу, барин, не до лесу нам. Все посохло, как мужик перезимует, уж не знаю, как повысохло все, ничего не собрали.

— Значит, на зимнюю лесную работу легче будет народ повернуть?

— Уж и не знаю, как тебе сказать, барин, у каждого своя голова. Если не сушь эта, были б с хлебом, и тогда говорить бы можно, об чем ты, барин, пожелаешь... а так христарадничать пойдут которые, по кусочкам пойдут, барин, и детей отправят...

— Но я же их работой могу обеспечить!

— Работой не прокормишься, хлебом прокормишься,— староста все с тем же идиотским прищуром оглядывал Михайловского.— А он, хлебушко-то, будет ноне в б-а-альшой цене!..

Бабы у колодца присоветовали Михайловскому хожалого да разбитного мужичонку, знающего будто бы всякую деревенскую работу — и лапти плести, и лесок свести, и, господи прости, чужой стожок свезти. Как раз Михайловский и застал хозяина за ковыряньем лаптя. В темной избе было тесно от ребятни, окружившей отца, да двое разновозрастных еще в зыбке лежали врозь головами, пуча глазенки на скрипевший очеп. Мужик разгреб рукой детишек, привстал с удивленьем и необъяснимым испугом, к которому Михайловский, посещая крестьянские дома, никак не мог привыкнуть. Он с интересом смотрел на руки мужика, которые как бы независимо от хозяина продолжали ловко перебирать лыко. «Как ты жил? Почти весь твой народ, десятки миллионов людей носят эту древнюю обутку, а ты ни разу в жизни не носил лаптей и никогда не видел, как они делаются». Мужик заметил направленье взгляда гостя, быстро заговорил:

— Зимние вот лапоточки плету, ваше сиятельство... Ребятенков у меня сам видишь сколько, ваше сиятельство... И шустрые — страсть! Лапти так и горят.

— Я не сиятельство,— обронил Михайловский, рассматривая нехитрый инструмент мастера.— Вот ты сказал «зимний лапоть», а чем он отличается от летнего?

— Гляди! — с веселой готовностью взялся объяснять мужик.— Энто семерик, зимний тоись, зачин у него семью лыками, чтоб, значится, ширьше пошел, под портянку. А летний мы зовем шестериком. И колодка ему другая, гляди!

— Поговорить бы надо.

— Надоть, так надоть,— отряхивая сор с колен, сказал мужик.— Пошли, на дворе-то вольготней... Кыш, бесенята!

— Я хозяин этого леса.

— Признали... А лыко, оно, конешно, из вашего лесу.

А где еще взять? Лес тут один остался, на все про все один. Что жа — штрафуйте, все одно денег нету! Вот пушшу детей по снегу за кусочками, а сам где ни то заработаю.

— Не уродило?

— И-и-и, до рождества не хватит.

— Что же делать будешь?

— Жену и детей, значится, по миру, а сам в отход. Кому печь скласть, кому сани починить, руки есть — заработаю!

— Староста говорит — хлеб дорог будет.

— Старосте — что? Он хлебушко-то свой ссыпал, ждет, когда в цене подымется.

— У тебя не уродило, а у него уродило?

— И-и-и, он землицы нахапал — я те дам! Полдеревни ноне убирало. И какая земля! У нас и в добрый-то год плохо родит, а он с наших дворов назём на свои деляны свозит.

— Почему же вы свои наделы не назмите?

— А! — безнадежно протянул мужик и сжал пальцы в кулак.— Он тут нас вот так от вот всех взял. Кулак он и есть кулак... Молоти мужик! Я-то хоть умею любую работу — и лесную, и по двору, и по дому.

— А ты луб, например, можешь готовить? — спросил Михайловский.— Верней, мочало.

— Как же! Драл. И крыши крыл, и короба вязал, и рогожу ткал. Этта надо снять с липы лубья вострой палкой, вложить один в другой — получится, по-нашему, скала. После того скалы везти на мочище, валить в кучи, поверху листом и томить дён этак с десять, пока лубья не подопреют до красноты. И в воду, притопя, конечно, колодами либо камнями. Пускай лежат. А в бабье лето доставать надо, и отдирать мочалу от коры кочедыком. После сушить на ветру и в дому, разбирать, какое куда — на рогожу ли, на мешки ли, на лапти, на банную мочалку. Много делов! А остатную кору, лубодер по-нашему, обратно в воду на год, и тогда с нее самое что ни на есть подкорное мочало можно взять. Делов много.

— А деготь ты гнать умеешь?

— Корчаги чугунные надобно. А нет, так и яму с деревянным срубом. Берестовой скалой заградить. Внизу сток для дегтя дощатый, сверху бересту песком засыпать. На песке — огонь. Жар через песок выгоняет деготь, вот и вся премудрость.

— А сколько нужно ободрать средних берез, чтоб пуд бересты получить?

— Средних-то? Дерев сорок.

— Сорок? — задумался Михайловский.

— Не мене... Это дело пойдет, где лесов много. Работа не тяжелая, только черный делаешься, как сатана.

— Ну вот, скажем,— приступил Михайловский к главному,— ты мог бы пойти ко мне на всякую лесную работу? Мужиков подобрать умелых. Ты за десятника, на хорошую плату.

— За мужиков не скажу, я не пойду.

— Отчего?

— Не могу. Потому как лыко, к примеру, драть весной, а тут сев. Бересту тож в мае берут... Нет, не выходит, земля не отпускает.

— А если землю бросить?

— Как это? — насторожился мужик.

— Продать. Моя работа прокормит. И летом и зимой.

— Землю бросать нам никак нельзя.

— Она же у тебя не родит!

— Не родит! Землю бросать! Не-е-т. Без земли мужик кто? Никто! Земля, она — все!

— Ну, какая у тебя-то земля! Выпахана и мало ее, наверное?

— Какая ни на есть, а земля,— истово сказал мужик.— Без земли пропадем... На землю вся надежда...

«Продавать лес,— окончательно решил Михайловский и по дороге в уездную управу клял себя за наивность, смеялся над своими летними хозяйственными фантазиями.— Прощай, мой золотой лес! Жаль тебя, но что поделаешь?» Надо другое, совсем другое — продать на корню и купить землю, она и вправду надежней. За такой лес он выручит немало, как бы ни сбивали цену какие-то невидимые покупатели. Хорошо бы с готовой постройкой найти землю, ну, конечно, вложить в нее остаток вырученного капитала, чтоб она сразу дала прибыль. Не может быть подряд два года неурожайных.

В управе он документами подтвердил, имение свободно от долгов и закладных, будет продаваться по вольной цене, а он срочно ищет продажный земельный надел, чтоб с весны заняться посевом.

— Путь известен,— скептически сказал ему тот же ахалтекинский герой, видно от безделья все дни проводивший в управе.— Мойшу-самоварника прежде найдите.

Он и мне посредничал. Обмануть не обманет, но себя, конечно, не обидит. Слышали о нем?

— Платков? Заходил.

— Как же! Чует за сорок верст. Кстати, он от вашего рода уже получил кое-что.

— Именно? — поинтересовался Михайловский.

— Путилов ему когда-то пятьсот рублей ассигнациями дал за то, что он самовар носом раздул. Мне сам Мойша рассказывал. Дую, говорит, и думаю — как дуть? Если сильно — самовар быстро закипит и мне денег меньше достанется, а тихо — Путилов эти деньги в трубу. Ха, ха! Действительно, как было в его положении дуть?

— Да, вопрос,— невесело заметил Михайловский, вспомнив реакцию Надежды Валериевны, представившей тогда себе унизительную сцену.

— С тех самоварных денег Мойша и начал. Под проценты давал, потом посредничать взялся, комиссионные брать. А к Путилову он вскоре своего племянника Давида пристроил. В оркестр. Хороший, говорят, скрипач был. Путилов после хорошего возлияния и кричит: «Дмитрия!» Он его, уже здорового парня, силком окрестил в богдановской церкви. И сам, говорят, был крестным, а на роль крестной матери будто бы годовалую телку в церковь загнал. За осквернение храма на него писали в синод, только свидетели все опровергли и священник покрыл... И вот Давид играет, а Путилов плачет... Путилов!..

В Самару Михайловский возвращался железной дорогой. По времени был еще день, но из-за Волги надвинулись грязно-серые тучи, сделалось совсем темно, и кондуктор вагона зажег вонючие керосиновые фонари. Ровно три года назад по пути из Одессы в Петербург Надежда Валериевна говорила, что в немецких поездах уже устанавливают электрическое освещение. Когда же новинка дойдет до этого меридиана? Из-за плохой балластировки и жестких рессор вагоны трясло и болтало на уклоне, как таратайки. Ну хоть шпалы-то подбить можно было вовремя! А теперь дожди, потом морозы — полотно начнет размывать, пучить и корежить... За окном, в сумеречной дали, плыли увалистые степные просторы. Жидкая стерня почти сгнила на черных пашнях. Едва угадывались в темноте редкие скирды, и от них, через этакое расстоянье и вагонное стекло, будто бы доносило влажный прелый запах. Почему не свезли посуху? Такой плохой год, а хлеб

пропадает... Записать бы эту картину для пробы пера... Или лучше пока держать все в памяти, дожидаясь своего часа?.. Неминучий разор местности, эту сиротеющую землю, обреченный лес, Путилова и Платкова, случайные деревенские встречи, его отношенье ко всему этому — бессильный гнев, невыразимо тягостную тоску и едва теплящуюся надежду. Да, и слова приметные, коренные, непохожие на книжные, какими он думает и пишет. Это удивительно — кочедык!..

Непроглядные тучи обложили небо и всей своей толщей медленно подвигаются на север, к бугульминско-белебеевскому поднятию. Дождь то усиливается, проходя серой полосой по полям, то притихает и будто бы нехотя сеет на темный круп лошади, исполосованной кнутом, на мокрый, грубого тканья азям возницы, посеребренный мелкими капельками, на зонтик нахохлившегося Платкова, из-под которого тот смотрит окрест печальным вороньим глазом, на капюшон старого изыскательского плаща Михайловского, вывезенного с Кавказа. С раннего утра они едут по полям в плохоньком экипаже Платкова. Михайловский бесповоротно решился. Надо было теперь посмотреть путиловский лес и назначить ему ориентировочную цену.

Михайловский оглядывает пустые, заклекшие от дождя поля, мокнущие скирды, чей-то щербатый лесок в туманной мари, далекую колоколенку над невидимой деревней и тоскливо думает, что станет со всем этим краем через много лет, уйдет ли отсюда бедность, придет ли спасительная новизна и какой она будет, если придет.

— Ничего не останется,— слышит он монотонный голос Платкова.— Все прахом пойдет, охо-хо...

Старый еврей говорит и говорит, переживая свое, Михайловский пробует слушать, временами из вежливости вставляет слова, но Платкову этого, видно, не надо,— он сам себе объясняет свои горести, спрашивает себя и отвечает себе, а иногда, погружаясь в туманы своей души, совсем невнятно бормочет, не слушая своих слов...

Ничего не останется. Ни на что надежды нет, а в молодости надеялся, молился, только и было во всей жизни, что молился, талмуд читал да соблюдал законы. А законы что? Закон кто как повернет. При беззаконии какие законы? Троих малых детей надо было как-то растить. Охо-хо, как худо было. Выросли дети, и все бы хорошо, да, так нет! *Было худо, думал — хуже не может быть, и стало сов-*

сем худо. И когда стало? Когда бросил даже на проценты деньги выдавать... Дети настояли,— ученые дети, охо-хо, говорят, что неловко...

— А как вы сюда-то попали, Моисей Яковлевич?

— Да я же сказал — худо было, ох, как худо. Троих малых детей кормить надо? Надо. Да родственники совсем бедные, сироты-племянники. Это тут я начал с тех проклятых самоварных денег, а там дед с отцом ничего не оставили мне. У людей наследства, а у меня пшик, а жить надо... Ну, был виноват — сослали. *Болело сердце за старой родиной,— другое солнце там, другие люди,— переболело... Двадцать пять лет прошло, и привык: новые места новой родиной стали.*

— Ну, а каким трудом вы тут занимались?

— Говорю же — как все, по закону. *Жил, маклеровал при продаже имений, на проценты деньги давал... А разве русские не дают? Русские хуже еще: еврей трефного не ест, а русский всего сразу и с сапогами проглотит... Семен Илларионович четвертую часть в губернии земли дворянской проглотил и не подавился: двести тысяч десятин...*

— И как он хозяйствует?

— Сами видите, что с этой губернией стало. Вы говорите — «хозяинует», а как он хозяинует?.. *Вырубил леса, уничтожил усадьбы, сады, как Мамай прошел по земле, тройную аренду за землю назначил, крестьян всех нищими сделал, в кандалы заковал, все проклинают его... А кто проклинает его, старого еврея? За что проклинать? Что купил там золотую брошку у барыни, которую удалось ей спасти, когда Семен Илларионович описывал ее имение и всю движимость? А когда случилось перед самыми торгами уже найти вдруг покупщика по вольной цене, Семен Илларионович разорвать готов был старого еврея и кричал: «Пропадем от жидов!» А жидов-то всего десять человек на всю губернию, и богатства всех за одну селедку купить можно, а губерния разорена... А скажешь — правды не любят: «Ты еще рассуждать: погоди, дай срок, жидюга проклятая...» А тут дети выросли, выучились, писать стали в газетах: еще хуже озлились, а все на его старую голову...*

— Мне говорили, будто у вас, Моисей Яковлевич, деньги хорошие водятся.

— Деньги? Какие деньги? Откуда у старого еврея деньги?.. *Другие люди пришли, другие порядки... То к нему ходили за деньгами, а теперь сам ищет их, и нет денег: пропали все деньги, убежали из глаз, и не видно их,*

нигде больше не видно... Охо-хо... Так все переворачивается...

— Подождите. Мне, значит, солгали, что у вас имение?

— *Да какое там имение? Слезы одни... Хлеб собирать, сушить надо и продавать, или все сгниет. Приказчик ворует, а я еду тут... Трясет и болит печень, и опять пойдут через нее камни: доктор запретил ездить, приказал лечиться, брать теплые ванны. И ванну купил, и так и стоит в деревне: теперь где брать ванны? В семьдесят четыре года новая ссылка вышла, а за что?! Зачем покупал землю? Сколько мук было с покупкой!*

— Не разрешали?

— *До сената доходило дело: имеет ли право ссыльный еврей в месте своей ссылки покупать землю? Утвердил сенат купчую. Как и не утвердить? Надо же жить где-нибудь человеку...*

Михайловского утомила и дорога, и эти бесконечные, хотя и вполне объяснимые жалобы. Посреди большой деревни, которую они проезжали, стоял трактир. Захотелось выпить горячего чаю, пообсохнуть, посидеть и обогреться, а также на часок избавиться от разговоров Платкова, рассказывающего вообще-то интересные вещи, и надо бы не надеяться на память, записать кое-что, вдруг сгодится когда-нибудь, иначе все уйдет, забудется, пропадет колоритный и, быть может, неповторимый кусочек быстро меняющейся здешней жизни, от которой в каком-то смысле неотделима судьба этого старого еврея.

В трактире было накурено и шумно. Галдели, навалившись на столы, пьяные мужики, бегал с медным подкосом конопатый распаренный половой в белом фартуке. На вошедших никто даже не посмотрел, они сели в уголок. У Платкова был припас. Он угостил Михайловского селедкой, чесноком и луком, долго уговаривал выкушать водки с холода, но Михайловский отказался. Хотелось чаю и отдыха от тряски и слов. Только Платков все говорил и говорил. Подробно взялся рассказывать, какие он брал комиссионные раньше и какие берет теперь, как он честно ведет дела и никто на него не обижается. А лес нынче в плохой цене, лучшего ждать нечего, скорей продавать да покупать хорошую землю, и Мойша может найти приличное имение поближе к Самаре, к хлебному сбыту, зачем в такую глушь забираться, некоторые дворяне приспособились к новым временам, хозяинуют разумно и все у них есть, не то что у него, бедного еврея...

— Давайте спокойно попьем чаю, Моисей Яковлевич,— извинительно сказал Михайловский.

Но Платков захмелел с рюмки, и его невозможно было остановить. Он снова переключился на себя и свои заботы, начал уже забывчиво повторяться... Бросил все, купил землю, хотел хозяиновать, как дед когда-то на Волыни, когда держал имение в посессии. Хорошо тогда было жить. Бывало, по непаханой земле, заскородит только землю, и родит хлеб, какого нет больше. Взрослый работник — двадцать копеек... Можно было хозяиновать. Переменились времена: все дорого стало, и паханая не родит теперь больше земля...

И если б господин Михайловский мог бы помочь ему, Мойше! Ведь новая ссылка грозит старому еврею. Именье ему свое надо продать срочно. Нет, он не советует покупать его землю, Мойша честный, там земля выпахана, и реки нет, он найдет лучшую землю, и чтоб река текла, и строение в приличном состоянии, может и с обстановкой, с хозяйственными пристройками и садом. Только надо ему помочь, потому что минуло двадцать пять лет ссылки и вызвал Мойшу председатель казенной палаты. Говорит, что вышла милость — прощение и он, Мойша, больше не ссыльный, ему возвращены все права, и поэтому предписывается бывшему уголовному преступнику и ссыльному Платкову возвратиться в черту оседлости. *А все деньги в земле, в хозяйстве. Кто купит землю по вольной цене, когда все знают, что дойдет дело до торгов? А полиция гонит: уезжай. В первую гильдию хотел записаться, чтобы получить права: был под судом — нельзя. Пошел к Семену Илларионовичу: «Семен Илларионович, пристав в вашем доме живет, он вас послушает: скажите ему, чтоб позволили мне лишнее остаться, пока устрою дела».— «Я ничего не могу здесь,— сказал Семен Илларионович,— а и мог бы, не сделал. Как пишет твой Соломон? Врага бей. А ты мне не друг,— не был и не будешь». Что делать? Дети разлетелись кто куда: один за границей, другой в Сибири; новые времена, новые песни...*

Платков много раз еще приходил на квартиру Михайловских, плакался и плакал даже. При виде его у Надежды Валериевны разыгрывалась сильная мигрень, у Михайловского, отчаявшегося в своих попытках чем-либо помочь старому еврею, недоставало сил отказать ему от дома.

Зимой, сразу после рождения сына, когда в доме вдруг не стало денег, Михайловский срочно, не торгуясь, продал лес купцу Сибирякову, и покупатель сразу же пустил его под топор, чтобы по весне сплавить россыпью.

Лес ушел по неслыханно дешевой цене, потому что другой никто не предложил, однако выручено было достаточно для покупки приличного, как выражался Платков, имения. Усадьба по вкусу и средствам сразу же нашлась в Бугурусланском уезде, с постройкой, у речки, в восемнадцати верстах севернее Сергиевска. В купчей было означено почти две с половиной тысячи десятин земли, однако Михайловский ее под снегом не увидел. С покупкой имения появилась какая-то определенность и с нею успокоенность: Михайловский теперь твердо знал, что ему делать. А старика Платкова, которому Михайловский и за вторую сделку дал приличные комиссионные, отправили вскоре на Волынь через посредство урядника и понятых.

* * *

Избы в Гундоровке явственно делились на две стати. Крытые соломой — такой была почти вся деревенька — разнились только степенью своей ветхости. Все они были строены, очевидно, еще до воли, одинаково подались в землю на рыхлеющих нижних венцах, и только по крышам теперь можно было узнать, где живет семья совсем обедневшая, а где еще кой-как держится. Пышные желтые шапки покрывали всего две-три избы, издалека белея свежестругаными прикладками. На остальных солома послежалась — зачернела и даже зеленью взялась, просела по скатам. Кое-где коньки прогнулись, сгнившие застрехи переломились, уродуя закраины крыш и по серым стенам обозначились темные потеки. Виднелась изба, покрытая наполовину — хозяину либо сил не хватило закончить дело, либо пожег зимой солому. А эти крыши совсем пришли в запустенье — свисали пласты лежалой соломы, скелет из стропил-тычков и подкладной горбыльной решетки обнажился. И были еще жалкие избенки без крыш — зрелище слишком уж тягостное. Они, наподобие полузаброшенных черных бань, что тянулись вдоль речки, сгнивали на глазах, уходили в землю, прижимаемые тяжелым земляным покрытием, на котором зазеленела первая весенняя травка.

А полдюжины, не более, гундоровских изб были крыты тесом и отличались друг от друга достатками и вкусами

своих хозяев. Стены одного дома, рубленного в лапу, для красоты сгладили теслом. Лбище другого было не подшивное, а бревенчатое, третий был расцвечен снизу доверху в разные, не успевшие еще выгореть краски.

Дом крестьянина состоял из двух частей — изба, где висели образа, стоял обеденный стол, лежаки, табуретки, и чулан за печью, где хранились кринки, чугуны, чашки-ложки.

Через сени можно пройти в холодную подклеть, в которой помещались припасы и всякий ненужный домашний скарб.

Апрель в том году выдался, словно далекое лето еще для пробы подкинуло весне своего жару — два-три горячих заволжских денечка, от которых и пошла эта ранняя благодать. Речки бежали полные, собирая из-под лесов и полей невидимые воды, деревья гнали к почкам обильные соки, земля дышала прохладой и влагой, проветривалась; можно было сеять овес, вспаривать пашню под хлеб. К севу Михайловский попросил скликать на деревне стариков, выставил нехитрое угощенье и пообещал заплатить им почти как пахарям.

Сидя среди них у крылечка, он слушал негромкий гомон — слабые, надтреснутые голоса с подкашливанием, хрипотцой и задышкой.

— Пора, пора сеять! По уму барин затеял... Молодой, а...

— Посеешь по грязи, выйдешь в князи.

— Конечно, пахать мы уже не в силах, однако, барин, засеем тебе — наподобие ворса взойдет...

— Кабы в этом годе снова суша не грянула, старики, по миру пойдет народ...

— У вас тут тоже была засуха? — спросил Михайловский.

— И-и-и! — воскликнул один из стариков.— Хлеба только-только показались — тут и осеклись. Ни одного, почитай, дождичка! Бедные, тянулись-тянулись струночкой в однобылку, потом совсем пожухли...

— А пораньше посеешь — побольше возьмешь.

— Ты нам уважил, и мы тебе уважим.

— Нет, старики, не по-хозяйски.

— Конешно, барин, от копейки никто не отказывался, только ты сбавь уж плату. Да ты не смейся, не смейся, а заплати по совести!

Старики с удивлением смотрели, как барин захохотал, откидываясь назад, и никак не может остановиться.

— Надя! Надюрка! — кричал он в глубь веранды.— Иди-ка сюда!

— Что такое? — спросила молодая чернявая барыня, появляясь в дверях с полуулыбкой на лице.

— Ну ладно, ладно, потом расскажу,— сказал Михайловский, все еще смеясь, заметив, что деды насторожились и будто бы изготовились обидеться.

Очень интересный, оказывается, народ тут живет!..

Надежда Валериевна ушла в дом, унесла свою чарующую полуулыбку, от которой у Михайловского всегда светлело на душе. Он повернулся к гостям:

— А у меня, старики, к вам есть вопрос.

— Станови.

— Вот я вспахал. Завтра, выходит, начнем сеять. Вы сами говорите — пора.

— Пора, пора, как же! В аккурат.

— Но почему же тогда деревня еще не сеет?

— Да как сказать...

— Говорите, как есть.

Старики умолкли, и он выжидательно переводил взгляд с одного на другого.

— Ясен-то ясен...

— Почему все-таки не сеют крестьяне, если время?

— Кой-кто все ж таки начал...

— Да кто там начал-то? — загалдели старики.— Кто?

— Оно вроде и пора, но вроде и обождать еще можно.

— Знаешь, барин, у каждого своя голова...

— Кто соху чинит, кто в экономию поехал семян просить...

— Кто на озимые ржи надеется — зеленя-то были добрые...

— Я своему зятю три дня уж долблю, уж долблю, а он мне: «Молчи, ты свое отсеял!» Вот и поговори с ними, молодыми-то.

— А мой сын сказал, что барину пахал, тебе то ись. Говорит, как в старину — прежде барину, потом уж себе.

— Но я ему сверх меры заплатил семенами,— возмутился Михайловский.— Вам же сеять совсем нечем было!

— Вот я и говорю — глупый. На помол мешок целый свез...

— Ты, барин, правда, встрелся б с мужиками да поучил бы их маненько, дураков...

Когда Михайловский рассказал жене, как старики просили назначить им плату по совести, она засмеялась, а на глазах ее показались слезы. Он убрал их поцелуями, взволнованно уверяя Надежду Валериевну, что здесь, среди т а к о г о народа, они будут счастливы и не зря проживут свои жизни — отдадут ему все, что смогут отдать.

Назавтра старики явились чуть свет — в чистых посконных портах и рубахах, новых лаптях, с легкими и вместительными лукошками. Он выехал с ними в поле. Старики живо нагартовали с воза семян, выстроились вдоль проселка и дружно, словно по команде, взялись отмашисто креститься. Потом склонились будто в последнем поклоне, продели через плечо лямки, запустили правые руки в зерно и замерли, выжидательно глядя на барина.

— С богом! — догадался Михайловский, махнув рукой в сторону поля.

Старики пошли. Тут же над их головами солнце брызнуло первым своим слепящим лучом. Он смотрел на белорозовые удаляющиеся фигуры, на золотистые веера зерна, которое сеялось ровной россыпью в пашню, дышащую ночной свежестью, на солнце, выжимающее из глаз счастливую слезу, и думал, что картину эту и святость момента он теперь уже не забудет вовек.

Попробовал было сам сеять, да не вышло — тяжелые шелковистые на ощупь зерна летели то кучно, то редко, не то что у стариков, после которых ни полукружий, ни рядков не углядишь, сколько ни всматривайся, только по рыхлым, округленным следам лаптей можно было узнать, где шли севцы. Решили не портить поля, а к осени обязательно завезти из Самары сеялку. Хорошо бы французскую — надежней. И назмить надо эту выпаханную, обедневшую землю, назмить и назмить, пока она не возродится. К немцам-колонистам стоит съездить, посмотреть, повыведать, понять, почему это у них лучшие в округе урожаи. Да подсолнухом занять на будущее лето десятин пятьсот, а то и побольше, он тут выручит при любой засухе...

Хозяйственным заботам да работам не было концакраю тем летом. И в Михайловском откуда ни возьмись проснулся дотошный интерес ко всему, что касалось поля и хлеба. Какая-то неведомая сила подымала Николая Геор-

гиевича еще затемно. Он выпивал стакан вчерашнего молока со льда и торопился на конюшню, где уже стояла оседланная лошадь, дожевывая из кормушки овес. Он любил взнуздывать ее сам, ласково гладя коня по горбатому носу и лоснящейся шее.

Хорошо было встречать солнце в поле, где всходы ровно укрыли землю и ни одна из двух с половиною тысяч его десятин не пустовала. Хорошо! В конце мая прошли добрые дожди, насквозь пробившие уже иссушенный пахотный слой, и травные хлеба пришлось потом полоть со тщанием.

Не раз он непроизвольно начинал драть полынь, никак не мог остановиться, и руки потом долго пахли горечью — ни деготь, ни душистое казанское мыло не отбивали этого стойкого горького запаха сорного поля и знойной степи. Словно природного крестьянина, его радовало, что пшеница дружно вышла в трубку, выколосилась и взялась наливать. Еще раньше выметался овес, заходил под ветром перекатной зелено-сизой волной. А вот и просо закистилось. Будет хлеб!

Михайловский радовался зреющему хлебу безотчетно, не задумываясь над тем, где и в чем таятся истоки этой безудержной радости. Может, в нем вдруг заговорила кровь какого-нибудь его далекого предка-хлебопашца, поднявшего когда-то своей сохой тучную ниву на самом краю Дикого поля? Или в нем неожиданно проснулся инстинкт собственника — хлеб ведь всегда был и всегда, должно, будет на Руси мерилом жизненного благополучия и богатства, а уж хлеба-то у него по осени, бог даст, соберется предостаточно. Нет, он никогда не был и не будет никогда наживалой! Возможно, что после краха его иллюзий на инженерной службе этот грядущий хлеб давал ему своего рода нравственную подпорку — вот так, просто и предельно честно, без обмана кого бы то ни было можно жить и быть счастливым своими трудами. Осуществлялась, по сути, его коренная идея, главная цель, какою он задался, решившись осесть на землю и заняться хозяйством,— он должен хотя бы себе доказать, насколько люди глупы, растрачивая силы на пустую борьбу между собою и ослабляя друг друга в борьбе с природою. А объединенные усилия, направленные на извлечение благ из природы, приведут к общему благоденствию. Лично его задача локальна и скромна. Рядом с ним живут четыреста русских людей. Они бедны, неграмотны, ослабли под бременем тяжкой жизни. Он

должен возродить к новой жизни эти четыреста человек. Пусть это будет мелочью в океане народной жизни, это ему по силам. Вокруг останутся миллионы несчастных, но об этих миллионах есть кому думать.

«Цели, которые мы решили преследовать в деревне, сводились к следующим двум: к заботам о личном благосостоянии и к заботам о благосостоянии окружающих нас крестьян... Мне хотелось помочь им перенести центр тяжести борьбы за существование на природу».

* * *

Раньше, когда помещик был в силе, а купец ее только поднакапливал, скрывая, еще даже опасаясь ее, хлебный торг велся так. Приезжие хлеботорговцы появлялись в своих давно облюбованных местах сразу после покрова дня.

Хлебный закупщик, годами ведущий тут дела, хорошо знал, какие у помещика земли, в какой год и сколько с них было собрано хлеба, какого количества и качества урожай лежит в помещичьих амбарах. Учитывали и куда более деликатные вещи — разлады в дворянских семействах, тяжбы меж соседями, долги, привычки и слабости каждого из своих партнеров. Держа себя скромно и тихо, объезжал усадьбы, примерялся к ценам, исчезал на две-три недели и снова появлялся, назначая для пробы непомерно малую плату за пуд. В попутных разговорах без конца сетовал на обильный повсеместный урожай ведущих торг с англичанином и немцем, на жадность петербургских перекупщиков, на плохие свои финансовые дела, уклоняясь от прямого ответа, весь он закупит помещичий хлеб в этом году или только часть его. К решительному разговору о цене купец приступал уже после рождества, когда помещик пропадал от безделья и зимней тоски, катался на тройках, гулял и опохмелялся, и купец приноравливался к знакомому владельцу хлеба, пытался умилить его каким-нибудь занятным подарком, размягчить своим унижением и терпением, потачкой любому куражу. Помещик ломался, запрашивал слишком высокие цены, зная, что купец уже арендовал мельницы и зафрахтовал баржи.

Еще неделя-другая, и цены, перетолкованные сто раз, устанавливались окончательно, начинался общий вывоз хлеба к сызранским, самарским, сальским, свияжским мельничным поставам, на мелкие, сплошь перепруженные реки

и речонки, по берегам которых помол хранился в буртах до ранней весны, когда пешнями и топорами окалывали лед вокруг барж, а по Волге начиналась его трескучая подвижка.

Зачинали и быстро кончали свое дело крючники. Купец выставлял им водку сверх денежной платы и мясного приварка, хмельная голытьба с охами и матерками таскала тяжеленные кули, подымая их на плечи с помощью острых железных крюков, привязанных к вожжевым веревкам, в сумерках дрались с гулеваками-бурлаками — рота на роту, и купец должон был ставить братцам, черт бы их побрал, ишо ведро зелья ради ихнего замиренья.

По берегам и в затонах дотаивал белый, как сахар, волжский лед, вода спадала, чистела, и плывущая по ней подсолнечная шелуха будто просветляла ее с каждым часом.

Бурлаки, те догуливали последние денечки. Получив на руки купецкие задатки, они покупали провожавшим их бабам и ребятишкам нижегородского ситчику да астраханских сластей, допивались в царевых кабаках до зеленого змия и, оторванные уже от домов и семей, сбредались в темноте к баржам, чтоб отоспаться на рогожах либо на кулях с мукой-крупой, а то и прямо на буртах засыпанного матросского гороха.

Купец не спал ночей, моля господа открыть Волгу, чтоб эта золотая рота скорее впряглась в лямку да под проклятую свою звериную песню поволокла баржу на желанный Рыбинск, поближе к петербургскому хлебному торжищу, где надобно держать ухо востро — там хитрован сидит на хитроване и хитрованом погоняет. Эх, ишо бы баржонку-другую нарядить! Капитал позволяет. А через два-три годика пароходишко бы завесть свой с железной машиной внутри! Озолотишься...

Дворяне, даже не пытаясь приспособиться к новым веяниям, во всем полагались на своих управляющих, которые вели хозяйство через пень колоду. По весне, когда оттепель, Михайловский наезживал к соседским помещикам. В округе у него налаживались знакомства хоть и далекие от какого бы то ни было приятельства по разности возраста, взглядов и целей — однако же любопытные и небесполезные. Соседи беднели на глазах, все еще пытаясь жить на широкую ногу, как в старые добрые времена. Ох, уж эта доброта старых времен! Она была даже слишком избирательной.

Впервые в жизни этой весной Михайловский с незнако-

мой ему ранее определенностью и конкретностью задумался об источниках прежних достатков местного дворянства. Основой всякого богатства была природа и человеческий труд на ней. Земля, лес, луг, хлеб, просо, конопля, лошадь, овца, корова, соха, топор, прялка, и при всем этом обыкновенные человеческие руки.

Иногда он ловил себя на том, что с необъяснимым вниманием рассматривает руки крестьян — изработанные, грубые, в черных трещинках, такие сильные, когда он здоровался с ними, и такие тяжелые, будто в ладони эти перешел вес овсяных кулей, бревен и навильников лежалого сена.

В старые добрые времена крестьяне добывали сырье, а дворовые перерабатывали его в соленья-варенья, шитво и всякий хозяйственный припас. Денег у помещика при деревенском житье расходовалось мало — разве что на свечи, соль, перец, корицу, мыло да чай. Мужик давал хлеб, фураж, лес, бабы пряли, ткали, вышивали при лучинах. И почти у каждого богатого помещика были мастеровые, что могли сложить эффектный камин, прилепить к дому затейливую антресоль, пошить для господ невесомые юфтевые сапожки, соорудить расписной выездной экипаж. Да чего только не умел делать русский крепостной человек! Писать маслом картины, резать дорогой камень, разыгрывать греческие трагедии, танцевать в кордебалете. У Путилова совсем будто недавно содержался лучший по губернии оркестр, исполнявший Моцарта и Мендельсона. Дворянские семьи выхвалялись друг перед дружкой голландскими бриллиантами, французскими духами, персидскими коврами. А уж как кутил-то «бояр plocc» за границей, какие драгоценные безделушки перепокупал, каких дорогих куртизанок содержал — и единственно для того, чтоб ахнул, хотя бы притворно, привыкший ко всему на свете Париж...

Несчитанные деньги для такого безудержного мотовства брались отсюда — от этой вот паханой-перепаханой земли, ныне обедневшей соками, из таких вот рук, почерневших и очерствевших в тяжелой работе. И дело состояло не в том, что сказочно богатые просторные земли были некогда подарены их владельцам, а рабочая сила разобрана ими в качестве бесплатного приложения к природным дарам. Сам труд — и крестьянства и дворни — был до невероятия дешев. Практически он был д а р о в ы м . И что же это все-таки за чудо — русский язык! Ведь слово «даровой», в точности определяющее характер труда

крепостных, образовалось от слова «дар». Ах, как счастливы русские писатели!..

Михайловский думал о судьбах России, ее народе, об истории, настоящем и грядущем.

Немало народов в древние времена жили грабежом — при захвате чужих земель они вывозили все, что можно было увезти. Землю и реку не увезешь, лес и луг тоже. Они брали то, в чем предельно концентрировался труд покоренного народа,— золото, драгоценности, дорогие изделия мастеров. Вывозились сами мастера, красивые женщины, угонялся скот и людская рабочая сила. Позже грабеж принял иные формы. Он не раз встречал людей образованных и воспитанных, не любящих, однако, России. Они видели в укладе русской жизни только дикость и серость, проникающую все и вся отсталость, с благоговением смотрели на Европу, особенно те из них, что получили образование в Германии либо Англии. Таков был Осинский, с которым связала свою судьбу Оленька Чарыкова.

Осинский умел работать, знал себе цену, у него Михайловский многому научился. Как инженер он был весьма полезен для дела, но его отталкивающий цинизм во всем, что касалось идеалов, возмущал Михайловского до глубины души.

«Идеалы? — переспрашивал он взволнованного очередным спором Михайловского и произносил холодно, издевательски, без какого-либо намека на смех: — Ха-ха-ха».

Однажды, когда в конец изнемогшие после трудового дня инженеры и рабочие с тупым усердием ломали в низинке сухой ивняк для костра и таскали солому, раздергивая свежую скирду, Михайловский увидел интересный закат. Густая марь на румынской стороне пригасила солнце, которое весь день палило белым огнем, будто бы неподвижно стояло в вышине, выжигая землю и небо в округе. А сейчас большой и близкий малиновый, твердо, будто по транспортиру очерченный над горизонтом полукруг быстро утопал. Он бы словно являл собою единственную деталь природы, выполненную с инженерной точностью. Все остальное — низины, взгорки, все переходы рельефа на сегодняшних двадцати пяти верстах — было стихийно-беспорядочно, извилисто-изломисто, неопределенно зыбко. Даже их мучительница трасса, плод инженерного труда, могла пройти и так и эдак. Михайловский после полудня схватился с Осинским, убеждая его для сокращения хода

пометить линию по слабо выраженным взгоркам — минимум земляных работ, а укорот версты полторы. Тот, однако, не полез на покатости, повел дорогу долинкой, где ее трассировать было намного проще, а партия получала эти легкие полторы версты в свой дневной прибыток. Михайловский, как практикант, работал на мизерном месячном окладе, а Осинскому начисляли версты, и он с обычной своей ухмылкой сказал, что он даже студентом уже не был таким наивным...

— Солнце-то, солнце! — вскричал Михайловский, только Осинский даже не поднял с соломы головы, устало и невпопад пробормотав: «Да, рублей на сорок сегодня прошли, не меньше...»

Осинский отбрасывал, как пустое и никчемное, все, кроме дела, рассматривая его, однако, единственно с точки зрения денег, что с неоспоримой, осязаемой реальностью сразу оценят его немалый и, надо сказать, квалифицированный труд.

— Россия? — переспрашивал он Михайловского.-— Родина? Бросьте. Для меня везде родина. А к России я равнодушен — я ей ничем не обязан... Пожалуй, вначале я ненавидел ее, когда она мне закрыла дорогу в жизнь, а теперь безразличен...

Будущий свояк Михайловского мог забыться в работе и даже довести себя до полного изнурения, если точно знал, что за этим последует мзда, соответствующая такой растрате его сил. Он был способен работать под палящим молдавским солнцем от зари до сумерек, когда уже становятся неразличимыми деления на лимбе теодолита, приказал для удобства вечерних работ покрасить белилами переносные рейки и протирать их каждый день керосином. Осинский спокойно обходился без обеда, жрал всякую дрянь, чтобы не тратить дорогого часа на дневной костер. Михайловский, случалось, по его примеру вместо обеда ломал в поле еще незажелтевшие кукурузные початки и с отвращением жевал сырые зерна, брызжущие теплым и безвкусным молочным соком. Они месяц тогда не мылись и не меняли белья, завшивели оба хуже рабочих, как вспомнишь — бр-р-р...

Павловский был совершенно другим. Ветку на Батум Общество Закавказских железных дорог тоже должно было протянуть как можно быстрее, получив правительственный заказ и кредиты. Постройка следовала сразу же за изысканиями, чуть ли не совмещалась с ними, а кое-где не

только совмещалась, но даже вне всяких правил и законов опережала их. Рабочие начинали валить могучий буковый лес на косогорах там, где вешки кончались, продолжали пилить по наитию десятника, а трассу потом Михайловский намечал выше или ниже просеки, чтоб на этом сложном горном участке сопрячь кривые, и отсюда скандалы, пустой труд и лишние средства. Михайловский целыми днями мотался в седле по крутым тропам с одного участка на другой. Лицо горело от жары и ударов веток, спина и ягодицы немели с непривычки, под вечер ноги не шли, подламывались и спотыкались о камни. Он так уставал, что даже терял аппетит, прибегая к единственному своему верному союзнику — сну.

Павловский же любил и умел жить в свое удовольствие. Работал он всего несколько часов в день и еще ухитрялся во время работы поговорить с любым, оказавшимся под рукой собеседником о женщинах, табаках, винах, охоте, о французской и грузинской кухне. Обедал он в своем личном, как подчеркивал сам Павловский, ресторане. На окраине Батума стоял дом какого-то молодого богатого абхазца княжеских кровей, у которого служил замечательный повар-грузин. Отпрыск был связан с Павловским некоей тонкой зависимостью. Начальник строительного участка перекинул через какое-то далекое ущелье каменный мосток с береговыми устоями и одной опорой. Небольшое, но довольно дорогое сооружение возводили рабочие, нанятые на строительство железной дороги. Цемент туда шел из общего строительного склада. Сразу же после завершения строительства Павловский распустил артель, десятника под каким-то предлогом уволил. Мосток был оформлен как абстрактное подсобное сооружение, нужное для подвоза строительного камня и сразу же будто бы разрушенное ливневым паводком и оползнем. На самом деле крепкий мосток этот надежно стоял в сторонке от дорог, по нему ничего не возили, служил он для перегона скота этого князька на какие-то богатые, недоступные ранее пастбища. Павловский пользовался взамен экзотической кухней князя, который, как будто, оказывал инженеру и другие, более деликатные услуги — в холостяцких компаниях Павловский любил за рюмкой вина распространяться о прелестях жгучих турчанок, а однажды с гнусной мимикой знатока разболтался о юной негритяночке, которую, однако, долго пришлось мыть в бане, чтоб она не пахла.

В доме своем Павловский постоянно держал гаванские

сигары, восхитительное греческое вино, сласти. На стенах висела дорогая чеканка по серебру, полы были устланы пушистыми турецкими коврами. Пользуясь тем, что в Батуме действовало порто-франко, он купил прекрасную французскую мебель из Марселя, и Надежда Валериевна, чтобы не отставать, заказала себе точно такую. Вечерами Павловский приглашал к себе наместника и гарнизонное воинство с супругами, Михайловских, князя, двух-трех молодых инженеров. Он держал себя в доме, среди этой богатой, но в общем безвкусной обстановки так, будто оказывал большую милость приглашенным, пыжился, а после ужина безапелляционно уговаривал Надежду Валериевну занять свое место за роялем и с ужимками непризнанного уездного гения страдальчески пел тенором страстные романсы.

Больше всего, однако, он любил разговаривать разговоры. Коренной его темой оставались женщины, он был способен любую беседу свернуть на нее и, о чем бы он ни говорил, только и ждал, казалось, возможности поскорей вступить на знакомую, проверенную раз навсегда избранную стезю в общении с прочими людьми. При жене, однако, высокой, полной блондинке с кукольным лицом, сдерживался, и взамен выплывала еще одна тема — Россия. И этот, наподобие Осинскому, к месту и не к месту клял Россию за бедность, неустроенность, дикость, невежество, за темное прошлое и неопределенное будущее. Михайловский тоскливо слушал, и от того, что говорилось много верного, было еще гаже на душе. Нужно иметь моральное право предъявлять претензии к своей родине. Кроме того, в истории России было много достойного и славного. И разве это Россия отстала от Запада, а не Запад обогнал ее?

— Вы все время говорите о следствиях,— не выдержал он,— и считаете русских виноватыми в том, что они отстали от европейцев.

Павловский оборвал свою речь на полуслове, будто споткнулся на ходу.

— А вы имеете свое мнение?

— Смею его иметь, уж извините... Начать хотя бы с того, что наши далекие предки, пропустив когда-то сквозь себя полчища азиатских пришельцев, позже встали стеной против второй их волны и защитили тех, кто теперь сделались европейцами.

— Это была глиняная стена,— язвительно вставил Павловский.

— А глина — в принципе неплохой материал, вязкий и

плотный,— поддержал Михайловского наместник и поощрил его: — Излагайте, излагайте, пожалуйста.

— В этой стене были и каменные бастионы, и железные задвижки, и...

— Гнилые проломы,— опять вставил Павловский.

— Да не в этом суть! Есть непреложный исторический факт — несколько веков русский народ был восточным щитом Европы. Она, естественно, развивалась, а мы истекали кровью. Устояли! Потом сами пошли с берегов Днестра, Оки, Волхова и Верхней Волги на север, на юг и далекий восток.

* * *

Двенадцать лет. Как один день прошли эти годы, и лишь недавно она заметила в нем перемены — его сердце не сказать чтобы остывало, оно, умудренное отцовством, стало гореть поровней, ум склонялся не к накапливанию впечатлений, как это было раньше, а скорее к размышлениям, глаза приобретали привычку останавливаться вдруг и рассматривать что-то невидимое. К весне совсем побелели у него виски, и она сама словно постарела за зиму, хотя увидела куда меньше его, а он, оберегая ее, слишком скупо рассказывал.

Он-то видел все той страшной зимой тысяча восемьсот девяносто первого года, когда в окрестных деревнях правил своей костлявой рукой царь-голод.

Время, однако, усыпило боль, сильное сердце растворило и растолкало по крови горький осадок несбывшихся надежд, и, въезжая по первому снегу в губернию, он с удивлением отметил, что это уже не саднит; другое, неотвратимо-зловещее обступает его со всех сторон; не то заместилось новыми заботами, не то излечилось одним чудодейственным лекарством, которое он недавно открыл в себе самом: надо было открыться, предельно правдиво рассказать об этом всем и отчуждением боли от себя приблизить это к людям и таким образом самому приблизиться к ним.

Под белыми, как саван, снегами лежали мертвые поля, среди безмолвных сугробов стояли жалкие русские и чувашские поселения...

Опустелые улицы, заколоченные избы, свежие, не успевшие потемнеть от солнца и дождей кресты на погостах. И люди. Недвижимые бабы с распухшими лиловыми лицами.

Иссохшие черепа стариков с ввалившимися ртами и белым хрящом, что проступал сквозь истончившуюся кожу ушей и носов. «Не емши, не емши!» Восковые детишки, ни в чем не повинные маленькие человечки, с большими, как у его детей, глазами небесной голубизны, с тоненькими, в ниточку, шейками, с полатей и еле слышными, за густым тараканьим шорохом, шепотками: «А щепку сосу, мамка дала...» — «Мама влезла на печку, сказала — ох, девочки, устала я, и больше не слезла, померла»; «Маманя наша спит, третий день спит. Не буди, пущай поспит»... Мужики, заросшие зеленым волосом, с мутными слезами в морщинах. «Пропадем!..»

В деревне, где стоял его благоприобретенный дом, люди уже становились зверьми. Потерявший себя от голода тридцатилетний мужик все трогал нож, клал на место, снова трогал: собирался прирезать детей, как курчат, сам — благослови господь — на большую дорогу. «И крестника моего прирежешь?» — «А что?» — ответил. Назавтра мужик слег в тифу и через неделю умер, осиротив восьмерых девочек и мальчонку, крестника.

Голодный тиф косил избу за избой, деревню за деревней. Съездил он к чувашам, за тридцать верст, да лучше, может, если б не ездил — по доброму, нераскатанному зимнику, под светлым этим, божественно ясным месяцем. Из рассветных сумерек деревня проступила, лихо въехали в нее, да так и встали. Ни огонька, ни дымка. Напрасно ловили ухом хоть какой-нибудь звук — звонкий морозный воздух не доносил ни петушиного крика, ни мычанья коровы, ни собачьего бреха даже. На многих избах не было крыш — знать, скормили солому скоту, а стропила пожгли.

Хрусткий синий снег лежал вокруг колодца — и ни одной тропочки к нему. Зашли в первую избу, вторую, третью: все — от мала до велика,— сгорело в тифозном жару, и хоронить умерших было некому.

В стылых сенцах он запинался о твердые, как бревна, тела взрослых, а по печам курных изб дрожащие пальцы натыкались на теплых еще ребятишек. Он с трудом заставлял себя входить в эти зловонные склепы. Спичка чадно вспыхивала, зажигая холодные жуткие искры на черном бархате стен, и тут же гасла. Всю зиму и много лет спустя он будет слышать ночами стоны, хрипы и бред умирающих и молчанье тех, кто отмучился, будет видеть стеклянные глаза и смертный оскал мертвецов,

свои трясущиеся от страха руки, всю жизнь казниться за свой отвратительный эгоизм трусливо и благополучно уезжающего себялюбца, помнить это безграничное омерзение к себе, своим спутникам и даже к сытым своим лошадям...

Только твоим омерзеньем никто не насытится, не излечится, от стыда твоего никто не воскреснет. Как и чем искупить глубокую вину перед этим великим народом-страстотерпцем и несчастными его детьми? Он раздавал голодающим деньги, не думая о том, кому и сколько дает, в сочельник понес по деревне г о с т и н ц ы .

Прошел весь порядок, в крайней нищей избе оставил последнее, что у него было. Там лежала мертвая женщина, а ее маленький мальчик неотрывно смотрел в окно на звездное небо и страстно ждал богоявленья, пришествия Христа. Нервы гостя не выдержали, он разрыдался и бросился домой. Она прижимала его голову к себе, лила тихие слезы, и дети их плакали подле. «Надо ехать в Самару, к губернатору, писать в газеты,— шептал он,— надо что-то делать!» И она уже знала, что д е л о снова возродит и окрылит его. Нет, он нисколько не изменился!

MtJTbiAJ, to сть. 1

* * *

Стройка ушла за Симкинский перевал, начала подвигаться к Златоусту, а следом наступило затишье. Исчезли вереницы подвод, ставшие столь привычными глазу. Они, бывало, тянулись от зари до зари красивыми гибкими лентами по взгоркам, пропадали в низинках и возникали на следующем бугре прерывистым продолженьем нескончаемого каравана. Обозы с камнем и землей двигались медленно. Скрипели колеса и дуги, лошади натужно гнули шеи, храпели. Возчики яро матерились, работали свистящими кнутами, поталкивая плечами короба. И редкие жеребята, неотступно сопровождающие кобыл, смирнели на взгорках, недоуменно приостанавливались, будто приглядывались к тяжелой своей участи.

Порожняковый поток тек повеселей. Жеребята игриво прыгали вдоль него по зеленым увалам, тонко кричали, встревоженно и нежно кобылы откликались, а возчики молча отдыхали на трясучих телегах.

А по всей линии слышались нестройные крики. Грубые, хриплые, испитые и крепкие молодые голоса, свежие, веселые и злобные, знакомые и незнакомые.

— Ишо паддай! Ишо разок!

— Замес давай, замес! Стоим же! Этак на шкалик не наработаешь.

— На горилку-то заробим!

— Тебе б только на горилку.

— Та що! Це вирно! Хто где пив, тамя е!

— Куда прешь, скотина! Рази не видишь, кладка!

— Намудрили! Инженеры, туды вашу...

Нанятый Михайловским ухватистый шепелявый старичок, притормаживая ремнем вал, чтоб не вырвало его из гнезд и не разнесло тяжелый камень, ловко точил заступы, топоры, зубила, бурильные сверла, лопаты. Камень искрил вкруговую, шепелявил, как бы подражая точильщику, шуршал, шипел. Инструмент всяк по-своему пел на камне, и от пенья его, от всей попутной музыки Михайловского временами охватывал, словно дирижера в патетическом финале, какой-то внутренний восторг.

Бухали на речной отмели железные чушки, загоняя сваи в мокрую гальку, басовито откликалось эхо в горах. Над рекой выбирали в скале полку, и сверху осыпался перестук тяжелых молотков и кувалд, тонко звенели каленые зубила. Издалека, оттуда, где пришивали к шпалам рельсы, доносился дробный перебор костыльных молотков, будто горох сыпали по крыше. У речки, невнятно поборматывающей на крутом сливе, беспрерывно работало точило с приводом от водного колеса, устроенное по чертежу Михайловского. Он любил бывать у своего детища.

Михайловский с рассветом убегал на стройку и возвращался, когда последний звук ее смолкал. Весь день он мотался по участку, то на подводе, то верхом, то пешком — скорым своим полубегом, ругался с десятниками и подрядчиками, подгонял себя и других. Это не было ему в тягость — изыскания наваливали на человека такую сверхнагрузку, что любой труд потом казался чуть ли не отдыхом. Тут хоть можно было пообедать на ходу с артелью грабарей или камнекладов, а там, в лесу-то, все укуской да всухомятку, если даже вспомнишь про обед. Неизбывная тоска по изысканиям временами сосала его сердце, хотя в отдельные дни особо скорой стройки он счастливо ощущал себя центром событий, проводником горячего и нужного дела.

И вот все это внезапно кончилось. Комиссия приняла участок без особых претензий, небольшие отступления от расценочной ведомости были признаны обоснованными,

финансисты не обнаружили злоупотреблений. С особым любопытством все осматривали мостовой переход, подпорные стенки на берегах Юрюзани, где был сэкономлен казне ставший уже легендарным миллион.

После смерти дочери Михайловский с трудом приходил в себя...

Подступила уральская осень. Засквозило по долине. Сыро и холодно стало в редеющих окрестных лесах, и горы перестали манить к себе синими глубями. Непролазная грязь образовалась на улицах поселка. Закончив дела, Михайловский влезал в свои венские охотничьи сапоги. Широкие их раструбы он однажды в сердцах отхватил ножом и выкинул в форточку — эти щегольские украшения, быть может, уместные на ногах какого-нибудь австрийского любителя козлятины, здесь были так же полезны, как тирольская шляпа с пером,— только мешали ходить по лесу, горам и этой проклятущей слякоти. На другой день он, правда, подобрал выброшенные кожаные ботфорты, вырезал из них длинные лямки и пришил к голенищам — удобней стало натягивать сапог на ногу и вытаскивать его вместе с ногой из густой и глубокой грязи, которую никак было не миновать в темных проулках по пути домой, хотя он приспособился таскать с собою кондукторский керосиновый фонарь. Это допотопное устройство тоже нуждалось в усовершенствовании. Фонарь, чуть наклонишь, чадил в лицо едучим газом, оттягивал и занимал руку, нечем было цепляться за прясла и дощатые заплоты, что изломисто тянулись вдоль грязевых проямин и скользунов. Пробовал вешать фонарь на шею — не годилось, чад струил прямо в нос. Обмотал проволочную ручку тряпицей, чтоб ладонь так не резало, да заменил простое стекло на желтое — через него почему-то лучше светило сквозь туман и дождь. Тем и ограничился, притерпевшись.

Как-то под дождем фонарь начал гаснуть. Михайловский открыл дверцу со стеклом, снял с фитиля нагар, поболтал все устройство. Нет, не горело. По конструкции своей фонарь был непромокаемым, и керосину хлюпало в нем достаточно — просто, видно, фитиль кончался. Николай Георгиевич набегался за день по станции, ездил на линию — там в одном месте дождем намыло грунт и сбросило через подпорную стенку. С умирающим желтым огоньком кое-как добрался до дому, скинул на крыльце сапоги.

Он оставлял их на крыльце в ошметках грязи, потому что недоставало сил их всякий раз мыть, а Надежде Валериевне он давным-давно запретил трогать его обувь — сам всегда чистил и ваксил свои башмаки и сапоги. Эту же многострадальную венскую обутку он приводил в порядок по воскресеньям — полоскал в мутном ручье, бегущем по соседнему проулку, протирал, сушил и густо смазывал гусиным жиром.

Надежда Валериевна, как всегда, встречала его у двери.

— Ника! — воскликнула она, как ему показалось, встревоженно и недоуменно.— Ты никогда еще таким не приходил.

— А в чем дело, дорогая?

— Да как тебе сказать,— на лице ее впервые за последний месяц появилась знакомая полуулыбка.— Ты с кем-то сегодня целовался?

— Выдумаешь!

— Сознайся, сознайся,— настаивала она.

— Я забыл, когда в последний раз целовался даже с тобой.

И шагнул к ней, широко распахнув руки, однако жена увернулась.

— Успокойся сначала,— прыснула она в горсть,— ты же целовался с паровой машиной.

Михайловский подошел к зеркалу и тоже рассмеялся — усы и нос его были покрыты жирной сажей.

Коротать долгие осенние вечера к Михайловским собирались молодые инженеры. Все трогательно ухаживали за хозяйкой, играли в «винт», выпивали помаленьку, закусывали домашними соленьями, что хозяин еще посуху закупил в ближайшей деревне, доверху набив погреб тяжелыми слезящимися бочонками. Надежда Валериевна была рада этим посиделкам — они отвлекали ее от горя, боль, саднившая целый день в груди, вечерами отступала. А они становились все длинней и темней. Как-то незаметно народилось и медленно начало созревать чувство неудовлетворенности ими — куда-то в черный пустой мрак уплывало время. Она стала замечать, что слишком уж часто стали повторяться сослуживцы Ники в своих комплиментах, пусть даже искренних, чересчур охотно меняли любой разговор на молчаливое сидение за картами, а некоторые больно много пили, забывая закусывать, быстро хмелели, и мужу приходилось провожать их с фонарем.

— Как-то не так мы стали жить,— мягко сказала однажды Надежда Валериевна, проводив гостей.

— Ия замечаю, Надюра,— с готовностью согласился он.— Я делаюсь никуда не годным.

— Нет, нет, ты все тот же, и я счастлива, что ты наконец с нами,— торопливо заговорила она,— не лазишь по этим горам и не доводишь себя своими вариантами до исступленья. Но...

— Мне тоже хорошо с вами, только — пойми меня — высшей формой своей жизни я считаю изыскания! — Николай Георгиевич мгновенно запылал.— Я бы не хотел, чтоб ты сочла это за невнимание к тебе, ты знаешь меру моей любви, вернее, безмерность ее, и наше общее горе соединило нас всех. Но изыскания — там другое, совсем другое, независимое от тебя, и мне кажется иногда, что в них есть нечто могучее и таинственное, совсем независимое от меня и я — всего только орудие его. Там горит душа, кипит мозг и сердце бьется в унисон со всем миром.

— Понимаю, Ника...— заслушалась она.— Уверена, что ты прав, но жить так, как сейчас, мне становится все трудней.

— Да что там говорить — бездарная жизнь! Надо поломать все.

— Что тут можно поломать?

— Поломаю! Это я, дорогая, умел всегда.

И он, все еще не остывший от разговора, возбужденно ходил по комнате и строил в уме скороспелые планы их будущего. Ему грезились какие-то блистательные изыскания в тайге и горах, которые он закончит в необычные сроки, найдет идеальное решение в самых сложных участках трассы, наметит предельно приближенный к идеалу путь, заложит в профиль минимальные уклоны, а в план — плавнейшие кривые и, самое главное, удешевит дорогу в постройке настолько, что все ахнут. Это будет его вкладом в благоденствие Отечества. Он, если б ему поручили, перешел бы этой трассой Урал и, как Ермак нового времени, наметил другую дорогу в Сибирь, сделал бы этот край доступным, богатым и процветающим.

Он быстро перешел в свою каморку, где в последние месяцы столько чертил и считал, торопливо засветил настольную лампу, схватил из выдвижного ящика стопку бумаги, попытался представить себе хмурые равнинные

дали, сырые угрюмые дебри, изломистые горы неведомой Сибири...

«Сюда приходили наши предки искать себе славы. Только в таких местах, под впечатлением этой дикой природы, могли сложиться наши чудные сказки, только здесь могла проявиться та дикая, непреклонная воля, какою одарил народ своих героев. Здесь пролагали себе путь в панцирях и шлемах богатыри русской земли. Здесь прошли орлы Всеволода III, здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе. Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края...»

«Это», «этого», с издевкой подумал Михайловский. Нет, это газетная публицистика, надо хорошо обдумать, как приступить к теме. Нужен герой. Изыскатель. Как его назвать? И будто бы он так думает.

По давней привычке, связанной с минутами раздумчивой рассеянности или поисками какого-нибудь неотложного решения, он торопливо постучал обручальным кольцом о край стола. «Кольцов»? Пусть будет Кольцов! Может, надо изобразить, как группа инженеров во главе с Кольцовым ищет лучший вариант прохода через горы, описать столкновения с Константином Михайловским, то есть каким-нибудь руководителем, которого тоже легко придумать, битву за удешевление пути на участке и назвать все это —- «Вариант». Никто о подобном никогда не писал ни у нас, ни за границей, изящная словесность по всему свету будто нарочно избегает подобной прозы, в которой есть, однако, своя поэзия. Но это завтра. А сейчас — спать! Найдено дело, кажется захватившее его.

— Отчего не ложишься, Ника? — тихо спросила жена, приоткрыв дверь.

— Да так, знаешь, что-то надо будто бы поделать,— он неловко попытался загородить спиной наполовину исписанный листок.— Спи, спи. Спокойной ночи!

Это будет второе завоевание этого края. Пусть плохая публицистика, но надо как-то сформулировать свое кредо, исходные позиции. Ведь об этом никто и никогда не писал на всем белом свете!..

«И как Ермак некогда с ничтожными силами приобрел его, так и мы должны употребить все силы, чтоб уменьшить стоимость постройки дороги. Нельзя строить дорого, у нас нет средств на такие дороги, а нам они необходимы,

как воздух, как вода. Восток гибнет оттого, что не имеет дорог».

Он спрятал листки в стол, шагнул на кухню, ощупкой добрался до умывальника и сполоснул в темноте горящее лицо. В спальне начал раздеваться. Надежда Валериевна невнятно прошептала в полусне:

— Ника, хватит вариантов, Ника, угомонись, варианты кончились.

— Нет, видно, не кончились, Надюра,— счастливо засмеялся он, только она уже не слышала, дышала рядом ровно и тепло. А он вдруг вскочил, будто подброшенный пружинами кровати, зачиркал в каморке спичками, однако они искрили синим, шипели и гасли одна за другой и отвратительный запах потянуло по комнатам. Зажег наконец лампу, выхватил из ящика стола исписанные листки. Так и назовем то, что из этого всего получится,—«Вариант»! Хорошо, пожалуй. Просто. Просторно и по сути.

Потом он перечитал последние фразы написанного. Показалось, что он почти безупречно излагал дело, основу. Именно это волновало его больше всего в последнее время, томило неопределенностью ожидания, мучило неясным предчувствием перемен. Он представил себя на виду великой России, с душой, распахнутой для взгляда каждого обитателя необъятной родины своей. Непроизвольно поймал катающееся под пальцами перо.

«Да, нет выше счастья, как работать на славу своей Отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это — жизнь, это — напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви, что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием делаемой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь».

Он просто напишет, что думает и чувствует, и это тоже может стать д е л о м , нужным людям. Нужным, конечно, и ему, хотя бы для того, чтоб возродилась в нем прежняя вера в себя, чтоб вернуть эту веру в него вернейшей подруге, единственному в своем роде человеку, который его понимал иногда верней и тоньше, чем он сам себя.

— Да спи же ты наконец,— ласково произнесла Надежда Валериевна, когда он снова появился в спальне и ненароком громыхнул креслом.

— Ничего со мной не станет, дорогая! — горячо зашептал он.— И все изменится, все!

— Это я знаю,— отозвалась она, окончательно проснувшись.— И ты бы поступил решительно завтра же, будь у нас средства.

— Испепелились наши средства,— с легким сердцем сказал он, почему-то без прежней горечи вспомнив гундоровские пожары.

— Семь тысяч в год, что ты тут получаешь, мы сейчас нигде не возьмем,— покорно-печально сказала она.— А у нас дети... Да не щекочись ты своей бородой!

— Они, должно, и еще будут.

— Может, подождем? — Она робко и стесненно обняла его.

— А пусть будут, если будут,— шепнул он в ее пылающее лицо.

И вот все это внезапно кончилось. Мелкие недоделки на линии можно было устранить не торопясь, и они не мешали открыть движение по участку. Пошли поезда, чересчур редкие, чтобы заменить своим шумом и гудками то, что здесь было совсем недавно.

Михайловский всласть поспал, позанимался с детьми день-другой и почувствовал, как странное ощущение отчужденности от жизни властно охватывает его. Сознание свершившейся невозвратимой потери образовало в душе пустоту, которую было нечем заполнить. Иногда он садился за стол в своей каморке, перебирал старые эскизы и чертежи, вспоминал битву за вариант и материализацию его в каменную кладку, мост, насыпь и стальное полотно. Отболело все и отпало. Может, заботы большого мира захватят и вновь оживят его?

Нет, газеты надо читать по выходе, либо совсем не читать! События, уже отдаленные временем, сменялись другими, тоже канувшими в Лету, и если между ними можно еще было провести какое-либо сопряжение, то с живою жизнью, какою совсем недавно жил Михайловский, их связи были разорваны и не находилось средств соединить то, что интересовало газеты за последний год, с заботами больших изысканий и большой стройки. Пустые велеречивые столбцы заполняли страницы столичных газет. Бесчисленные рассуждатели судили да рядили о том о сем, но из этих рассуждений ничего не вытекало. Не было освежающих мыслей, которые снимали бы с глаз туманную пелену кажущегося повсеместного благополучия. Мелкие

события раздувались, какие-то тайны государственной жизни едва угадывались в пустых заметках официальной хроники, и все забивала собою непроходимая словесная пошлятина.

— Сегодня, друзья, «винта» не будет,— сказал в тот вечер Николай Георгиевич гостям, явившимся дружно, со своими бутылками.— Конец «винту».

— Отчего?

— В него можно ввинтиться так, что потом не вырвешься.

— Это верно...

— Рассаживайтесь-ка. Ты сюда, а ты — простыл, что ли? — давай к печке, к теплу, кашлем своим мешать будешь. Располагайтесь поудобнее! Кресла тащите из комнаты...

Он вскочил на стул, снял стекло большой подвесной лампы, протер его мягкой тряпицей и зажег фитиль.

— А что сегодня будет? Выпьем, похрустим огурчиками?

— Отнюдь. Все зелье я конфискую и сдаю на кухню.

— Это уже интересно! — с притворной радостью воскликнул Бергамаско.— Чай будем пить?

— Нет, я предлагаю почитать,— Михайловский взял с подоконника книгу, развернул на закладке.— Знаете, мы с женой как-то в Петербурге попалй на вечер, где читал Достоевский. Мороз по коже!

— А что он читал?

— Пушкинского «Пророка».

— А я даже не слышал о таком стихотворении.

— Но ты-то, Николай Георгиевич,— совсем не Достоевский.

— Да. И Пушкина читать не стану, он о железных дорогах не писал.

— Ты хочешь Некрасова? Знаем...

— Нет, нет. Все расселись? Ну, тогда слушайте. *«Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью...»* Что скажете? — Михайловский выжидательно взглянул на собравшихся.

— Между прочим, эти слова можно было бы тебе приписать,— обронил кто-то.

— Гм,— сказал Николай Георгиевич.— И дальше тут идет о железных дорогах.

— А ну-ка.

— Читай, читай!

— *«Напротив того,*— продолжал он.— *Я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленные богатства, скрывающиеся в недрах земли, и бесконечными караванами потянутся во все стороны».*

— Правильно пишет. Так оно и будет. Кто это?

— Здорово, здорово!

— *«Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы — почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданиям общества распространения полезных книг?»*

— Разумно.

— Слушайте дальше,— засмеялся Михайловский и с пафосом продолжал: — *«То-то порадуется русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын туманного Альбиона облечется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России — в Москве. Золотые маковки! Москва! Чье сердце не трепещет при твоем имени!»*

Г ости недоуменно переглядывались, и кто-то осторожно проговорил:

— Вроде бы из какой-то газеты.

— Однако весьма ядовитый господин,— заметил другой гость.

— А кто это? Что за автор?

— Это он не от себя излагает, а будто бы берет из одного любопытного официального документа. Ситуация такая — в Петербург приезжает некий провинциал, знакомиться с его, так сказать, общественной жизнью, и вот в один прекрасный день ему предлагают вступить в тайное общество...

— Может, не будем об этом, господа? — засомневался кто-то.

— Нет, нет, будем,— возразил Михайловский.— Это слишком интересно.

— Как-нибудь разнесется слух, что у Михайловских инженеры говорили о тайном обществе.

— Больше скажу,— засмеялся хозяин.—- Может, нам стоит вступить в это тайное общество?

— Нет уж, увольте от обществ!

— Что-то я не узнаю тебя, Николай Георгиевич.

— Да нет, подождите секунду,— хохотнул Михайловский,— Вы знаете, что это за тайное общество?

— Слушаем,— неохотно согласились все.

— «Вольный союз пенкоснимателей», который учреждается, как пишет автор, за отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени. Публикуется его «Устав» и, как положено, перечислены права и обязанности членов союза. Будем читать?

— Может, не следует?

— Читай, читай!

— Статья 1. *«В члены «Союза пенкоснимателей» имеет право вступить всякий, кто может безобидным способом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем более так называемых идей не требуется».*

— Ха-ха!

— Бесподобно!

— Однако же... Читай, сделай милость, дальше.

— Тут есть еще некоторые пояснения. Говорится, что союз не имеет никаких организаций, ни президентов, ни секретарей, ни даже обсуждения общих интересов и что каждый волен снимать пенки с чего угодно и любым доступным способом.

— Скажи же наконец, кто это пишет?

— Салтыков-Щедрин. Кто же еще? Последний из могикан...

— Ну, хорошо, а собственно, в чем заключаются обязанности членов этого союза?

— Обязанностей чрезвычайно немного.— Хозяин дома был нарочито серьезен.— *Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтоб никогда ничего из сего не выходило.* Далее идет просто великолепный пункт: *«По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать».* А вот еще: *«Пятое. Ежеминутно обращать внимание читателей на пройденный им славный путь».* И связанное с ним шестое: *«Обнадеживать, что в будущем ожидает читателя еще того лучше»...* И вот тут-то пояснение о железных дорогах.

— Да, солидные обязанности! — захохотали инженеры.

— И знаете, что я заметил, просмотрев целую кипу газет. Они скрупулезно следуют уставу!

— А я, пожалуй, пойду,— притворно зевнув, сказал один из гостей.— Дождь как будто начинается... Прощайте пока.

Михайловский весело посмотрел ему вслед и вновь раскрыл книгу на закладке:

— *«Осьмое. Всемерно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось».*

Гости дружно хохотнули, глядя на дверь, за которой исчез их чересчур осторожный товарищ.

— И последнее,— закончил Михайловский.— *«Девятое. Опасаться вообще».*

Снова засмеялись, а Николай Георгиевич, задумчиво переведя взгляд с двери на книгу, добавил: автор-де пишет также о том, что роль человека, опасающегося по преимуществу, далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда, и что в этой роли есть даже много трагического.

— Ну, хорошо, а каковы же права членов этого тайного общества? — улыбаясь, спросил Бергамаско.

— Есть специальный параграф о правах членов союза,— ответил Михайловский.— Он состоит из единственной статьи: *«Права членов «Вольного союза пенкоснимателей» прямо вытекают из обязанностей их. Посему и распространяться об них нет надобности».*

Сквозь смех послышались восклицания:

— Простите меня, господа, но это же черт-те что!

— Нет, просто блистательно!

— Подождите, успокойтесь. Николай Г еоргиевич, выходит, ты нам предложил вступить в этот союз?

— Господа, он ведь считал нас этими самыми пенкоснимателями.

— Почему «вас»? — возразил Михайловский.— Нас!

— Он забыл, как мы работали тут, как он сам работал!

— Нет, не забыл. Но то, что было, быльем поросло, а сейчас мы намного хуже любых пенкоснимателей! — Михайловский начал волноваться.

* * *

Толстовец не вел пропаганды, он просто был словоохотлив, не разубеждал никого и не спорил, а только твердил свое. Желающих поговорить с ним было много. Однажды Михайловский присел за спиною толстовца — его-то он знал: спокойное лицо с пшеничными волосами, стриженными под горшок, смиренный взгляд тихого фанатика. Михайловскому хотелось увидеть лица его оппонентов — техников, студентов, рабочих.

— Вы, стало быть, отрицаете железные дороги? — продолжая разговор, спрашивал какой-то юноша в студенческой тужурке путейца.— Как можно быть против железных дорог?

— Стройте, милости просим.

— Но вы-то тоже ее строите!

— Кормиться надо.

— И все же почему вы считаете, что железные дороги — зло? — запальчиво наступал студент.— Ведь они облегчают торговлю, обмен товарами, обеспечивают дешевые пути к железу, углю, золоту, новым землям, увеличивают власть человека над природой.

— А зачем ему эта власть?

— Ну, чтобы богатств прибавилось.

— Каких богатств?

— Чтоб люди жили лучше!

— Какея такея люди?

— Нет, положительно нельзя с вами разговаривать! Извольте прежде изложить свою идею.

— Никакой у меня этой самой, как вы сказали, идеи нету,— сказал толстовец.— Только я знаю, что ваши железные дороги повезут и ружья, и водку, и блядей, и властителей природы, что зачнут мучить ее и работников своих по шахтам да экономиям, в гроб загонять, лишь бы себе карман набить. А зачем? Опять капитал в дело пустить. Чтоб карман стал еще толще. Чем больше капитал в обороте, тем быстрей и выгоднее его приращение.

«Соображает! — подумал Михайловский, на минуту теряя нить разговора.— И вовсе не так прост этот толстовец. А мужики-то как слушают! Головами подались и не дышат. Что он еще такое говорит? А на кой ляд ему этот толстый карман? Вустриц жрать в три горла, парки заводить, породистых лошадей и собак, бриллиантики гулящим дамам презентовать. Да и сколь ни работай бедный люд, сколь богатств ни нарабатывай, все будет уходить в эту трубу. Как все равно печку топи, кидай в нее возы дров, а труба-то без вьюшки или без заслонки».

Наступило молчание.

— Выходя, будто мы с тобой печь топим, а зазря,— прокашлявшись, толкнул в бок своего соседа черный, сгорбленный, похожий на больного ворона, костыльщик и, оглядевшись вокруг, добавил: — Тяпло-то уходя.

— А скажи, любезный господин, супротив этого есть чего-нибудь аль совсем нету? — спросил сухонький мужи-

чок в лаптях и застиранной косоворотке, что, полуоткрыв рот и согласно кивая каждому слову, слушал разговор.— Средства какие ни то придуманы ль?

— Много средств придумано, да все негожи.

— Какие же, собственно, средства числите вы негожими? — снисходительно спросил студент.

— А не я, учитель наш граф Толстой числит.

— Что же он, граф-то, граф? — послышались голоса.— Насчет трубы-то? Аль чего другого?

— Первое средство немцы придумали. Высшая власть берет у богатых толику доходов и на низ, работникам. Как вам это средство?

— Нипочем не дадут! Возьми-ка поди!

— Много-то, ясное дело, не возьмешь,— подтвердил толстовец,— а что возьмешь — опять вверх уйдет. Граф Толстой говорил нам, когда мы у него сидели под дубом, что это средство вроде дамского веера над трубой — маши веерочком, он тепло вниз, много не нагонишь, а сколь нагонишь, столь потом все одно поднимается в вышину.

— Анархисты еще всякие есть, бомбисты, что против власти,— раздался из кружка слушателей негромкий голос.— В губернаторов стреляли, под царя бомбу клали.

— Пустое дело,— сказал костылыцик.— Все одно что трубу пальцем затыкать.

— Верно,— поддакнул толстовец.— А в Америке умники третье средство нашли.

— Говори, говори! Что за средство?

— Не так умное, как глупое. Бороться, дескать, между собою всем невыгодно — уходят силы и богатства зря. Надо работать сообща, дружно и делить прибытки поровну.

— А хорошо, если б все на том согласились,— воскликнул студент.

— Хорошо-то хорошо, да не бывать такому! — возразил толстовец.— Кто жил в достатке, нипочем не захочет его терять, а кто жил в бедности, будет тянуться к достатку. Граф Толстой говорит, что нельзя теплый воздух заставить не тянуться вверх, если труба открыта.

— И еще способа есть?

— Почитай, все.

— А ежели, к примеру, трубу разобрать или сковырнуть к чертовой матери? — спросил костылыцик.

— Дым глаза выест, а тепло все равно будет уходить

в пролом.— Толстовец, не глядя ни на кого, поднялся и собрался было уходить, только его не отпустили.

— Погодь, любезнейший, погодь! Выходит — и у тебя, и у твоего графа тоже нет средствов.

— Есть.

— Какие же?

— Всеобщая любовь. Когда вместо блага себе люди будут делать благо и другим. Тогда и железная дорога, и власть над природой будут добром, а не злом. Изначальное же средство — задвижка на трубе, чтоб тепло не уходило, а равномерно распределялось на всех.

— А кто станет распределять?

— Само.

— Нет, нет, постой! Само не пойдет. Ты же говорил — люди разные. Вот социалисты хотят, чтоб управление перешло в руки нас, рабочих, и чтоб мы же справедливо распределяли заработки — твое тепло то есть.

— Так же плохо будет, как сейчас.

— Почему?

— А работы будут, которые станут давать заработок? Те же дороги железные вы будете строить?

— Конечно, но эксплуатации, угнетения рабочих, злоупотреблений на них не будет, потому что распоряжаться всем будут сами рабочие!

— Значит, из рабочих выделятся распорядители, имеющие власть?

— Именно так.

— Вот они и будут нас эксплуатировать. Останется власть — останутся и злоупотребления.

— А почему же на нашей стройке,— встрепенулся студент,— господин Михайловский, будучи распорядителем работ и денег, не злоупотребляет?

— Он один такой,—сказал толстовец.— За ним я и пришел сюда. А другие — другие...

— Разве на этом строительстве есть злоупотребления? — подал голос Михайловский, и толстовец обернулся, от неожиданности сменившись в лице. — Говорите, говорите, пожалуйста.

— Есть, Николай Георгиевич. Один инженер нечист на руку. За вашей спиной карман себе набивает.

— Кто такой? Говорите.

Толстовец назвал фамилию инженера, подтвердив давние подозрения Михайловского.

— Мы устроим ему суд, приходите все. И вы! И вы! И

вы! Всех приглашаю. А к вам,— обратился он к толстовцу,— у меня есть один вопрос.

— Позвольте, если я в силах.

— Ваш учитель граф Толстой — великий русский человек, гений в писательском ремесле. И несомненно — он хочет добра всем людям. Только я не вижу для его идей точки опоры. Не знаю, что делать практически. И если он уповает на стихийные процессы, то сколько же столетий ждать их конца, когда все станут жить по правильным нравственным законам?

— Не знаю, что сказать вам на это.

— И далее. Вот он учит ограничивать потребности, вести скромную жизнь, смирять мирские желания, отказаться от излишеств и роскоши. Я правильно излагаю?

— Истинно.

— Почему у него на столе и дорогие шампиньоны, и спаржа, и шампанское из Парижа? Он против железных дорог, а в Москву не ходит пешком? И сюда, в Самарскую губернию, приезжал дешевые земли покупать. Зачем?

— На это я вам ничего не могу сказать. Сам думаю над этим. Если знаете, скажите мне.

— Если б у меня было время, я бы тоже над этим подумал,— сказал Михайловский и быстрым своим шагом направился к конторе.

* * *

В бумагах, относящихся ко времени, когда созревало генеральное направление дороги, он неожиданно встретил имя контр-адмирала Копытова. Было странно немного и малопонятно, почему старый морской служака вмешивается в сугубо сухопутное дело.

Ранее Михайловский этого имени, кажется, не слыхал, а если когда и встретил случайно, то оно скользнуло мимо глаз и ушей, не удержалось в памяти — мало ли чинов упоминается во всяческих разговорах, газетных сообщениях о должностной выслуге, званых обедах, представлениях да парадах? Официальную хронику Михайловский сроду не читал и не понимал пожилых, уставших от долгой службы министерских инженеров, что были способны часами обсуждать мельчайшие и невообразимо далекие от них события, текущие своим чередом в среде, окружающей августейшее семейство, в правительственных

сферах, в высшем свете, в военных либо дипломатических кругах и даже в полусвете. Служаки сладко выговаривали титулы и придворные чины, высказывались проницательнейшие мнения о том, кто, по всей видимости, пошел в гору или чья звезда, похоже, закатывается.

Копытов. Копытов... Когда-то он все же краем уха будто бы слышал это имя, но не мог в точности сказать, именно этот Копытов упоминается или другой какой. И Михайловский даже не мог вспомнить, служилый человек, купец либо просто крестьянин, носящий такую фамилию, встретился на его пути. Он прекрасно, с самого раннего детства помнил лица, одежду, речь, манеры людей, хоть однажды встреченных, но совершенно не запоминал их фамилии, чины, должности, званья и часто не мог соединить имя и образ человека. Много людей промелькивало перед ним, и иногда, встречая лицо, хорошо знакомое ему с виду, Михайловский мучительно вспоминал его имя, делал вид, что знает его больше, чем это было на самом деле, испытывал стыд и неловкость, замечая недоуменные взгляды полузнакомого собеседника.

Ему нужно было восстановить историю этой дороги, начиная с первоначальных замыслов, рассмотреть последовательно все предложения, изучить столкновения различных мнений, решения транспортного и финансового министерств, правительственные указания, условия необъятного неведомого края, через который должна пролечь величайшая на свете железная дорога. Должна? Разбирая материалы, Михайловский обнаружил мнения различных людей, отрицающих необходимость этой дороги, дороги, которая может стать славой России, дороги, исторически неизбежной.

Два года назад еще не было ясности по множеству важнейших вопросов, касающихся Сибирской дороги, а то, что было ясно, формулировалось в обобщенных постулатах. Великое значение будущей дороги не вызывало уже сомнений практически ни у кого, если не считать особых, подчеркнуто оригинальных соображений одиночек или редких групп инакомыслящих, существующих, однако, даже в самой Сибири.

Строить! Дорога эта — историческая необходимость для России. Она должна была служить и местным, сибирско-дальневосточным интересам, и общегосударственным, при-

чем за последними была признана главенствующая важность. Устанавливалось также, что все расходы на дорогу берет на себя казна, и в связи с этим подчеркивалось, что направление ее должно быть таковым, чтоб государственное казначейство понесло возможно малые расходы на изысканиях и строительстве, а выгоды оказались в итоге наибольшими. Впервые в практике русского железнодорожного дела было признано принципиальной необходимостью, чтобы на рекогносцировках, изысканиях направления сибирского стального пути участвовали геологи, метеорологи, физико-географы, при любых исследованиях местности собирались сведения, которые потребуются в будущем для сооружения непрерывного стального пути вдоль всего сибирского края. Край этот незыблемо лежал на тысячеверстных просторах, едва тронутый человеческой деятельностью, терпеливо ждал исследователей и работников. Самые большие в России ученые и знатоки не знали его богатств, промышленных и торговых возможностей, крайние оптимисты признавали теперешнее ничтожное развитие края, и посему вполне резонно предполагалось, что дорога, какое выгодное направленье ей ни давай, как дешево ее ни строй, будет непременно убыточной, на первый план пока выходили военно-политические и стратегические цели, и естественно, что в выборе направления дороги принимали участие офицеры Генерального штаба. Было провозглашено также, что Сибирскую дорогу должны изыскать русские инженеры, строить русские рабочие, применяться только отечественные материалы.

По всем остальным вопросам, а числа им не было, оставалась неясность, объясняемая множеством причин. И такое состояние, сдается, было благом, потому что способствовало выяснению возможно большего количества противоречивых мнений, столкновению особых, индивидуальных точек зрения, сопоставлению разнородных знаний, сочетанию различных интересов. Откуда, из какого конкретного пункта начнется великий Сибирский железный путь, через какие районы пойдет, какие свяжет города, какие горы и реки пересечет — все это было совершенно неизвестно еще весною 1889 года. Во всех предложениях присутствовал, правда, один бесспорный географический пункт, неизбежная точка выхода дороги к Восточной Сибири — главный ее губернский город — Иркутск.

Можно сказать, что и вся история Сибирской дороги началась с этого пункта. Но в каком пункте Урала или

Зауралья будет положено первое звено Великой дороги и какими путями подойдет к Иркутску — этого пока не знал никто. «Это должен быть первый вопрос»,— четко и ясно сформулировал по-военному задачу генерал-лейтенант Стебницкий, давая понять, что для него, человека занятого, не существует вопроса о необходимости или возможности постройки Сибирской дороги. Правда, действительный тайный советник профессор горного института Посьет сделал уже 15 марта 1889 года попытку вернуться к старому:

«— Мы не будем касаться вопроса о том, желательна или нежелательна дорога. Ведь во время прений были высказаны мнения и не в ее пользу».

Горчаков недвусмысленно ответил, что вопрос о желательности дороги покончен правительством и Советом императорского русского Технического общества. Теперь должно обсуждать только то или иное направление, непрерывною она должна строиться или прерывною, рассматривать другие практические неотложные дела. Горчаков добавил, что адмирал Копытов с самого начала поставил вопрос о необходимости непрерывного сибирского железнодорожного пути: «Даже в заглавии своего доклада, если помните, желая выразить всю сущность вопроса, обозначил: «О наивыгоднейшей, магистральной, непрерывной дороге». «Не проще ли так поставить вопрос: от каких пунктов должна идти Сибирская железная дорога и через какие пункты она должна проходить?» — снова подал голос Стебницкий.

«Молодец!» — окончательно решил Михайловский и даже засмеялся, увидев через несколько страниц, что Стебницкий, будучи военным топографом, перевел разговор совсем на практические рельсы. «Конечно, надо взять в руки карты, материалы уже проведенных исследований, сведения, взятые непосредственно из природы, заслушать инженера Падалко, который проводил предварительные изыскания Зауралья до Омска, рассмотреть техническую записку Меженинова, который прошел рекогносцировкой от Томска до Иркутска, и заговорить наконец о дороге».

Михайловского, однако, поразило, что ученые снова и снова сомневаются если не в необходимости ее сооружения, то в возможности. Вот профессор Преображенский правильно подал голос о том, что надо подробно рассмотреть данные о климате в Сибири, но поворачивает странно — заговорил не о том, как преодолеть этот климат строителям или же приспособиться к нему, а снова за-

сомневался в возможности постройки из-за климатических условий.

По сути, началом этого большого дела, захватывающего дух своей грандиозностью, было торжественное завершенье предыдущего, о чем Михайловский вспомнил сегодня, листая бумаги.

В долинах Южного Урала стояла ранняя, сухая и теплая осень. Тупые горы, теснившиеся вокруг последней станции дороги, замерли в старческой дремоте. Полные покоя и равнодушия к людским делам, они с неприступным достоинством растворяли в своих распадках тягучие звуки, что текли из долины. Совсем недавно у подножья горы гремели взрывы — жалкое подобие летних, величаво раскатных громов. Потом тонко засвистали железные машинки, а сегодня совсем незнакомое плывет в прозрачном сентябрьском воздухе с самого утра. Чего еще ждать?

Солдатский оркестр у недостроенного вокзала с грубой плавностью трубил вальсы, скликая народ.

Михайловские пришли рано. Он подумал, что на людях жене будет легче, она забудется и развеется. Никого из начальства не было. Только какие-то распорядители сновали туда-сюда с озабоченными лицами. Супруги несколько раз прошли сквозь толпу, здоровались с рабочими. Многие знали, что инженер только что схоронил дочь, и замолкали, завидя супругов. Снимали картузы и потом долго смотрели вслед, разглядывая Надежду Валериевну, одетую в черное, которая кивала знакомым, откидывая вуаль и снова ее опуская.

Михайловский смотрел на равнодушные горы и пытался думать о чем-нибудь отвлеченном и возвышенном, что всегда спасало его. Не возноситесь, горы. Мы все же разбудили вас от вековой спячки, и теперь уж вы не заснете — за нами придут другие, начнут вгрызаться вам в нутро, и огромные заводищи подымутся рядом с этими полукустарными коптильнями. Только Россия машинная отстоит свое право на существование в сегодняшнем и завтрашнем денежно-мануфактурно-железном мире. А мы, изыскатели, пойдем дальше, и рельсовая дорога потянется за нами в бездонные глубины Азии. Мы — первопроходцы, таким же, пешим, был Ермак. Правда, мы тоже разные, подчас слишком. Михайловский-первый, скажем, и Михайловский-второй... И я бы не потерял тут дочь, если бы...

Постойте же, господин Михайловский-второй! Вам надобно думать о другом, о постороннем. Исключительно о постороннем! Товарищей мало на торжестве. Только те, кто остался, как он, на эксплуатационных участках. Остальные в поле, прокладывают трассу на Челябу. Разгар сезона. А любопытная очередность блюдется при таких сборищах! Сначала приходит самый многочисленный низовой слой — рабочий люд, грабари, кондуктора, деповские мазутники, рассаживаются широко рядками в кружки, о чем-то меж собой толкуют, потом появляются десятники, конторские служки, телеграфисты, диспетчеры, техники. Эти сужают пространство у возвышения, откуда польются сейчас речи, озираются, ища глазами старших по чину. А вот и наш брат инженер подвалил. Заблестели начищенные мелом пуговицы на мундирах. Начальники станций, дистанций, депо, местные горные и заводские инженеры. Толпятся поближе к центру торжества. Держатся независимо, на толпу не смотрят.

А вот и высшее начальство во главе с Михайловским-первым. Выглядит он солидно, благородно, только мало кто знает, что за этой респектабельностью кроется. Те, кто доподлинно знает, пробивается через эти горы на восток, спеша до холодов завершить предпостроечные изыскания...

Во время молебна Николай Георгиевич стоял с непокрытой головой и думал о маленьком тельце дочери, которое, такое теперь холодное, лежит в глинистом косогоре у Катав-Ивановского завода. Потом были речи. Михайловский-первый говорил долго, но так и не вспомнил о тех, кто первым прошел этот путь, понеся зримые и незримые потери, не сказал ни одного доброго слова в адрес тех, кто на своем горбу вынес «эту дорогу железную», хотя читал, конечно, Некрасова, не мог не читать...

А через неделю Николай Георгиевич прочел в газете о торжественном петербургском обеде, имевшем быть 10 сентября 1889 года. Держал речь генерал-адъютант. Министр путей сообщения соизволил чрезвычайно высоко оценить факт открытия Самаро-Уфимской дороги. Начал он с того, что Сибирь не имеет ни одной версты железных дорог. «Служа продолжением железного пути через всю европейскую Россию — от Варшавы до Самары, эта дорога первой дошла до Урала. От Златоуста она перейдет через хребет и войдет в самое Сибирь. Являясь фактически первым звеном Сибирской железной дороги, она послужит

началом линии через Омск, Томск, Красноярск — на Иркутск. Огромная линия от Варшавы — через Москву — до Иркутска составит тот стальной пояс, который прямо свяжет обе половины государства, даст великану, именующемуся Россией, новую силу — промышленную, торговую, политическую, даст ему то значение и ту мощь, при которых Отечество наше будет в состоянии спокойно, без бранных тревог пользоваться счастьем мирного развития физических и нравственных своих сил. Я предлагаю тост за скорейшее осуществление этого стального пояса от Варшавы до Иркутска!»

Путь предстоял долгий, медленный, и Михайловский не собирался терять столько времени попусту. От Петербурга — через Москву — до Самары поездами, затем пароходом по Волге и Каме до Перми, где снова перегруз со всем багажом, по железной дороге до Тюмени, а там опять пароходом, какой окажется подходящим, по Иртышу и гигантской этой Оби до Томска. От Томска местными речными и сухопутными путями надо было добраться до какой-то Колывани, исходного пункта его сибирского перепутья (?), откуда он начнет разбирать запутанный узел, сложнейшую вязь точек зрения, личных и государственных, военно-стратегических и коммерческих интересов, инженерных, опирающихся в самом начале на идеал и строительных, финансовых, основывающихся на множестве данных, на реальных возможностях, на сегодняшнюю экономику государства.

* * *

Железная дорога, связывающая столицу с Уралом, работала нормально, и Михайловский радовался, что наконец-то эти просторы подчинены делу. Средняя скорость поезда была почти повсеместно двадцать пять верст в час. И расписание выдерживалось, только слишком уж много остановок было на этом длинном пути между городами Петра и Екатерины.

Мысли бежали вперед, все убыстряясь, а поезд слишком часто останавливался. Михайловский выглядывал в окно и видел в нем всегда одно и то же. Напротив салон-вагона обычно стояло неказистое помещение, маячил станционный служка, жандарм либо полицейский прохаживался,

бородатые мужики, одетые не по погоде легко и всегда в поношенное, с непроницаемыми лицами глядели в окна поезда. Потом слышалась обычная станционная российская музыка: верещал свисток кондуктора, бил вокзальный колокол, гудел паровоз, и в голове поезда начинала лязгать сцепка. Лязг доходил до середины поезда, и вагон дергало.

В пунктах оборота, где паровозы ссыпали золу из поддувал, запасались водой и дровами, он выходил размять ноги. Сменный паровоз под скорый поезд выдавали быстро. Отдохнувший, полный сил локомотив пятили в облаке пара по станционным путям, беспрестанно погуживая, он бухал буферами в передний, почтовый вагон, и весь поезд вздрагивал от удара. Выскакивал помощник в черной лоснящейся спецовке, торопливо подлезал под буфера, накидывал ухо сцепки на крюк и свинчивал стяжку. «Как я, как я когда-то,— думал Михайловский.— Интересно, будет он сейчас мазать дышла, как я всегда это делал под поездом?» Да, помощник бегом поднимался в будку и тут же, гремя железными ступеньками, спускался с инструментом, бросался к колесам и начинал винтить вороток у дышловых масленок. «И начинает, как это делал я, с ведущего дышла. Правильно, на него основная нагрузка. От паровой машины, от крейцкопфа, а по-русски сказать, от кулака усилие передается на кривошип, вертит ведущую колесную пару, сцепные дышла распределяют эту силу по всем колесам. Паровоз давит на рельсы, сцепляясь с ними, и от его паровой силы и веса образуется на крюке тяга, влекущая за собой поезд...

Железная дорога сейчас высший показатель прогресса и развития, она бежит вдаль, сопутствуя жизни, которая вот так же, как этот поезд, идет-катится. И хотя жизнь — отнюдь не машина, в ней тоже есть сила изначальная, и вес, дающий сцепление, и *живая сила*, то бишь инерция набранной скорости, и колеса свои есть, и передающие механизмы. Кто ж я-то в ней таков, Михайловский-второй, в жизни-то? Кое-что могу, и меня никто не везет. Сам везу, но в каком качестве? Кто я в локомотиве времени? Очевидней всего, сцепное дышло заднего колеса, которое мажут в последнюю очередь... А ведущее? Может, Михайловский-первый, кому чины и благосклонность свыше, даже работай во вред делу, и твердые деньги, что ежемесячно вздувают ему карман — работай он, не работай. Он не знает моих забот и давно принял все, что нас окружает? Его не волнует ни этот голод народный, ни

сбережение казенных денег в нашем общем деле, ни будущее, неподкупное, которое непременно обернется нежданной гранью, как оборачивается все, и, возможно, скажет о нем так и столько, сколько он действительно заслужил».

* * *

Обремененный заботами, он не заметил этой весны. Она проходила мимо где-то вдалеке, ничего не оставляла в душе. И только теперь, в час безвременья, когда прошлое осталось позади, а будущее не начиналось, Михайловский увидел, что на всей русской земле весна. В лесах и перелесках дотаивали снега, земля парила на взгорках, взламывало речной лед. Бездумно глядя из вагонного окна, он вдруг удивился, что для него эта вершинная, переломная пора весны длится вот уже месяц с лишним. И, должно, растянется еще на какие-то сроки, потому что продвигался он в необъятную восточную ширь и глубь, где скудное солнце не вдруг сгоняет лежалые плотные снега, где леса тенисты и бескрайни, а зимние холода, знать, намораживают на водах неправдоподобные ледяные толщи.

И лето в тех местах, где ему придется работать, наверно, сырое, знобкое, куда тебе то памятное лето в Предуралье, когда за три месяца полевых ни разу не снял пальто.

Инженер Бергамаско, едущий в смежном купе, сказал, правда, что, по его данным, в окрестностях Томска выдаются необыкновенно жаркие летние дни, что многолетние метеорологические сведения можно получить не только в Томске, но и в никому не известном селе Тутальском, которое, к сожалению, остается в стороне от трассы Томск — Красноярск, несколько южнее. Кроме этого известия, Роецкий принес утром вчерашнюю газету и недопитую бутылку коньяку. От угощенья Михайловский отказался — он ни разу в жизни не принял с утра даже наперстка, однако порадовался вместе с Бергамаско: по сообщению Северного телеграфного агентства в газете — на Оби, близ Колывани, началась подвижка льда. Что ж, неплохо — ледолом по всей России...

Он вспомнил Гундоровку и еще раз подивился тому, что, застав там весну в ярчайшем ее проявлении, не увидел ее, весь охваченный другим, и только сейчас будто просветленным зрением оценил ее краски, звуки, запахи и движенье.

По обыкновению, первым своим шагом весна заступила на гору Шихан. Снег на покатых ее вершинах съели ветра еще в конце февраля, а в марте, несмотря на метельные отзимки, обнажился южный склон.

Михайловский поднялся в мартовское равноденствие на Шихан, чтоб, как давней порой, унять сумятицу в душе и успокоить расходившиеся нервы. Тогда у него тут, на вершине, стояло сиденье из березовых полубревен, а теперь ничего не было — либо парнишки сожгли из озорства, либо свез какой ни то расторопный мужичонка в деревню на топку.

Стоял ясный день предвесенья, и дали самарского Заволжья, которые Михайловский любил в любую погоду, жили, как ему сейчас представлялось, праздничным торжеством света. Небо, помнится, через край было полно ослепительной голубизны, а снега едва уловимо синели, будто в воды, их породившие, добавили малую толику медного купороса.

Скоро должны были пасть дороги. Речка Сантаиловка, текущая вдалеке со стороны Гнездина, незримо затаилась под снегом, и не было никаких признаков, что она вскорости объявится, разве только склоны этой вилючей впадины притенились чуток, набухая. Еще спала и Липовка, обозначенная двумя рядками ракитника, однако сон ее, по всему видно, некрепок — она вот-вот заговорит на задах Гундоровки, побежит вдоль нижнего порядка, за черными щелястыми баньками, потому что снег сильно просел над нею, потемнел, потяжелел, насквозь пропитался, кое-где даже провалился.

А младшая дочка ее Малая Липовка уже совсем ожила в вершине — там объявилась такая искристая блескучая вода, что глазам было больно. И под усадьбу подбирались разводья, каб не подтопило. По склонам Шихана струили мутные ручьи, грязнили кромку снега у подошвы горы, и она все выше выступала из белого...

Потом Гундоровку на неделю отрезало половодьем, и депеша из Петербурга задержалась. Когда сошли главные вешние воды, он выехал в Самару. Ослабевшие уже речонки лениво текли встречь, попутно собирая последнюю талую воду из глубоких оврагов, сырых низин, темных лесов.

А Волга в Самаре стояла. Лед на ней почернел, изноздрился и с каждым днем утонялся подледным течением, ветрами да солнцем, начал уже трещать, заливаться светлой водой. Зимник прикрыли еще до его приезда.

Пожарная часть и городовые отгоняли ото льда мужиков и бродяг, рвущихся на ту сторону, отбирали у них жерди и доски и жгли ночами на берегу, грелись. Утренниками прихватывало. Остекленевшая Волга встречала весеннее солнце густым туманом. За день, однако, молоко разгоняло, разводья снова оттаивали, уширялись, и никакие заморозки не могли теперь остановить могучую реку — она вздыхала по ночам, освобождаясь от тяжкого сна, и будто бы напряглась, изготовилась взломать ледяную скорлупу, чтобы величаво явиться на свет божий...

Подъезжая к Сызрани московским поездом, Михайловский совсем не думал о ледоходе. Он лежал в купе на незастланном диване, устало прикрыв глаза, и перед глазами, помнится, снова замаячил Михайловский-первый в своем несуженном, тщательно отутюженном и будто всегда новом мундире. Медлительный, спокойный даже в таких положениях, когда спокойствие выглядит чуть ли не кощунством, он незыблемо и невозмутимо стоял посреди стихии лихорадочной стройки, будто каменный бык, держащий главную мостовую ферму и режущий речной стрежень,— льдины крошатся, бревна тычутся, мусор пляшет в мутных водах, а он, не шелохнувшись, делает своей неподвижностию дело.

Да, в отличие от него, Николая Георгиевича Михайловского, вспышками сжигающего себя, Константин Яковлевич Михайловский медленно тлел, не загораясь, какой бы сильный ветер ни дул вокруг него.

* * *

На станции Татарской поезд окончательно выбился из графика. Спросонья Михайловский услышал, как кто-то незнакомый объясняет в коридоре, будто чинят дорогу, только томский купец, чей голос все так же громыхал за дверьми купе, решительно возразил: «Не-е, уж я-то их знаю. Это они нарошно разобрали пути — вроде бы не забастовка, однако забастовка. Я уж их во как знаю...»

На остановках вагонный туалет запирался, и Михайловский спустился с подножки, ища глазами станционный клозет обычного сибирского вида — дощатое щелястое сооружение, загаженное донельзя, до тошноты, не мытое со дня постройки дороги и даже не присыпанное хлоркой. Отвратительные мухи зудят, а внизу гнусные мириады их личинок зыбят зловонную жижу. Как тут не быть болезням в тех вон переселенческих бараках? Крылечек даже нет

у бараков, дощатые сходни. Железная бочка подле дымит, бабы с младенцами на руках возле нее хлопочут. Едет народ, счастья-доли ищет, земли вольной...

Начальник станции сказал, что поезд простоит не меньше трех часов — дожди размыли полотно, сейчас щебенку доставят из Кривощекова, подобьют. Платформа со щебенкой только что Каинск проследовала.

— Неважное полотно приняли? — поинтересовался Михайловский.

— Тут, когда строили, щебенку в иных местах с глинкой сыпали. Мыло! — начальник станции, молодой, наверно, только что начавший службу инженер, взглянул на посетителя, на пуговицы его поношенного дорожного кителя.— Всю ее, великую эту дорогу, переделывать надо. Ох, и понастроили же! Хозяйствуй тут теперь... А вы?.. Кажется, вы нашего сословья?

— Да, вашего,— Михайловский выглянул в окно, за которым виднелись перед березовым леском деревянная церковь, огороженная беленым забором, аккуратный домик для причта, какое-то жалкое сооружение из саманного кирпича, стоящее поодаль.

— Это что там за домишко? — поинтересовался Михайловский.

— Церковноприходское училище имени протоиерея Иоанна Сергиева,— с какой-то едва уловимой иронией произнес начальник станции.

— Одноклассное?

— Известно.

— Пятнадцать лет назад, помню, лесок прямо сюда подходил,— раздумчиво произнес Михайловский.

— Вы тут строили? — оживился начальник станции.— Как интересно! А в какой роли? Позвольте полюбопытствовать — как вас именуют?

— Михайловский,— равнодушно представился Николай Георгиевич и тут же пожалел об этом.

— Простите,— холодно сказал инженер.— Михайловский сейчас член Государственного совета, действительный тайный советник, ему за семьдесят.

— Я — другой Михайловский, то есть второй,— устало сказал посетитель.

— А-а-а! — так же отчужденно протянул начальник станции.— Слыхали, слыхали! Это вы тогда Томск обошли, потому что купцы оказались неповоротливыми? О вашем деле писало «Новое время»?

— Слушайте, молодой человек,— встал со стула Михайловский.— Вам-то, ин-же-не-ру, не пристало сплетни собирать.— Он шагнул к выходу, у двери приостановился.— Вы б лучше ватерклозет хлоркой присыпали, хозяин. Народ же рядом живет...

* * *

Как жить и что делать? Как бы ни жить и что бы ни делать, надо писать. Только о чем? О жизни. Да, о жизни! Это долг, обязанность и, должно, его призвание, которое он до конца не осознал, разбрасывая силы во все стороны, тратя себя на пустое.

Писать о жизни. Но о какой жизни? Об этой безысходной деревенской жизни, что лениво, серо и тоскливо, замирая и почти останавливаясь, течет вокруг Гундоровки и вдоль этих бесконечных пыльных российских дорог?..

Одуряющая жара на дворе, мух полон дом, ничего не поделаешь с ними, на лицо садятся. Надежда Валериевна затягивает форточки редкой бязью и немецкий мухоморный раствор разлила везде по баночкам, однако русской мухе он нипочем. Какой только гадости природа не насоздавала на своем пути! Зачем оставила всю эту дрянь, досаждающую по мелочам людям? Мухи комнатные, обыкновенные, с белой жирной начинкой, летают неслышно и будто бы с ленцой, сидят дразняще и терпеливо ждут смерти. А вот эти, желтые, навозные, с конюшни,— крылышки складывают ромбом, быстрые, чуткие, подолгу не задерживаются на одном месте. А эти огромные мухи, что густо жужжат под потолком и бьют с размаху в стекла,— тоже, видно, с гнили да навоза. Одни из них бархатночерны, другие с прозеленью и неприятным бронзовым отблеском. Когда наука придумает на них надежную отраву?

В поле пойти от тоски невыносимой? Хлеба посмотреть, как доспевают. Цветастые, пахнущие медом головы подсолнухов потрогать. Скоро жнитво, мужиков и баб нанимать. Уже приходили к управляющему, справлялись, какая, к примеру, в округе цена может нонче образоваться за десятину жнитва, ежели сказать, хлеба днями доспеют... Нет, не годится, однако, в поле, надо писать, как бы тяжело ни было положить на бумагу первую строку!

Шихан плавно вздымался за речкой, Михайловский вчера по жаре поднимался на него. Трава повяла и посохла на горе, а горячий воздух плыл с полей. Нивы окрест

как-то вдруг изменили цвет, на взгорках совсем вызолотило колос, и ветер будто бы доносил на вершину Шихана их жесткое сухое шуршанье. Свои-то взгорки и солнечные склоны Михайловский в этом году занял под мак и подсолнух, радовался их буйному цветенью, а пшеница его в низинах отдавала еще сизой зеленью. А по крестьянским наделам на солнцепеках уже виднелись робкие зажинки — бабы вроде бы украдкой выстригали серпами неровные проплешины в приспевающей ржи, обмолачивали хлебушко с горстей бельевыми рубелями, продували сквозь пальцы и потом варили это мягкое, с остью, зерно, набивали им распухшие от лебеды животы своих золотушных ребятишек...

Работать надо, писать, чтоб забыться, уйти в слова и в то, что за ними, вернее, что предшествует им. Как написать правду, где взять слова, в точности отражающие безысходную тоску, временами охватывающую тебя, каким способом вскричать об этой бессмысленной жизни, о повсеместной народной нужде? Как найти главную мелодию души? Что сказать читателю нового, долгожданного, оставляющего хоть какую-нибудь надежду?

Перед глазами Михайловского поплыло прошлогоднее знойное марево и явственно так, прозрачно, будто сквозь призму теодолита,— созревшие хлеба вдоль всей трассы Казань — Малмыж, которую он в кратчайший срок прошел со своей партией. Рассыпная толпа крестьян-татар на полупустом сельском базаре, первом в сезоне; никто в округе не хотел ничего продавать, ни покупать, кроме разве что жатвенной рабочей силы, и татары терпеливо ждали покупателей — в главную цену днями взошло погожее время... И привиделась еще жалкая деревенька с хиреющей барской усадебкой, где Михайловский отобедал. Вспоминалась одинокая престарелая помещица с ее бесчисленными мелочными хлопотами и заботами по дому, лесу и полю — как бы не упустить своей копеечки, как убрать двадцать десятин поспевшего хлеба, чтоб обойтись этими несчастными ста двадцатью свободными рублями, как протянуть сколько ни то годов, чтоб внучку-сиротку от земли поднять да оправдать судьбу другой ненаглядной внучки, девицы, что приехала на лето с петербургских курсов и совсем, бедняжка, извелась там над книжками без деревенского воздуха и домашнего приварка...

Михайловский начал быстро писать нащупывая тему, подбираясь к ней издалека и непроизвольно останавливая внимание на совсем пустых подробностях. Вот приказчик барыньки узнает, что на базаре ожидается цена пятнадцать рублей за десятину жнитва и хлеб нипочем не убрать при их средствах. Он встрепанно кидается ко двору, в котором оставил свою лошаденку, налаживает было в усадьбу, но вскорости вертается назад — кулек забыл у хозяина, растрепа, и вот торопко въезжает в ворота, но тут беда — в тесном дворе-то не поворотиться, пришлось хозяину задок тележный заносить, а приказчику лошадь пятить, драть ей уздою зев... Писалось плавно, без помарок, невесть откуда брались, слова, только все какие-то мелкие, вроде бы ни о чем, и детали уже не касались той деревеньки, что встретилась на полпути от Казани к Малмыжу, а были подсмотрены, кажется, на сибирских изысканиях, в селах, редко стоящих меж Обью и Томью...

В сердцах бросил ручку, и фиолетовые чернила брызнули на белоснежную скатерть. Вспомнилось, как он пытался писать в прошлом году об эту пору. Нет, много позже, уже осенью. Дожди тогда зарядили, и на глазах убывающие дни были такими сумеречными и невидимыми, что хоть лампу ставь. Выпадает этакая глухая пора между поздней сухой осенью и ранними освежающими заморозками, когда льет-мочит безо всякой меры, насквозь пропитывает пустые, ставшие совсем чужими поля, далекое чернолесье, набухающие от влаги темные крыши изб и овинов, опавший лист в саду, тронутый уже тленом.

Непогода загоняла в дом, где было тепло, сухо и радостно, почти летая, хлопотала жена. Дети, пугая друг дружку в полутемных комнатах, наполняли дом счастливым визгом, смехом, птичьим щебетаньем. На душе было легко от всего этого, тянуло к детям, но, пересиливая себя, он запирался в кабинете и писал. Верней сказать, пытался это делать, как и в этот раз, долго не мог приступить и никак не находилась первая фраза. Ходил по кабинету, заглядывал в рябые от дождя окна, грел спину и руки у печки, присаживался к столу и снова вскакивал.

О Сибири надо было написать по свежим впечатлениям. Он только что вернулся из второй своей поездки туда, побывал в Томске, Тюмени, на ирбитскую ярмарку заглянул. Оживил изыскательские воспоминанья, набрался новых впечатлений и намеревался написать о том, что было с ним летом девяносто первого. Но дело вот так же не шло.

Разыскал в шкафу первый сибирский дневник и свои письма с трассы, только время, видно, не подошло еще, чтоб привести все это в порядок. Рука совсем не держала пера, и Николай Георгиевич казался сам себе никчемным и бездарным.

Как всегда в таких случаях, отыскивалось какое-нибудь утешеньице. Нет, он положительно не умел писать по горячим следам, нужна была хоть какая-нибудь дистанция. Но в данном случае дистанция образовалась вполне достаточная — больше двух с половиной лет от первого письма с дороги. Причина, знать, была в другом. Он не хотел писать поверхностных очерков, намереваясь когда-нибудь на досуге копнуть жизнь поглубже, однако чувствовал, что для такой работы время еще не наступило. Конечно, легко можно было бы набросать по дневнику и письмам непритязательные, с натуры заметки о поездке, о встречах с сибирскими крестьянами, можно было вспомнить все мимолетные подробности той далекой жизни; придется так сделать, вероятно, оставив, сэкономив главное и серьезное для большого романа об инженерах, где первым героем будет все тот же Карташев, выросший и возмужавший, или же, быть может, Кольцов...

Да, но те, первые изыскательские впечатления уже отдалились, а новое путешествие в Сибирь не приблизило их — оно было суматошным, торопливым, встречи с читающей публикой приятны, но народа он не увидел, того народа, жизнь которого не позволяла ему долго благодушествовать, как бы удачно ни складывались его дела.

Не увидел Михайловский также и начавшейся великой стройки. Она разворачивалась южнее, а он дважды пересек Сибирь по северу, привычным, старинным путем — реками. Писать о чтении перед томскими студентами, о пикнике на берегу Басандайки, ирбитском купечестве? Мелко все, неопределенно, пестро, неинтересно. Роль пропагандиста своего журнала, открывателя и собирателя новых литературных сил ему не понравилась — сейчас он считал эту работу пустой тратой времени, лучше бы сидел в Гундоровке и писал. Дело в том, что Сибирь отнюдь не была литературным Клондайком, общественная мысль там только зарождалась, молодые соки едва начинали бродить.

Нет, о Сибири никак не выходило писать — не отстоялось, не просилось на бумагу, а без этого Михайловский не мог написать ни строки. И все же, наверное, надо писать о том, что знаешь больше всего и что тебя

сильнее всего тревожит. Изыскательское дело он знал не хуже любого другого человека в России, оно временами захватывало его, растворяло в себе настолько, что он переставал ощущать себя в деле, а будто бы дело было им самим. И главные волненья, жар сердца и трепет души связывались с изысканиями. Только почему-то писать он об этом не мог. Тяжкое бремя неудач и разочарований расслабляло руку, отвращало от бумаги. Размышления о причинах этих неудач и разочарований уводили слишком далеко и противоречили его пониманию вещей.

Пятнадцать лет назад задумал он первый свой рассказ. Преодолевая робость и смущение, страдая от неумения найти нужное слово, почти написал. Хотел, чтоб в нем было все как в жизни, но не сладил, не смог этого сделать. Значительно упростилась вся ситуация, борьба за ликвидацию ненужного туннеля закончилась слишком быстро, с неизбежностью появились вымышленные имена, главный герой стал Кольцовым, а не Михайловским-вторым, совсем был замаскирован Михайловский-первый, чтоб даже автор его не узнал. Не получился «Вариант»... Сохранилось воспоминание о тяжелой и никчемной работе, внезапный приступ ненависти и презрения к себе, такому бездарному. Стыдливо озираясь, порвал тогда рассказ...

А для нового подступа к изыскательской теме он не чувствовал в себе сил — перегорело все в спорах, рапортах, докладах и статьях. Нет, он сыт по горло сибирским вариантом, хлопотами, связанными с его проектом кротовско-сергиевской узкоколейки, не пришел еще в себя от казанско-малмыжской рекогносцировки. Когда-нибудь он, наверное, своего Тёму превратит в студента Артемия Карташева, потом в инженера и пошлет вместо Кольцова на уральские, а потом и сибирские изыскания. Это будет продолжением главного его сочинения, которое может стать большим романом, очень нужным обществу, важным по заключительным, определяющим своим мыслям, если, конечно, к ним придет, перебирая варианты своих жизненных дорог, автор.

Были и другие, весьма существенные и достаточно сложные причины, отвращавшие Михайловского от темы изыскательского дела. Инстинктом он чувствовал, что предметом писательского внимания в принципе может быть самая обыкновенная человеческая судьба, круг любой семьи,

всякое людское деяние, любое мгновение вечности. Но чтобы оживающая под твоим пером картина или личность вызывала общественный интерес, нужна, кроме честного подхода к материалу жизни и должной силы художественного выражения, своя неповторимая точка зрения на все, позволяющая тебе заметить, оттенить и преподнесть жизнь так, как никто до тебя этого не сделал и, может, не сделает никогда.

Михайловский, как ему казалось, не обрел пока такого видения жизни и своего подхода к ней, несмотря на исключительность материала, которым он располагал, на его теснейшую связь с большими вопросами жизни, на неповторимость и абсолютную достоверность типов, реально проступавших в памяти и смутно маячивших впереди. Данилов, например,— лучший изыскатель, какого довелось встретить. Меженинов тоже хорош, но в своем роде. Это добрая и надежная рабочая лошадь, не хватающая звезд с неба и не заглядывающая даже на небо, но зато сделает все возможное и даже невозможное, чтоб исполнить долг инженера, вытянет на своем хребту любой воз. Люди — до последнего землекопа на трассе — знают его и любят. Только жаль вот не смотрит он на небо. А может, ему просто не хватает времени взглянуть в гору — он спит по четыре часа. Правда, воображение Михайловского поразил его вариант северного обхода Байкала. И Меженинов прошел бы все тамошние реки да хребты — только дай ему деньги да время, и Михайловский счел бы за счастье помочь ему в этом. Что ж с того, что никто не верит в реальность этого направления! Один иркутский автор выпустил брошюрку о Сибирской дороге и назвал северобайкальский вариант Меженинова «фантастическим». А как жить без фантазии?

Самуил Поляков вдруг вспомнился, делец из дельцов, ворочавший миллионами. Интересно, чем кончилась его бендеро-галацкая авантюра? Кто-то в министерстве говорил, что писал он недавно царю, якобы требуя еще миллион рублей для покрытия убытков, понесенных им на строительстве дороги. А машинист Григорьев? Этого человека забыть невозможно. Данилова, Полякова и Григорьева надо будет ввести в роман под своими фамилиями, пусть эта субстанция из реальности и легкой условности вымысла создаст полную иллюзию достоверности. И, конечно же, Игнатий Роецкий должен войти в роман, который он назовет просто —«Инженеры». Надо будет только узнать, что с

Роецким после петербургских баталий. Трудно ему было и он едва ли выдержит с его характером! Зато все выдержит, ко всему приспособится Жуков, несмотря на годы. Он умеет входить в жизнь неслышными шажками, а она в ответ ласково обволакивает его. Стареет на глазах, но становится все хитрей и обходительней. Неужто и в молодости он был таков? Должно, так — какие мы в семнадцать лет, такие примерно и в пятьдесят. А на какое место определится в будущем повествовании Михайловский-первый? Его не следует, однако, выводить ни под своей фамилией, ни так, чтоб прототипа можно было узнать. Чтоб свободней преподнесть ему эту весьма характерную фигуру нашего времени, которая непременно займет еще более крупные железнодорожные посты в недалеком будущем. При известном подходе она может стать главной, разрастись до размеров, соответствующих своей беспременно п е р в о й роли в любых изыскательских и строительных событиях...

Может быть, изыскательское дело Михайловский знал слишком хорошо, чтобы писать о нем? Несущественные детали, мелкие подробности любимого и трижды проклятого занятия хаотически мельтешили перед глазами, когда он пытался мысленно представить себе основное направление и, хотя бы очень условно, профиль будущего сочинения. Не намечая еще даже ориентировочно сроков подступа к теме, он подспудно все время думал об этом — отбрасывал явно ненужное, лишнее, узкоспециальное и закреплял в памяти то, что, как ему сейчас казалось, могло сгодиться...

Конечно, не должен уйти из романа смысл его борьбы, суть его предложений по изменению всего изыскательского и строительного железнодорожного дела. На этом фундаменте легче будет основать все здание романа, охватить жизнь широко, показать все общество — от мужика, ставшего строительным рабочим, через столь знакомую передаточную среду — инженерию, до самых верхов, где решается все.

Но нет, он не готов пока к этой фундаментальной работе. Главный предмет изображения — русская техническая интеллигенция представала в туманном и пока безликом виде; ординарные заботы снедали ее, скучно и безрадостно тянула она свою лямку, пытаясь скрасить тоску и скуку «винтом», адюльтером и водкой. Интересна ли будет такая правда кому-нибудь? Да, роман об инженерах — в очень отдаленном и слишком неопределенном

будущем, а пока надо писать о том, что поближе, под рукой. О народной жизни следует писать, какою он ее знает и видит. Это будет честно и ценно. В нем все, в его народе. В этой жизни все — радости-печали, вера, страсти, высота и низость, надежды, вопросы-ответы, в ней истина. Он знает свой народ и, кажется, умеет рассказывать о нем правдиво, не оскорбляя его и читателей нарочитым, навязчивым подчеркиванием темных сторон крестьянского быта и не наделяя своих героев качествами, которых у них нет и не может быть в теперешних обстоятельствах. И надо постараться избегать этого противного народнического сюсюканья, набившего оскомину, беспочвенных упований. Наверное, следует писать эту русскую деревню так, как он ее чувствует и понимает, за искренность читатель простит многое...

Деревушка той барыньки была нищей. Не по виду либо достатку, но по коренному промыслу своему. Она так и числилась в земской статистике: «занимается нищенством». Жила-бедовала деревенька, богу свечи ставила, детей рожала, стариков хоронила, подать исправно взносила из той же древнейшей статьи дохода — христарадничества, известного в таком виде на одной, знать, на Руси святой...

И вот заезжает приказчик к старосте этой деревеньки, влекомый некоей мыслью-надеждой, говорит со своим обычно растерянным видом: «Ах, здравствуйте!» Староста-то, мужичок справный, умный да зажимистый, жену мигом на двор и к делу: «Насчет чего пожаловали?» Приказчик толкует, что заехал-де «посоветоваться», а староста, с первых слов гостя-простака уразумел, что тот явился просить деревню миром сжать барынькины двадцать десятин по базарной цене, то есть по д в е н а д ц а т и рублев за десятину, и взялся крутить туда-сюда, толочь слова пустые, необязательные, пока не навел приказчика на разговор насчет продажной землицы, которая от лесу, от пчельника-то девятый год в перелоге и хорошо, знамо дело, уросла. Порешили уладить дело, и староста тут же овсеца засыпает ледащей лошаденке гостя и поспешает к церкви скликать народ.

Толковище ладом да согласием завершилось — по двенадцати рублей десятина взялся мир сжать барыньке хлебушек, причем половина платы по окончании работы, этим

же воскресеньем, а другая — уже после продажи хлеба, к тем дальним — бог с ними — срокам, когда старики начнут церковь новить, кровельщиков да каменщиков наймать, деньги — те, миром заработанные — на мирское дело и придутся в срок. Ну, Два ведра водки старики вырядили, не без этого, то есть невозможно без этого, это уж как водится, не нами заведено...

Гурьбой повалил народ по деревне лапоточки менять, ржавые серпы шарить, скликать парней и девок на горячую работу. Довольные были все — красное это воскресенье все одно даром катилось, а тут деньги кой-какие сами в руки шли да по даровой чарке всем, чать, достанется. Ну, премного доволен, конешно, был староста — прирежет себе лучшую в округе земельку, отдохнувшую за девять-то почитай годов. Только б надобно было об трех десятинах завести речь, об трех, не менее.

И приказчика распирало от радости — как-никак три рубли с десятины против базарной-то цены выгадал и в один день хлеб сожнет, главную в году работу свалит, а пока вёдро, и убрать, бог даст, успеет — барынька будет рада, обласкает за такие известия ко времени, у нее ведь сегодня день рожденья, аккурат подгадал приказчик, молодца!

На старостином дворе, однако, ждало его большое огорченье — с лошадью было чего-то. Когда уходили, овес она ела жадно, хватала прямо, а тут завалилась на бок, вздулся, округлился живот. Косила на людей скорбный глаз. Подыхала. Мужики сбежались, повздыхали над павшей животиной и посоветовали шкуру все ж таки снять — за нее по нужде трешну отдашь, а то и всю пятишну...

Михайловский писал быстро, не перечитывая написанного. Откуда-то брались, возникали подробности, подсмотренные не там, на казанско-малмыжских изысканиях, а совсем в других местах, не вспоминалось уже каких, кое-что бралось совсем из других ситуаций, далеких от этой, но хорошо прикладывалось к месту.

...Барынька, согнутая годами костлявая старушка, экономная да бережливая до болезненной скупости, поохала, узнав от огорченного приказчика, что лощадь пала, однако все обошлось — приказчик этот, хоть и размазня порядочная, но все ж нанял, пока вёдро стоит, деревню рожь убирать да еще и по цене дешевле базарной. А тут день рожденья, гости прибыли. Молодой конфузливый становой пожаловал, батюшка изготовился молебен служить, робкий, сидящий на уголке стула фельдшер давно дожидается

обеда. Внучка барыньки, русокосая и сероглазая петербургская курсистка, которая весь день двигалась, как сонная муха, совсем заскучала в таком обществе, собравшемся по случаю,— говорить было не о чем. Гости отобедали, попили чаю, попрощались. Невыносимая скука стала еще тягостней.

Приказчик приехал с поля обедать, но зачем-то взялся катить под навес котел, что годами ржавел посреди двора. Не докатил, посовался по двору туда-сюда, так и не собрался поесть, схватил ломоть хлеба и торопливо поехал на поля доглядать за жнецами, а барынька, проводив его взглядом, в который уже раз подумала о том, какой он у нее все-таки недотепа, хотя и преданный, и честный, и видит она его насквозь, не то что другого умника, который незаметно враз облапошит, враз имение спустит...

А в поле тем часом новость объявилась — на базаре-то цену живо сбили и татар угнали жать не по пятнадцати, а по п я т и рублей с десятины. Приказчик потерянно сел на сноп, не зная, что ему таперича делать, как оправдаться перед барыней — эдак опростоволоситься! А вот и барынька с внучкой показались в легкой плетушке, решили поглядеть на жатву, что им сказать? Староста подсел, заговорил о том, что неловко будет перед барыней, а в народе не спрячешь, дознается она про базарную-то цену, дознается. Приказчик мямлил что-то невразумительное, а староста все точил над ухом, все точил: он-де кое с кем из деревенских калякал, и ежели, сказать, ему десятинки три от пчельника продать, а миру еще два ведра водки поставить, то бог с ними и с деньгами — дело можно будет повернуть на п о м о ч ь .

Приказчик встрепенулся, барыньке тут же сообщил о таком нечаянном повороте всего дела, и та, вне себя от радости, тут же послала за тремя ведрами водки. По рядам жнецов пошли разговоры о том, что воистину приказчику перед барыней неловко, а всем им с ним жить и в его полной власти, к примеру, дозволить по барскому жнитву скотинку пустить подкормиться.

А барынька-то, донельзя довольная тем, что нежданно-негаданно ей с неба свалилось двести рубликов, смущенно пыталась объяснить внучке, почему она не может эти деньги отдать на школу, давно обещанную. Единственно для них, внучат, живет и хлопочет старуха, а уж как умрет — хоть все раздайте. Тут крестьянин подошел, отвлек, только б лучше не отвлекал! Он лес купил у барыньки, а вывезти

не успел, и теперича лесок, согласно печатному ярлыку, за барынькой должон остаться, но это разве по-божески? Деньги за лес отдал, а он и не твой! Потянулся долгий спор, внучка вмешалась, взяла сторону крестьянина. И староста с приказчиком подошли, кое-как помирили. Старухе было жаль леса, могла и не отдать его, но перед внучкой неудобно и разнесутся разговоры по округе. Кое-как уж поворотилось дело на мировую, и как раз водка подоспела, и барынька сама крестьянину налила, и весь народ обрадовался примиренью мужика с ихней страсть какой простой барыней.

Все выпивали по чарке, пожимали ручки барыне и внучке, а один молодой парень тут же вприсядку пустился от счастья, что прикоснулся к такой с а х а р н о й барышне...

Писалось легко, строчки являлись за строчками, страницы за страницами из ничего будто бы, сами собой, и нельзя было уследить за тем, как смутные реалии, неясные звуки, краски, полузабытые встречи и мимолетные впечатления превращаются под пером в живые картины —- четкие, объемные, ясные, как в явях. Вот парень этот, Никанор, что ли, пусть будет Никанор, пляшет, а подвыпившая толпа уже валит мимо: «Жать! Бабы — песни!» Михайловский увидел пеструю ленту сарафанов, втекающую в рожь. Вот впереди, склонив почему-то голову набок, запевает звонким своим, почти визгливым голосом Авдотья, песню подхватывают все, и стройно выходит, красиво... Позвольте, какая Авдотья? Нигде она раньше не упоминалась, и совсем не нужно будто бы тут ее имя, но пусть эта неизвестно откуда взявшаяся Авдотья останется, если сама влезла в строку...

Слева от лампы лежала вроссыпь уже порядочная стопка листков, исписанных торопливо и неразборчиво, и не было пока никакого желания заглянуть в них повторно, чтоб сгладить шероховатости, вычеркнуть лишнее, сделать кое-где поплавней переходы от картинки к картинке, оттенить удачное, если оно есть. А кое-что есть! Это, кажется, хорошо подмечено, как молодой добродушный становой то вдруг конфузится, то выпячивает грудь и старается смотреть браво, по-военному, как он, прощаясь, звякает шпорами и сгибает руку кренделем. Или вот барынька в лавке. Нудно торгуется, зорко наблюдает за приказчиком, обвязывающим покупку, и останавливает его руку: «А ты подальше отрежь... Веревочка-то мне, старухе, и

пригодится». Вот лошадь управляющего подыхает, безнадежно смотрит на свой вздувшийся живот, еще безнадежнее обводит взглядом собравшихся мужиков и бессильно роняет голову, словно говорит: «Ну, бог с вами — и вправду помирать приходится...»

Неплохо, только зачем все это пишется, зачем? Ну, вот барынька, скажем,— записанная в шестой книге российского дворянства, где велись родословные самых старинных и благородных родов, за восемь лет до реформы отпустила, согласно завещанию мужа, своих крестьян на волю, чем вызвала немалое неудовольствие губернатора, больше всего на свете боявшегося народного бунта. За эти годы обеднела барынька, обнищала ее деревенька, где лишь несколько справных мужиков жили себе не тужили — грабастали. Барынька кое-как тянула хозяйство, подымая внучат, и всеми силами старалась прикрыть жалобами-причитаньями свою развивающуюся с годами мелочную скаредность.

Приказчик тоже ясен. Растрепа заполошный, любое дело может испортить неумением, но честен, бесхитростен, старателен, и у барыньки душа за ним спокойней — не обманет нипочем, весь на виду. И староста получился весь на виду, только хорошо бы еще добавить, кто, когда, за какую плату и какие долги обрабатывает его десятины, однако обо всем этом немало уже написано другими до Михайловского и им самим, будет пока... Каким-то боковым, касательным зрением виделись на страницах рукописи становой, священник, фельдшер, внучек и внучка, а между ними, за ними, под ними, над ними — народ: бабы, мужики, старики, дети, парни, девки, никаноры да авдотьи, ваньки да маньки. Его русский народ, бесконечно добрый в массе своей, отзывчивый на приязнь, ласку, умеющий ответно уважать человека, с лихвой перекрыть сделанное ему добро, быстро забывающий зло, безудержный в работе и питье хмельного зелья, часто не понимающий самого неприкрытого обмана и послушный да кроткий донельзя — веревки из него вей.

Пробежав глазами несколько страниц, Николай Георгиевич уверовал, что достоверно все получается и ненавязчиво, в лицах и картинах, но тот же вопрос возникал, что мучил его с самого начала, как он сел за стол,— зачем все это? Лишний раз посетовать на эту серую, тяжкую, скушную народную жизнь? Изобразить этот будто бы освобожденный, но столь же подневольный народ в «цепях иных»? Нет, этот молодой народ, который был

весь в будущем, ждал, как земля семени, другого — слова и дела, что направили б его к будущему по лучшему, кратчайшему пути. Как подойти к этой теме, как написать об этом? А сказать неотложно надо — ты это понимаешь и у тебя в руках какое-никакое перо. Но что сказать, если ты не знаешь этого слова и не видишь дела, к которому можно было бы без оглядки примкнуть и позвать за собою других? А если не знаешь и не видишь, следует честно в этом признаться, правда превыше всего, и читатель жаждет ее, какой бы она ни была! Цена правды будет вечно расти...

Если сделать здесь так — сидит будто бы скучающая петербургская курсистка с книжкой в руках у скирды, смотрит на толпу жнецов, на далекую беленькую избенку под закатным солнцем и думает о том, куда бы от окружающей житейской прозы, от неопределенной и неясной тоски по другой жизни. Может, забыться в идиллической той избушке над речным обрывом, удовольствоваться личным счастьем? Но личного счастья не может быть без другого, высшего счастья, связывающего тебя с людьми, а людей с тобою? Что же оно такое — высшее счастье?

Вчера вечером, разрезая только что полученные книги и пробегая их быстрым глазом, наткнулся на фразу: «Высшее счастье в труде». В этой простой истине была какая-то своя глубинная правда. Только в каком труде? Какое может быть счастье в этом подневольном труде, в раздаривании его, в трате времени и сил за будущий кусок хлеба для своих детей?

Николай Георгиевич опустил перо на бумагу. Да, пусть эта безымянная курсистка, внучка помещицы Ярыщевой, тоже раскроет книгу на том же месте, что он нашел вчера, пусть прочтет ту же, выделенную курсивом фразу: «Высшее счастье в труде»... И снова потекли слова. В каком труде? Там, в этой хижине, или в борьбе за общую правду? А где правда и где в жизни сознательное место борца? И без этого определенного места все помыслы о добре и правде — разве не тот же рычаг Архимеда без точки опоры, о которой говорил он: «Дайте мне точку опоры, и я подыму вам Землю». Дайте... Но кто даст?

Написав эти слова, Михайловский почувствовал, что не может закончить ими рассказ. Да и рассказ ли это получился у него? Нет, это не рассказ, конечно; не уловишь сквозного и стройного сюжета, на который бы нани-

зывались все события, много случайного, такого, что непременно уйдет, отбросится при отделке вещи. Последние фразы, например, написаны довольно коряво. Ну, что это такое — «сознательное место»? Впрочем, не об отдельных словах и выражениях идет речь, а о сути вещи. Что же у него выходит? Это не очерк на определенную тему, напрямую сообщающий читателю цели и выводы автора, не очерк нравов, обычно непритязательный по материалу и смыслу. Да и очерк ли это вообще? Пожалуй, нет. Автор запрятан глубоко. Вымышленные, вернее, собирательные персонажи. Образы, сведенные на одних страницах с лицами, названными подлинными своими именами, с людьми, наделенными такими точными признаками, что попадись им на глаза эти строчки — узнают себя беспременно.

А что же это такое — последний абзац? Совершенно невозможный в классическом рассказе, в бытовом очерке да и в журнальной статье, выдержанной, как правило, в мертвящем академическом тоне. Да никакая это не петербургская залетная пташка так думает, это автор от имени многих высказывается напрямую, открыто. Какой жанр органично примет в себя эти слова-прокламацию, которые хотя и не зовут никуда, но говорят великую правду о том, что нужно искать правду, и когда она будет найдена, искать точку приложения сил, чтобы поднять мир...

Заканчивать, однако, этими словами нельзя, невозможно — и жанр, общая форма не дозволяет, и воистину слишком прокламационно, не вписывается в общую панораму изображенного. Позвольте, а не п а н о р а м а ли это в самом деле, не круговой ли обзор деревенской жизни? И если так, то надо эту панораму дорисовывать, закруглить обзор обыкновенного деревенского дня, в который ничего существенного не произошло...

Итак, жатва... Она продолжалась под песню, простую и раздольную, как эти поля. А барышня уехала в соседское имение кататься на реку — господа прислали оттуда с верховым записку-приглашенье. И молодой крестьянин, Никанор-то, огорчился, узнав об этом по окончании работы — улетела недосягаемая райская пташка и он не посмотрел на нее еще хотя б разок. Даровой водки еще осталось много, и Никанор пил и пил, а ему все подносили, и он совсем потерял память и забыл, зачем начал пить, забыл о тоске, поначалу щемившей сердце.

Темнело, и народ с пьяными песнями потянулся с поля

в пустующую деревню. Хмельные помочане подняли в телегу бесчувственного парня, завалили одежонкой да и забыли о нем в дороге, увлекшись бессвязными разговорами. Когда приехали в деревню, Никанор был мертв — не то задохся под тряпьем, не то опился...

А барынька ехала в усадьбу премного довольная, благодушно и растроганно разговаривая с приказчиком. Там она чайку попила, попрощалась с внучком, уже лежавшим в кроватке, ушла в спальню, чтоб на широкой постели долго еще думать свои старческие вязкие думы. А внучек разговорился перед сном с няней, потом уснул под ее мурлыканье, а она лежит в темноте и вспоминает, как покойный барин такой же вот голубой лунной ночью пришел к ней и с тех пор она живет со своим грехом, не признавшись ни мужу, ни барыне, не покаявшись на духу. В монастырь бы уйти, замолить свой тяжкий грех...

Молодой кучер Листрат, что долго и негромко пел в темноте унылую свою песню, в которой сквозила неизбывная тоска по какой-то иной, неизвестной жизни, замолкает наконец, идет на конюшню спать, а Марья, раздумчиво слушавшая его, уже спит в коридоре; стихает усадьба, гаснут в ней последние огни. Только приказчик сидит до рассвета и пишет письмо сыну в фельдшерскую школу, объявив ему во первых строках, что он есть подлец, потому что добрые люди сказывали отцу, как сын цигарки-де курит и водку пьет. Под конец отец все же сообщает, что посылает десять рублей и просит их не мотать, пожалеть старика. Перечислив на целой странице поклоны, приказчик долго и уныло смотрит поверх очков в пустой и неподвижный двор старой барыни, охваченный сном рассвета...

Михайловский облегченно поставил три заключительных точки, пробежал глазами последние страницы. Фразы, только что родившиеся, показались ему необязательными, случайными и в то же время имеющими какой-то второй, важный и общий смысл. Длинный разговор бабушки и внучка о том, что все — бабушка, кроватка, собака, игрушки — все умрет или пропадет, разговор барыни Ярыщевой с приказчиком, отъезд барышни к соседям с ночевой, спаивание Никанора. Да, тяжко, серо, буднично все, и нет никакой отдушины, нет высшей истины и высшего счастья, а главное — что тут найдет и что изо всего этого возьмет читатель? Да вот оно! Пусть найдет и возьмет! Где правда и где в жизни сознательное место борца?

CO tTf I'fi* CAfJc^

С-?*к <, •** к